



О ДРУГИХ и о себе
Борис Слуцкий



SHOUT **IT**
SHARE

Annotation

Автобиографическая проза Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986), одного из самых глубоких и своеобразных поэтов военного поколения, известна гораздо меньше, чем его стихи, хотя и не менее блистательна. Дело в том, что писалась она для себя (или для потомков) без надежды быть опубликованной при жизни по цензурным соображениям.

"Типс на ране — вот поэтика Слуцкого, — сказал Давид Самойлов. — Слуцкий выговаривает в прозу то, что невозможно уложить в стиховые размеры, заковать в ямбы". Его "Записки о войне" (а поэт прошел ее всю — "от звонка до звонка") — проза умного, глубокого и в высшей степени честного перед самим собой человека, в ней трагедия войны показана без приукрашивания, без сглаживания острых углов. В разделе "О других и о себе" представлены воспоминания Слуцкого о своих товарищах по литературному цеху — Н. Асееве, А. Ахматовой, И. Эренбурге, Н. Заболоцком, А. Твардовском, И. Сельвинском, С. Наровчатове, М. Кульчицком, а также история создания некоторых наиболее известных его стихотворений. Раздел "Из письменного стола" включает в себя фрагментарные мемуарные записи, отличающиеся таким же блеском и лаконизмом, как и вся проза Слуцкого. Большинство материалов, включенных в книгу, публикуется впервые

- **О других и о себе**

- Никита Елисеев. В упряжке с веком

- Записки о войне

- Основы

- Накануне Европы

- Эренбург

- Гнев

- Героизм

- Быт

- Румыния

- Обратное влияние

- Еще царенок

- Союзнички

- Две армии

- Подоплека переворота

- Первые дни в Европе

- Болгария

- Русофильство

- Коммунисты
 - Карательная политика
 - Армия
 - Царенок
 - Женщины
 - Как мне болгарский орден выдавали
 - Большая политика
 - Меншевик Петко
- Югославия
 - Диалектика
 - Четники
 - Армия
 - Лагерь в Гакове
 - Бригада Месича
 - Самостоятельность
- Венгрия
 - Франчишка
 - В марте месяце
 - Как переходила рота
 - Семья Бетлен
 - Замок Вексельхаймбов
 - Ассимиляционная способность
 - Памятники
- Австрия
 - Здесь начиналась 3-я империя
 - Чистка
- Евреи
 - Рассказ еврея Гершельмана
- Белогвардейцы
- Девушки европы
- Русский язык
- Попы
- Разложение войск противника
 - Последнее вещание
 - Себастиан Барбье
- О Других и о себе
 - Знакомство с Осипом Максимовичем Бриком
 - Как я описывал имущество у Бабеля
 - Вещмешок
 - После войны
 - К истории моих стихотворений
 - Н. Н. Асеев и вожди
 - Крученных
 - Эренбург

- Почти ничего
- Твардовский
- Корней Чуковский
- Из письменного стол
 - Мой друг Миша Кульчицкий
 - Семинар Сельвинского
 - Георгий Рублев
 - Вера Инбер
 - История моих квартир и квартирохозяек
- Примечания
 -
 - Записки о войне основы
- notes
 - 1
 - 2
 - 3

О других и о себе

Не было более парадоксального поэта в России, где ученые люди впад и невпад любят повторять случайно вырвавшиеся у первого национального поэта слова: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата...» Вот уж чего никак не скажешь о поэте и поэзии Бориса Слуцкого: ни глупыми, ни, тем более, глуповатыми они не были прежде всего.

Это бросается в глаза сразу. Это делается заметным с ходу. Этот поэт — очень умен. Слуцкий прекрасно знал эту свою особенность, потому с таким удовольствием неявно, но сильно полемизировал с пушкинской обмолвкой, призвав себе на помощь редко упоминаемого, но любимого и много читаемого Ходасевича: «Весь российский авангард постоянно оглядывался на смысл, на содержание. Гневное восклицание Ходасевича: «Нет, я умен, а не заумен!» — могли бы повторить и Хлебников, и Маяковский, и Цветаева. Все они были умны, очень умны. Все стремились к ясности выражения, а если не всегда достигали, то вспомните, какие Галактики пытался осмыслить хотя бы Хлебников».

«Ясность выражения» и «ум» — первые характеристики поэзии и поэтики Бориса Слуцкого. Никаких импрессионистических цветовых пятен, ничего размытого и туманного, четкость линии, графика. Если вспомнить рассказ «Линия и цвет» чтимого Слуцким Бабеля, то в споре между цветом и линией Слуцкий на стороне линии.

Художник Борис Биргер говорил о Слуцком, собирателе современной живописи, бескорыстном помощнике молодых художников, мол, прекрасный человек и замечательный поэт, но «вместо глаз у него гвоздики». Как и любое умное оскорбительное замечание, это попадает в суть проблемы. Слуцкий видел мир (или старался его видеть) так, как вбивают гвозди: четко и точно.

Какое-то не слишком поэтическое видение мира, но оно было у поэта, у поэта — замечательного. Это только одна сторона парадокса поэзии и личности Бориса Слуцкого. Другую обозначил Иосиф Бродский, назвавший старшего товарища и друга: «Добрый Борух». Именно так... Ум, точность, четкость соединены с добротой, с жалостливостью.

Это замечали и люди, не приемлющие стихи Бориса Слуцкого. Анна Ахматова с презрением говорила: «Это — жестяные стихи». И вновь умное оскорбление — стоит только в него взглянуть — становится верным определением, точной метафорой. Ибо жест — мягкий металл. Самый человечный, если так можно выразиться, металл. Не жестокая сталь, не тяжелый чугун, но приспособленная для быта — жесть, которую можно пробить столовым ножом.

О том же самом писал «друг и соперник» Слуцкого Давид Самойлов: «Басам революции он пытался придать мягкий баритональный оттенок». И еще лучше, еще точнее, словно бы поясняя прозвище, данное Иосифом Бродским, почему все-таки не Умный, а Добрый: «Не любовь, не гнев — главное поэтическое чувство Слуцкого. Жалость. Он жалеет детей, лошадей, девушек, вдов, солдат, писарей, даже немца, пленного врага, ему жалко, хотя он и принуждает себя не жалеть. <...> Жалко. «А все-таки мне жаль их». «Здесь рядом дети спят». «А вдова Ковалева все помнит о нем». Пляшут вдовы: «...их пары птицами взвиваются, сияют утреннею зорькою, и только сердце разрывается от этого веселья горького». <...> Жалостливость почти бабья сочетается с внешней угловатостью и резкостью строки. Сломы. Сломы внутренние и стиховые. Боязнь обнажить ранимое нутро. Гипс на ране — вот поэтика Слуцкого...»

Пожалуй, никто не смог так верно описать Бориса Слуцкого. Теперь надо соединить эту «жалостливость почти бабью» с мужским, безжалостным умом, остроумной язвительностью, гордостью, замкнутостью — и перед нами один из самых парадоксальных поэтов России, а может, и самый парадоксальный.

2

Перед нами его проза. Проза поэта, которого чаще всего упрекали в том, что пишет он рифмованные или ритмизованные статьи, очерки или рассказы, а не стихи.

Причем проза эта особого рода — она писана для себя или для потомков без оглядки на советские условия печатания, непечатания. Едва лишь вчитываешься в эти тексты, как почти сразу понимаешь: это — заготовки для будущих стихов. Борис Слуцкий сначала выговаривает в прозу то, что не возможно уложить в стиховые размеры, «заковать в ямбы», придать четкий ритм.

Это проза растерянного поэта, который не привык, не хочет быть растерянным. Проза поэта, покуда не могущего найти поэтический эквивалент для пережитого и продуманного. Это относится и к «Запискам о войне», написанным в 1946 году, и к поздним мемуарным очеркам, написанным в семидесятые годы. «Года к суровой прозе клонят», — писал Пушкин. Слуцкого «к суровой прозе» клонили не столько года, сколько сложность и непозитичность того, что было вогнано в эти года.

При этом надо учитывать то обстоятельство, что себя самого, свою поэзию Слуцкий ощущал некоей пограничной землей; звеном, связующим русскую прозу и русскую поэзию. В противном случае он не оставил бы такой любопытный отрывок в своих записях: «Как относились русские прозаики к русским поэтам, особенно современным? Лев Толстой выставлял им отметки по гимназической пятибалльной системе и выстроил знаменитую шкалу истории поэзии. По нисходящей — от Пушкина к Северянину. В целых школах поэзии, притом влиятельных, он не ценил никого и ничего <...> Чехов, — в двадцатипятилетие творческой деятельности которого (1879–1904), в посленекрасовские и доблоковские четверть века, совр. русская поэзия (хорошая) потеряла внимание и любовь общества, — не хранил в ялтинской библиотеке никаких или почти никаких поэтических книг. Он неизменно вышучивал даже самых известных своих современников, напр., Надсона и Бальмонта. Был образцово несправедлив к А. К. Толстому.

Цитируют стихи в его вещах зачастую идиоты.

Салтыков остроумно преследовал в статьях не только Крестовского, но и Фета, Майкова. Важно, что поэтические цитаты — из Пушкина, Державина — употребляют в его книгах дураки и, особенно, ретрограды. Кажется, и Пушкин, и Державин, и Жуковский, и многие другие входили в ненавистный ему истеблишмент и подлежали вместе с ним осмеянию и разрушению.

Интересно, что Салтыков постоянно перевирает цитаты из самых популярных стихотворений. Значит, не утруждал себя настолько, что не снимал с полки классика, а может быть, на полке классика и не стояло.

Тургенев, сам настоящий поэт, близко друживший со всеми или почти со всеми талантливыми поэтами своего времени, был убежден, что понимает в деле больше поэтов. Во всяком случае, больше Тютчева, которого правил совершенно беспардонно»^[1].

Рассуждение оборвано. Однако можно догадаться, какие два вывода может сделать Борис Слуцкий из вышеприведенных фактов. Первый вывод — о неизбывном антагонизме русской

прозы и русской поэзии. Второй — о том, что как раз тот поэт, которого дружно клянут за прозаизмы, и есть пограничная полоса между двумя враждебными станами — прозой и поэзией России. Он, этот поэт, как раз и является примирителем «предельно крайних двух начал» русской литературы, условно говоря, «соглашателем» между вице — губернатором Салтыковым и губернатором Державиным.

3

В Борисе Слуцком было по крайней мере одно очень важное качество настоящего прозаика. Он «с удовольствием катился к объективизму». Это — не — поэтическое, хотя и очень человеческое качество. Лирик, поэт по определению субъективен, подчеркнуто личностен, если не вовсе эгоцентричен. Слуцкий же из всех сил старался быть объективным поэтом, старался услышать другую сторону.

Объективности помогали ум и юмор. Особенно юмор. Менее заметный в стихах, в прозе (особенно поздней) юмор настолько бросается в глаза, что читатель вспоминает, как это ни удивительно, писателя из другой «страты», из другого поколенческого круга — Сергея Довлатова. Хотя уж насколько «из другого и из другой», — разумеется, вопрос.

В сущности, и тот, и другой принадлежат к одной линии русской прозы второй половины XX века. Ее предшественники угадываются чрезвычайно легко. «Орнаментальная» проза двадцатых годов, из которой выброшены все «орнаментализмы». Оставлены только ритмическая организация текста и интонация — спокойным деловым тоном о жестоких и страшных вещах или о вещах нелепых, смешных, эксцентричных. Слуцкий не мог знать, как «работал» с бабелевским текстом Варлам Шаламов («Я вычеркивал все его «пожары, веселые, как воскресенья» — рассказы оставались живыми»), но его принцип работы в этой традиции, в традиции этой прозы. «Отжать» всю пышную роскошь эпитетов и метафор. Ни к чему. Слуцкий пишет, что до войны раз пятнадцать прочел сборник рассказов Бабея. Следы этого чтения заметны в его прозе.

Поразительно, но благодаря «обезметафориванию» бабелевской прозы обнаруживается и вовсе удивительный для ученика левовца Осипа Брига и конструктивиста Ильи Сельвинского, для верного наследника русского поэтического авангарда предшественник — проза Пушкина. Легкое перо — вот

что изумляет в прозе поэта, написавшего «Кёльнскую яму», «Госпиталь» и «Голос друга».

О прозаическом стиле Слуцкого невозможно написать так, как написал о прозаическом стиле Чернышевского Набоков: «Забавнообстоятельный слог, кропотливо вкрапленные наречия, страсть к точке с запятой, застревание мысли в предложении и неловкие попытки их оттуда извлечь (причем она сразу застревала в другом месте, и автору приходилось опять возиться с занозой)...» У Бориса Слуцкого — никакой «страсти к точке с запятой», никакого «застревания мысли в предложении». Самый распространенный знак — точка. Предложения располагаются один к одному, как строчки в стихах или в хорошем отчете.

Вот рассказ о гибели венгерского коммуниста инженера Тота. Это — баллада в прозе и одновременно сухой отчет о происшедшем. «Однажды ночью в дом инженера Тота постучали. Тот был «особенным» человеком — так о нем и вспоминают в городе. Эрудит, путешественник, изъездивший целый свет, он был страстно влюблен в Россию, в ее грядущую многоэтажность, столь противоречащую особнячкам его родины. Это был, быть может, единственный горожанин, который принципиально считал, что красноармейцев не надо бояться, а коммунисту — нельзя бояться. Может быть, поэтому он в три часа ночи открыл двери запоздалым путникам.

Его убили через полчаса. Жена Тота, которую пытались изнасиловать, рассказывала, что он говорил солдатам по — русски: «Я — коммунист». Протягивал им партийный билет с надписью на русском языке. Страшные, видно, были люди. Такие доводы останавливали самых черных насильников.

На другой день, тайно от горожан, тело Тота было предано земле. Секретарь обкома рассказывал мне, как они стояли у могилки — двадцать человек коммунистов, ближайших друзей покойного. Молчали, потихоньку плакали.

Это — из «Записок о войне», произведения особого, особенного, важного для Бориса Слуцкого еще вот в каком отношении. В течение всей войны он, хотевший быть поэтом, учившийся «на поэта», не написал ни одного стихотворения. В конце войны он обнаружил, что не может писать стихи. Военный опыт был таким, что его было не уложить в стихи, которые Слуцкий уже умел писать, в стихи, которые Слуцкого учили писать.

Одной из прекрасных особенностей Слуцкого была верность, в том числе и верность учителям, посему очень важным выглядит признание, которое он, наследник поэтического авангарда XX века, сделал в мемуарном очерке о Твардовском:

«Война окончилась, отменив скидки, допуски на военное положение. Надо было писать о ней всю правду, и, вернувшись с войны, я обнаружил, что у Исаковского во «Враги сожгли родную хату» и у Твардовского в новой поэме эта правда наличествует, а у моих учителей, у Сельвинского в частности, отсутствует».

Случкомому важнее важного была интонация, поэтическая интонация, адекватная времени. Ее-то он и не мог найти после войны. Между тем слышавшие его великолепные устные рассказы могли бы поручиться за высокое качество этой странной, чуточку ироничной прозы. Давид Самойлов писал: «Случцкий был великолепен. Мы двое суток не могли наговориться. Он... замечательно рассказывал о войне....Я сказал ему: “Будешь писать воспоминания? У тебя получается”. — “Не буду... Все, что надо, решил вложить в стихи”»... Но *что-то* в стихах не «влагалось». Это *что-то* выламывалось прозаическими записками.

Случцкий вообще был рассказчиком — и в стихах, и в прозе. Как всякий хороший рассказчик, прежде всего он владеет интонацией. Интонация же как раз то, что воспроизводится труднее всего, что уходит вместе с рассказчиком — безвозвратно. Сам Случцкий вспоминает, что слушали его с удовольствием: «Вообще я старался рассказывать объективно. Только факты. Девушки говорили: «Ты хорошо истории рассказываешь!» И в самом деле, это были истории по Геродоту. Без вранья, но с литературной отделкой».

«Истории по Геродоту... без вранья, но с литературной отделкой» — принцип мемуаристики Бориса Случцкого. Случцкий чувствовал, что пройдет некоторое время и правда о том мире, в котором ему довелось жить и действовать, будет восприниматься как какие-то фантастические легенды, достойные «отца истории» Геродота, а не как серьезные труды серьезных академических историографов. Время античности или — на худой конец — средневековья — вот как оценивал окружающий его мир Борис Случцкий. Этот мир был и сам по себе сложен для оценки и понимания, и сложен постольку, поскольку Борис Случцкий был слишком в этот мир вовлечен, поэтому для его описания предпочел метод Геродота — просто рассказываю подряд, что видел или то, что мне рассказали, а потомки — разберутся. Разумеется, есть и другие подходы к мемуаристике, и Случцкий их перечисляет: «Мемуарист должен быть страстен и несправедлив.

Чтоб не скатиться к объективизму... Еще один подход к мемуарам у Эренбурга. Он говорил, что хочет вспоминать только о хороших людях. Это уже сознательная деформация мира». Оба подхода неприемлемы для Слуцкого. «Прочитав книгу Надежды Яковлевны, долго высказывал ей претензии по линии мандельштамоцентризма и несправедливости к той среде, которая много лет эту семью питала в прямом смысле... Еще ораторствуя, понял, что кругом не прав. Ведь ее мемуары не история, а эпос, только без ритма. Разве эпос может быть справедливым?» На эпос Слуцкий не замахивался. Ни в стихах, ни в прозе. Он ощущал себя всего только свидетелем — не более, но и не менее. Свое кредо мемуариста Борис Слуцкий противопоставляет как «сознательной деформации мира» у Эренбурга, так и «страстной несправедливости эпоса» Надежды Мандельштам: «Я от природы не слишком страстен и сравнительно справедлив. К объективизму качусь с удовольствием». Может быть, поэтому все мемуарные наброски Бориса Слуцкого остались незаконченными? Для мемуариста сложнее всего оставаться объективным, справедливым (даже сравнительно!) и бесстрастным. Как это ни парадоксально, однако лирическому поэту легче сохранить объективность, чем мемуаристу.

Воротимся, однако, к Довлатову. Общей у Слуцкого с ним была не только стилистика. Общей была их социальная ситуация. Послевоенные сороковые годы, когда Слуцкий сформировался как поэт и написал если не лучшие, то, по крайней мере, характернейшие свои произведения, были для него в житейском, социальном плане тем же, чем для Довлатова были семидесятые годы — годы, когда Довлатов сформировался как писатель и написал если не лучшие, то характернейшие свои произведения.

Кем оказался Слуцкий после войны в сороковые годы?

Тем же, кем был Довлатов в семидесятые. Непечатающимся писателем. Люмпен — интеллигентом, если угодно.

О том времени Слуцкий вспоминал так: «Где я только не состоял! И как долго не состоял нигде. В 1950 году познакомился я с Наташей, и она, придя домой, сказала своей интеллигентной матушке, что встретила интересного человека. «А кто он такой?» — «Никто». — «А где он работает?» — «Нигде». — «А где он живет?» — «Нигде». И так было десять лет — с демобилизации до 1956 года, когда получил первую в жизни комнату 37 лет от роду и впервые пошел покупать мебель — шесть стульев. Никто. Нигде. Нигде».

Конечно, период вот этого «никтоиства» — «нигдеиства» — «люмпен — интеллигентства» был у Слуцкого значительно

короче, чем у Довлатова, и кончился победным входом в советскую литературу, но сам этот период был для Слуцкого драматичнее и безысходнее. В мемуарном очерке «Истории моих стихотворений» он пишет о времени создания стихотворения «Давайте после драки помашем кулаками...»: «Предполагалось, что будущего у меня и у людей моего круга не будет никакого».

Именно это время Слуцкий вспоминает в самых своих «довлатовских» прозаических произведениях: в «Георгии Рублеве», «Истории моих квартирных хозяек», «После войны». Вспоминает в семидесятые годы, когда вновь начинает понимать, что опыт жизни не укладывается в стихи. Тогда же он пишет одно из самых странных и безысходных своих стихотворений — «Случай».

Этот случай спланирован в крупных штабах
и продуман — в последствиях и масштабах,
и поэтому дело твое — табак.

Уходи, пока цел.

Этот случай случится, что б ни случилось,
и поэтому не полагайся на милость
добродушной доселе судьбы. Уходи.

Я сказал тебе, что тебя ждет впереди.

Уходи, пока цел.

Забирай все манатки.

Измени свою цель.

Постригайся в монахи.

Сгинь, рассейся, беги, пропади!

Уходи!

Исключений из правила этого нету.

Закатись, как в невидную щелку — монета,

зарасти, как тропа, затеряться в толпе,

вот и всё, что советовать можно тебе.

Особенно хорошо и мрачно смотрится в этом стихотворении измененная цитата из Пушкина: «ко мне не зарастет народная тропа» — «зарасти, как тропа»... В семидесятые годы Слуцкий вспоминает ситуацию сороковых, когда ему, фронтовику, еврею, писавшему русские стихи, становилось понятно: случай спланирован в крупных штабах. Будущего не будет.

Об этом времени и о Слуцком в нем опять-таки лучше всего написал Самойлов: «Два молодых поэта, Слуцкий и я, оба — поэты, принимающие действительность, — мы каждый день могли ожидать ареста, а дальше — известно что — методы, «бессрочные» лагеря, погибель. За что, собственно? Только за то,

что не умели пристроиться к действительности, печатать стихи, где-то числиться и служить. За то, что собирались кучками больше трех, разговаривали, общались, встречались.

Каково было Слуцкому, майору запаса, пенсионеру по военной инвалидности, кавалеру болгарского ордена «За храбрость», члену партии и прочее, расставаться с мечтой о победном въезде в литературу и отматываться от ласковых стукачей, пытавшихся поймать его на слове? Каково было ему ночью прислушиваться к выстрелам входной двери в парадном и к чужим шагам по лестнице?»

Иными словами, каково было тому, кто ощущал себя субъектом истории, попросту говоря, ее творцом, ощутить себя ее объектом? Из победителя превратиться едва ли не в подпольщика? Сам Борис Слуцкий пишет об этом так: «Стихотворение «Давайте после драки...» было написано осенью 1952-го в глухом углу времени — моего личного и исторического. До первого сообщения о врачах — убийцах оставалось месяц — два, но дело явно шло — не обязательно к этому, а к чему-то решительно изменяющему судьбу. Такое же ощущение — близкой перемены судьбы — было и весной 1941 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что твоего участия не требовало. Делать же должны были со мной и надо мной».

Самое удивительное, что этот «глухой угол времени», когда все говорило о том, что пора «зарастить, как тропа, затеряться в толпе», и был временем начавшегося для Слуцкого стихописания: «Эти годы, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчлененной массой. Точнее, двумя комками: 1946–1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948–1953, когда я постепенно оживал. Сначала я был инвалидом Отечественной войны. Потом был непечатающимся поэтом.

Очень разные положения... Стихи меня... столкнули с дивана, вытолкнули из положения инвалида Отечественной войны второй группы...»

Это были стихи особого рода. Это были стихи отчаяния, заставляющие себя быть стихами надежды: «Я строю на песке, а тот песок / Еще недавно мне скалой казался. / Он был скалой, для всех скалой остался, / А для меня распался и потёк...» Вот что это были за стихи. Они-то и «впечатляли» — сначала узкий круг московской интеллигенции, а потом, когда наступило время «оттепели», куда более широкие круги населения.

Свою главную поэтическую, художественную задачу Слуцкий

четко выразил в стихотворении, посвященном смерти Сталина: «Социализм был выстроен. Поселим в нем людей». «Очеловечиванием» доставшегося наследства Слуцкий и занимался. Когда заниматься становилось невмочь, он оставлял ямбы, хореи и дольники и переходил к прозе. Потому-то проза Слуцкого так фрагментарна, обрывочна, неоконченна. Чаще всего это — программы будущих стихов, их, если можно так выразиться, либретто. Но это и замечательные свидетельства времени — свидетельства сложного и талантливое, не всегда понятного, но всегда интересного нам человека.

Никита Елисеє

Записки о войне

То было время, когда тысячи и тысячи людей, волею случая приставленных к сложным и отдаленным от врага формам борьбы, испытали внезапное желание: лечь с пулеметом за кустом, какой поплоче и помокрее, дожидаться, пока станет видно в прорезь прицела — простым глазом и близоруким глазом. И бить, бить, бить в морось, придвигающуюся топоча.

И было еще одно желание: под тем же кустом, помокрее и поплоче, подгребя сухих листьев под проношенные коленки, засунуть стандартный наган в рот (по — растратчищи) или притиснуть его к лбу (по — офицерски) — и на две, на три, на четыре уменьшить официально положенную семерку пуль.

Диапазон официозности расширился: «Правда» печатала стихи от Демьяна Бедного до Ахматовой. Распространение получили две формы приверженности к существу: одна — попроще — встречалась у инородцев и других людей чисто советской выделки. Она заключалась в том, что сущее было слишком разумным, чтобы стерли его немцы в четыре месяца от июня до ноября. Эта приверженность не колебалась от поражения, ибо знала она, что государственный корабль наш щелист, но знала также, что слишком надежными, плотничными гвоздями заколачивали его тесины. Вторую форму приверженности назовем традиционной. Она исходила из страниц исторических учебников, из недоверия к крепости нашествователей, из веры в пружинные качества своего народа. Имена Донского, Минина, Пожарского — для инородцев западно чуждые, сошедшие с темных досок обрусительских икон, — здесь наливались красками и кровью. Две эти любви, механически слитые армейскими газетками, еще долго жили порознь, смешливо и враждебно поглядывая друг на друга. В Керчи Мехлис просматривал листовки, обращенные к полякам — солдатам немецкой армии. Мучительно картавя, хрипя, презирая, он тыкал в исчерканный текст чиновника своего. Кричал: «Где славянство? Почему нет «братья славяне»? Вставьте сейчас же, я обожду».

Тогда еще никто не знал, что слово «славяне», казавшееся хитрой выдумкой партработников и профессоров, уже собрало в Белграде студентов и работников под знамена КПЮ.

6 ноября 1941 года (возвращаясь после ранения из госпиталя. — П. Г.) я проезжал через Саратов. Была метель —

первая в этом году. Ночью на станции, ярко освещенной радужными фонарями, продавалось мороженое — пятьдесят копеек порция — сахарин, крашеный снег, подслащенный и расцвеченный электричеством. Оно таяло задолго до губ, в руках и невидными ручейками скапывало на землю. Россия казалась эфемерной и несуществующей и Саратов — последним углом, загудком ее.

На следующее утро эшелон остановился на степной станции. Здесь выдавали хлеб — темно — коричневый, свежевыпеченный, ржаной. Его отпускали проезжающим, пробегающим, эвакуированным, спешащим на формировку. Однако хлебная гора чудесно не убывала. Теплый запах, окутывавший ее в ноябрьской неморозной изморози, напоминал об уюте и основательности. За две тысячи километров от фронта, за полторы тысячи километров от Москвы Россия вновь представилась мне необъятной и неисчерпаемой.

На войне пели «Когда я на почте служил ямщиком...», «Вот мчится тройка удалая...», «Как во той степи замерзал ямщик...». Важно, что это неразбойничьи, небурлацкие и несолдатские песни, а именно *ямщицкие*. Преобладало всеобщее ощущение дороги — дальней, зимней, метельной дороги. Кто из нас забудет ощущение военной неизвестности ночью, в теплушке, затерянной среди снежной степи?

Эренбург

Идеология воина, фронтовика составляется из нескольких сегментов, четко отграниченных друг от друга. Подобно нецементированным кирпичам, они держатся вместе только силой своей тяжести, невозможностью для человека отказаться хотя бы от одного из них. Жизнь утрясает эту кладку, обламывает одни кирпичи об другие. Так, наш древний интернационализм был обломан свежей ненавистью к немцам. Так, самосохранение жестоко «состукивалось» с долгом. Страх перед смертью — со страхом перед дисциплиной. Честолюбие — с партийным презрением к побрякушкам всякого рода.

Один из самых тяжелых и остроугольных кирпичей положил Илья Эренбург, газетчик. Его труд может быть сравнен только с трудом коллективов «Правды» или «Красной Звезды». Он намного выше труда всех остальных писателей наших. Для многих этот кирпич заменил все остальные, всем — мировоззрение, и сколько молодых офицеров назвало бы себя эренбургийцами, знай они закон словообразования. Все знают, что имя вклада Эренбурга — ненависть. Иногда она была естественным выражением

официальной линии. Иногда шла параллельно ей. Иногда, как это было после вступления на немецкую территорию, — почти противоречила официальной линии. Как Адам и как Колумб, Эренбург первым вступил в страну ненависти и дал имена ее жителям — фрицы, ее глаголам — выстоять, ее мерилам и законам. Не один из моих знакомых задумчиво отвечал на мои аргументы: «Знаете ли, я все-таки согласен с Эренбургом» — и это всегда относилось к листовкам, к агитации, к пропаганде среди войск противника. Когда министры иностранных дел проводят свою линию с такой неслыханной последовательностью, они должны стреляться при перемене линии.

Эренбург не ушел, он отступил, оставшись «моральной левой оппозицией» к спокойной политике наших оккупационных властей.

Вред его и польза его измеряются большими мерами. Так или иначе, петые им песни еще гудят в ушах наших, еще ничто не заглушило их грозной мелодии. Мы не посмели противопоставить силе ненависти силу любви, а у хладнокровного реализма не бывает силы.

Гнев

Пропаганда и рассказы освобожденных жителей, запах самого словечка «фриц», историческая нелюбовь к «колбасникам» обусловили специфическое отношение наших солдат к немцам — не презрение, не злобу, а брезгливую ненависть, отношение, равное отношению к лягушкам или саламандрам.

Капитан Назаров, мой комбат, ландскнехт из колхозных агрономов, за обедом рассказывал мне, как он бил пленных в упор, в затылок из автомата.

— Зимой 1941 года на Воронежском фронте взяли в плен сорок фрицев. В штаб армии привели двоих из них. Часть пленных убили штабные офицеры — из любопытства. Остальных заставили снять шинели — «щоб воши их не грызлы». Фрицы «потанцовывали» в открытом кузове, а потом померли потихоньку. «Ось мы идем и чуем — щось торохтит у кузове, як та мерзла картофля. Роздевылысь — а то фрицы, вже застыклы. Мы их повакыдывали из машины, тай позакыдывали снігом».

20 февраля 1943 года на станции Мичуринск наш эшелон стоял рядом с эшелоном пленных. Здесь были итальянцы, румыны, югославские евреи из рабочего батальона. На платформах валялись десятки желтых трупов. Их крайняя истощенность свидетельствовала, что причиной смерти был голод; однако достаточно было взглянуть в окно, чтобы понять,

что пленные страдают от жажды больше, чем от голода. Через окна шла жуткая торговля. Жители подавали туда грязный снег, смерзшийся, февральский, политый конской мочой, осыпанный угольной пылью. За этот снег пленные отдавали часы, ридикюли, кольца, легко снимавшиеся с истощенных пальцев. Вдоль окон ходила маленькая девочка с испуганными глазами. Она давала большие куски снега — бесплатно. Я подал пленным несколько кусков и приказал страже немедленно напоить их. В окне югославский еврей в бараньей шапке кричал скребущим по душе голосом: «Я хочу работать! Я не виноват! Я не хочу умереть с голоду!» Я знаю правительственные установки об обращении с пленными. Их выполнение скрывают не жестокость, не мстительность, а лень. Мы народ добрый, но ленивый и удивительно не считающийся с жизнью одного человека.

Мне рассказывали один из разительных примеров этой разбойной доброты. Зимой разведчики поймали фрица. Везли его за собой три недели — в комендантской роте. Фриц был забавный и первый в дивизии. Его кормили на убой — тройными порциями пшенной каши. Наконец встал вопрос об отправке его в штаб армии. Никому не хотелось шагать по снегу восемь километров. Фрица накормили досыта — в последний раз, а потом пристрелили в амбаре. Этот пир перед убийством есть черта глубоко национальная.

Однажды на командном пункте дивизии офицер допрашивал немца. Его знания языка строго ограничивались кратким четырехстраничным разговорником. Он беспрестанно лазил в разговорник за переводами вопросов и ответов. В это время фриц дрожал от усердия, страха, необычайного холода, а разведчики сердито колотили по снегу промерзшими валенками. Наконец офицер окончательно уткнулся в разговорник. Когда он поднял голову, перед ним никого не было. «А куда же вы девали фрица?» — «А мы его убили, товарищ лейтенант».

Зимой, после приостановки наступления, фронт стабилизируется. На позициях воцаряется тишина. Делать нечего. Живешь — от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Через нейтральную полосу лениво переругиваются рупористы. В землянках режутся в карты и рассказывают похабные анекдоты. В такое-то времечко командир дивизиона, мой знакомый, пережил необычайные приключения. В стереотрубу он заметил, что из-за дома вышел немец — толстый, наверное рыжий, с котелком каши в руках. Кашу есть собрался. Комдив немедленно позвонил на огневые, указал координаты, приказал израсходовать на фрица 18 снарядов. Все они разрывались «почти рядом»: «Он в окоп, я по окопу, он в траншею — я по траншее, он в дом — я по дому.

Прямое попадание. Смотрю: где фриц? А он уже выскочил из-под известки, бежит, в руке котелок. Так и удрал в блиндаж. Вот, наверное, пообедал со вкусом».

Жестокость наша была слишком велика, чтобы ее можно было оправдать. Объяснить ее можно и должно. В октябре года я вещал с горы Авала — огромного холма под Белградом, увенчанного гранитным капищем неизвестному солдату. По склонам Авалы выходили из окружения три разбитые немецкие дивизии. Мою машину прикрывали партизаны. Пока грелись аккумуляторы, я разговорился с солдатом из русской роты — бывшим сельским учителем из Западной Сибири, немолодым уже человеком с одухотворенным и бледным лицом. Вот что рассказал мне учитель о Кёльнской яме

КЁЛЬНСКАЯ ЯМА

Нас было семьдесят тысяч пленных.
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим безмолвно и дерзновенно.
Ржавеет от голода в Кёльнской яме.
Ногтями, когтями, камнями — чем было,
Чего под рукою обильно, довольно,
Мы выскребли надпись над нашей могилой,
Письмо бойцу — разрушителю Кёльна!
«Товарищ боец, остановись над нами.
Над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за родину в Кельнской яме!»
О немецкая нация, как же так!
О люди Германии, где же вы были?
Когда меднее, чем медный пятак,
Мы в Кёльнской яме от голода выли.
Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партийцы шептали: «Ни шагу. Ни шагу».
Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство слабым.
О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей, —
Смотрите, как мясо с ладоней вые,

Встречают смерть товарищи наши!
Землю роем когтями — ногтями,
Зверем воем в Кёльнской яме,
Но все остается, как было, как было! —
Каша с вами, а души с нами^[2].

Так какие же сроки нужны для того, чтобы забыть о Кёльнской яме? Какие горы трупов, чтобы ее наполнить? Кто из нас, переживших первую военную зиму, забудет синенький умывальник в детском лагере, где на медных крючках немцы оставили аккуратные петельки, — здесь они вешали пионеров, первых учеников подмосковных школ. Нет, наш гнев и наша жестокость не нуждаются в оправдании. Не время говорить о праве и правде. Немцы первые ушли по ту сторону добра и зла. Да воздастся им за это сторицей!

Героизм

Неисповедимы пути становления героического. Пусть эту главу увенчает рассказ о том, как брали рощу «Ягодицы».

КАК БРАЛИ РОЩУ «ЯГОДИЦЫ»

Этот рассказ запоминается с первого чтения. На Западном фронте была деревня Петушки — 62 двора, одна церковь, два магазина. За эту деревню легло 30 тысяч наших солдат — цифра почти бородинская по своему значению. С юга Петушки прикрывались тремя лесочками: рощей «Круглая», рощей «Плоская» и рощей «Ягодицы». В роще «Ягодицы» и разыгрался главный бой. Однажды утром командарм пятой, отчаянный цыган Федюнинский, прочитал очередную оперсводку, выругался и приказал комдиву: «Через два часа доложить о взятии рощи «Ягодицы»».

Комдив переадресовал приказ в полк. Пока шифровальщик корпел над телеграммой, срок сократился до 60 минут. Командир полка, помедлив чуток, позвонил комбату. Это был унылый и меланхолический человек. Вверенный ему личный состав на протяжении последних двух недель не поднимался выше цифры 70, из коих пятнадцать процентов составляли писаря из строевой части, учитывавшие персональные потери. Роты уже были слиты воедино, и комбат командовал сам — четверт — поваром, ординарцем, и одним из — старшим сержантом.

Все они сидели на опушке рощи «Плоская», терли сухие листья на сигаретки и изредка постреливали в «Ягодицы». Комбат долго муслил карандаш, расписывался в прочтении. Потом проговорил задумчиво: «Через 30 минут доложить о взятии рощи “Ягодицы”». Его войско спало, утомленное неясностью положения. Растревоженные командирским каблуком, солдаты встали, потянулись, почухали тремя пятернями три затылка и приступили к выполнению приказа.

Сначала старший сержант дал артподготовку — пять выстрелов из противотанкового ружья. Вороны с криком сорвались с обкусанных осколками деревьев.

Противник молчал.

Потом, набрав в легкие воздух, войско одним махом форсировало двести шагов, отделявших «Ягодицы» от «Плоской». На опушке с шумом выпустило воздух и прижалось к траве.

Противник молчал.

Тогда, осмелев, повар вскричал «Ура!» и побежал по роще. Немцев нигде не было. Еще два дня тому назад они ушли в деревню, утащив с собой раненых и убитых. Так была взята роща «Ягодицы».

Всех трех солдат представили к званию Героя Советского Союза. И не нашлось человека, который бросил бы камень в их окровавленный огород.

* * *

Неисповедимы пути становления героического.

В 1941 году сдался в плен лейтенант — назовем его Рахимов — казах или узбек, незадолго до войны окончивший нормальное военное училище. То было время, когда немецкие генералы решили, что они римские проконсулы. Формировались батальоны, отряды, дивизии из солдат девяти — пятнадцати национальностей Советского Союза. По смоленским колхозам шныряли конники в неформенной одежде.

В селах они громко пели: «Соловей, соловей, пташечка...», но также и «Катюшу» и другие советские песни.

Из стогов на знакомые звуки выползали тощие окружения. Их рубали шашками.

Рахимов дал согласие командовать среднеазиатским батальоном четырех или пяти национальных рот — казахи, узбеки, таджики. К нему приставили надзирателя. Немецкого офицера. В ротах разместили по фельдфебелю. Во всем батальоне было не более пяти немцев. Полтора года туркестанцев учили,

наслаивали немецкую тактику на красноармейское воспитание, кормили отличным солдатским пайком — сладким супом, консервированным сыром, — за это и проданы были голодные красноармейские души. О политике говорили мало. Между Рахимовым и командирами рот установились восточные отношения — молчаливой, не задающей вопросы покорности.

В августе 1944 года немцы выбросили батальон, дислоцировавшийся тогда в Румынии, на передовую. Шла Кишиневская битва. Фронта не было. Противники искали друг друга. Рахимов решил использовать момент для перехода на сторону Красной Армии.

Посоветовавшись, командиры рот решили, что каждый возьмет на себя своего немца. В последний момент, когда до передовой оставалось три километра, немцам перерезали глотки. Офицера убивал сам Рахимов.

Солдаты узнали о происшедшем через несколько минут. Приняли с молчаливым одобрением. Темнело; батальон двигался вдоль дороги, заметно приближаясь к линии фронта. Шли свернутыми колоннами. Впереди на конях ехал Рахимов с офицерами. Внезапно послышался русский окрик часового; Рахимов ответил: «Свои!» — и проехал вперед. С этим отзывом и в более беспокойные времена переходили фронт и доходили до больших штабов.

Наконец часовой разглядел немецкие автоматы и зеленую униформу, бросил винтовку, без памяти побежал в деревню. Был остановлен, задержан. В деревню вошли затемно. Рахимов с товарищами беспрепятственно подъехал к дому, где квартировал командир полка. Вошел. В комнате было трое: подполковник, ординарцы. За Рахимовым затолпились его черномазые офицеры.

«Товарищ подполковник, разрешите обратиться!» — «Говорите».

Подполковник поднял голову. Перед ним стоял немецкий офицер, четко держал руку под козырек.

«Разрешите обратиться, товарищ подполковник!» Тот сидел бледный, опустив голову в тарелку. Повисли руки у ординарца.

Рахимову стоило большого труда объясниться. Наконец комполка зашевелился, позвонил генералу, а покуда предложил немедленно разоружить батальон. Приехавший генерал отменил это приказание. В ту же ночь батальон бросили в бой. Через несколько дней туркестанцы рассеялись по госпиталям, и новые красноармейские книжки нивелировали их удивительные биографии.

Самого Рахимова оставили при штабе дивизии — помощником начальника разведотделения.

Вот еще один «удивительный случай доблести и героизма».

Зимой 1942/43 года к нам попали немецкие штабные архивы. Среди них нашли опросный лист переводчика разведотдела этой же дивизии, взятого незадолго до того в плен немцами. Это был молодой еще человек. Немецкий язык изучил в колониях на Украине. До войны работал в средней школе преподавателем. В армии не пошел дальше сержанта.

Из опросного листа было видно, что пленный дезинформировал контрразведчиков по всем остальным вопросам. Был бит, пытан, что фиксировалось в протоколе. Упорствовал, лгал, молчал, настаивал на своем.

Судьба его неизвестна.

* * *

Неисповедимы пути становления героического.

Под Москвой солдат среди бела дня взбирается на немецкий танк и обухом загибает пулемет. При этом матерится и дурашливо стучит каблуком по стальной крыше.

Сочиняя по политдонесениям историю 20-й гвардейской дивизии, я установил, что здесь дважды предвосхитили потрясший Сталина подвиг Матросова. В одном случае это сделал еврей — одессит, штабной парикмахер, изгнанный за лукавство на передовую. Писаря оглупляли героизма ежедневной, нормированной «героикой» политдонесений.

В той же 20-й дивизии сержант, юноша, которому оторвало руку по локоть, поднял ее над головой уцелевшей рукой и пошел в бой во главе своей роты.

В то же время многие танкисты горели в танках, потому что знали: потерявших материальную часть отправляют в нелюбимые и опасные пехотные роты.

Зимой 1942 года немецкие снайперы отрезали передовую от штаба батальона и кухонь. Образовалась «долина смерти» — обычная для Западного фронта, где лесистость носит пунктирный, прерывистый характер. За день выбыло из строя четверо неосторожных связистов. Солдаты доели сухари, дососали грязный сахар, начали грызть кожаные сыромятные ремни — только бы заморить червячка.

Комиссар батальона вызвал охотников — кому не жалко ободрать пузо, проползти к передовой с термосом горячей каши. Откликнулся писарь, провинциальный бухгалтер, совсем плюгавый человечек. Он сказал: «Термос я отнесу, конечно, но вы, товарищ комиссар, постарайтесь уже — выхлопотайте мне хоть

медальку». В то время медали еще были в цене. Комиссар с охотой согласился. «Термос-то, конечно, доставлю, товарищ комиссар, только вы мне расписочку выдайте — так мол и так, солдат Андрюшкин медаль заслужил». Получив расписку, Андрюшкин засунул ее за пазуху и довольный пополз с термосом.

* * *

В октябре 1941 года партия перевела героизм из категории «мораль» в категорию «право».

Приказ № 270, предлагавший любому красноармейцу казнить любого начальника, отдавшего приказ о сдаче в плен, и самому занять его место, *обоснованно предполагал присутствие титанов*. Отсюда выросло партизанское обычное право, когда Федька Гнездилов, солдат, бывший цирковой фокусник, держал комиссаром медсанбата своего шеститысячного отряда дивизионного комиссара и ругательски ругал его за нерасторопность.

Запрещение сдаваться в плен, немыслимое в любой другой армии, привело к тому, что окружение было не только катастрофой, но и толчком к образованию мощных лесных соединений. Приказ выполнило меньшинство, но меньшинство, достаточное для моральной победы. В штурмовых батальонах еще долго встречалось обиженное начальство. Они сдались в плен, порвали партбилеты, чтобы сохранить себя для коммунизма и даже для борьбы в эту войну «в более благоприятных условиях». Их ведь не предупреждали о том, что нормы героизма будут настолько повышены.

Так атлантизм, расколовший Югославию и Польшу, был предупрежден у нас военной юстицией и приказной пропагандой.

Так вот с чем мы пришли в Европу!

В Румынии пьяный лейтенант, обобравший румынского майора, долго тряс его за грудки и покрикивал: «А ты в Одессе был? А ты в Европе был?»

Очень много, оказывается, значило вовремя побывать в Одессе.

Быт

Эта глава о быте наших войск в Европе включает в себя разделы: пища, деньги, фронтовые женщины.

Она должна быть дополнена разделами о жилище, одежде, письмах из дому, оружии и многом другом.

Менее высокий жизненный стандарт довоенной жизни помог, а не повредил нашему страсотерпчеству — пройти через Одессу, «быть» в ней так, как советский лейтенант, а не как румынский майор.

Без отпусков, без солдатских борделей по талончикам, без посылок из дому мы опрокинули армию, которая включила в солдатский паек шоколад, голландский сыр, конфеты.

Зимой 1941/42 года под Москвой наша снежная нора, согреваемая собственным дыханием, победила немецкую неприиспособленность к снежным норам. В 1942 году солдатские газеты прокричали об утвержденных Гитлером проектах благоустроенных солдатских блиндажей, без выполнения этого обещания немцы не стали бы воевать еще зиму.

Почти всю войну кормежка была изрядно скудной. Люди с хорошим интеллигентским стажем мечтали о мире как о ярко освещенном ресторане с пивом, с горячим мясным. Москвичи конкретизировали: «Савой», «Прага», «Метрополь».

Офицерский дополнительный паек вызывал реальную зависть у солдат.

В окопах шла оживленная меновая торговлишка! Табак на сухари, порция водки на две порции сахара. Прокуратура тщетно боролась с меной.

Первой военной весной, когда подвоз стал маловероятен, стали есть конину. Убивали здоровых лошадей (нелегально); до сих пор помню сладкий потный запах супа с кониной. Офицеры резали конину на тонкие ломти, поджаривали на железных листах до тех пор, пока она не становилась твердой, хрусткой, съедобной.

Старшинам, поварам, кладовщикам — завидовали.

Помню состязание поваров голодной весной 1942 года. В полк пришло пополнение. Бледненький москвич с тонкими руками назвался поваром и потребовал использования по специальности. Навстречу ему вывалился повар — блестящий от сытого жира. Жюри составляла толпа офицеров и штабных солдат. Повар был бесконечно уверен в своей победе.

— Ну, Расскажи-ка мне рецепт цыпленка — антрекот.

Претендент понес явную чушь.

— Птишан знаешь? Котлеток сколько сортов знаешь?

Претендент тоскливо молчит. Под общий смех его изгоняют в стрелковую роту.

Жестокие антиворовские законы войны, казни шоферов за две пачки концентратов были вынуждены голодной судорожностью, с которой обирал себя тыл, чтобы подкормить фронт.

Летом на минированных полях у Гжатска, в нейтральной

междулинейной полосе, выросла малина. Две армии лезли за ней по ночам.

Той же весной в госпиталя часто привозили дистрофиков с нулевым дыханием — старичье из дорожных батальонов. Во время двенадцатикилометрового перехода в мартовскую грязь полки теряли по несколько солдат умершими от истощения.

Не только казахи и узбеки, но и заведующие и управляющие из МПВО в арtpолку разбавляли свою кашу многими литрами воды — болталось бы хоть что-нибудь в брюхе.

Серьезное улучшение питания началось с приездом на сытую, лукавую, недограбленную немцами Украину.

Летом 1943 года в деревне Хролы под Харьковом я был удивлен тем, что рота отказалась от ужина, накушавшись предложенными прятавшимися по погребам крестьянами огурцами, медом, молоком.

В марте 1944 года, догоняя уходивших к Днестру немцев, мы ворвались в виноградную зону. Сорокакилометровые переходы сделали это совершенно внезапным. Люди, получавшие по сорок два грамма замерзшего спирта с 1 ноября по 1 мая, дорвались до разливанного моря виноградного молодого невыделанного вина. В Цебрикове, брошенной немецкой колонии с группами шестикомнатных домов, в подвале нашли дюжину бочек. Разбили и долго еще выбирали ведрами, вытягивали губами восемьдесят сантиметров не просачивавшегося сквозь цементный пол вина.

В эти же дни немцы провели успешную ночную атаку на перепившуюся, буквально на глазах у противника, 52-ю дивизию. По — смешному, в кальсонах, побежали штабные офицеры. Тогда Мкртумян приладил на соломенной крыше худой избенки, которую ему выделили, трубу и заорал с отчаянным армянским акцентом: «Куда побежали? Стыдно, товарищи офицеры!» — и штаны угрюмо застегивались, собирались в кучки, организовывали сопротивление. Проходивший мимо генерал подивился, но, расспросив, — одобрил.

Зимой 1944/45 года сплошь и рядом пехота опрокидывала кухни, вываливала курганы каши на грязный снег — хоть в кашу и закладывали тогда по шестьсот граммов мяса на человека, а не тридцать семь с половиной граммов непонятного, дворянского яичного порошка.

Ловили фазанов в барских имениях, кур и гусей в крестьянских домах, весело скручивали им шеи, подолгу несло из блиндажей вкусным жареным чадом.

Дивизии брали склады с шоколадом, голландским сыром, рождественскими посылками, и много дней таскали этот шоколад солдаты 73-й, набравшие его на дороге к Белграду. В самом

Белграде была пропасть огромных килограммовых коричневых консервных банок — со сливочным маслом (№ 50 на донышке), с печенкой (№ 48).

Когда в Будапеште и Вене солдатские кухни раздавали пайковую кашу жителям, это объяснялось не только жалостью к голодным вражениам, не только невозможностью обжираться на глазах у истощенных блокадой детей, но и изобилием, царившим в интендантствах.

Заместители по тылу, непредусмотрительные начальники АХО, перестали заискивать у следователей и прокуроров — достаточно было протянуть руку, чтобы покрыть любые товарные недостатки. Впервые за эту войну криминальными считались товарные излишки.

Уже в 1943 году (летом) мы перестали испытывать нужду в овощах. Под Харьковом фронт проходил в бахчах и огородах. Достаточно было протянуть руку за помидором, огурцом, достаточно разжечь костер, чтобы отварить кукурузы. В это лето продотделы впервые прекратили сбор витаминной крапивы для солдатских борщей.

Под Тирасполем началось фруктовое царство. Противотанковые рвы пересекали яблоневые, грушевые, абрикосовые сады — колхозные с этой, монастырские и помещичьи с той стороны Днестра. Старшины таскали в роты, защищавшие степные участки, цибарки с яблоками. Эвакуированный Тирасполь был завален осыпавшимися плодами, которые некому было убирать. На приречных холмах чернели вишни. Компот и кисель прочно вошли в солдатское меню.

Через месяц, над Суворовой Могилой, я впервые поел винограда. Немцы интенсивно обрабатывали наше расположение, и тянущая оскоми́на во рту странно ассоциировалась со свистом мин, буравивших желтый песок.

По пути от Харькова к Днепру немцы разгромили все бахчи, прострелили или проткнули штыками каждую дыню, тыкву, арбуз, оставив их догнивать. Однако огурцов и помидоров было слишком много, и у нас было на чем отыгаться.

Помню еще вздутые трупы волов на околицах бессарабских деревень — немцы собирали и расстреливали их перед отступлением.

В Болгарии и Югославии кулинарная мысль, усердие интендантов дошли до ввоза из России икры, настоящей московской водки — конечно, для генеральских столов.

На праздничных офицерских обедах, где-нибудь в Венгрии, подавалось по восемь мясных блюд, шесть видов борщей и т. д. Начальство в военторгах переставало считаться презираемой

профессией.

В то же время в Вене за пять буханок хлеба можно было купить золотые дамские часы.

Штабной врач Клейнер жаловался мне, что тыловики, идя по линии наименьшего сопротивления, перегружают рационы огромными порциями мяса и вина, угрожающе перерождающими ткани.

На больших перегонах за дивизиями шли большие тысячные гурты скота. Другие тысячи трясли хвостами в обратном направлении — их гнали в украинские и смоленские колхозы. От этих европейцев пойдут, наверное, неожиданные поколения рыжих коров и грузных битюгов с короткими хвостами. Повозочные не уважали этих «мадяров» и безжалостно лупили по хребтам.

В полуброшенной швабами Воеводине бродили дичающие гурты свиней, уток, индюков.

Основательно объев заграничное животноводство (в Венгрии и Австрии в 1945 году пришлось законодательно запрещать убой скота), мы подкормили солдата, избавились от дистрофиков и наели мяса, которого с избытком хватит на многие месяцы восстановительного периода.

* * *

В переулке, на солнышке, солдаты играют в карты, на деньги. Проходящий офицер делает им замечание. В ответ ему ленивое: «Пеньги не деньги». «Пеньги» действительно не считались деньгами. Солдату было почти невозможно купить на них что-нибудь — военторги не достигали передовой. Солдат не покупал, а брал: брал много, больше, чем это выходило по расчету на «пеньги».

Впервые наши столкнулись с инвалютой во время Ясской операции. В разбитых казначейских ящиках шуршали миллионы лей, сотни тысяч марок. У каждого пленного фрица была припрятана заветная сотня марок, с которой он расстался бы куда охотнее, чем, скажем, с очками.

Но было отчетливое сознание, что вместе с Гитлером и Антонеску канут в бездну марки и леи. Шли не смирать, не завоевывать — сметать. Кроме того, реального представления о ценности инвалюты не было. За окопные годы все позабыли о лавках с витринами, где можно купить, получить сдачу. На сберкнижках мертвым грузом лежали десятки тысяч рублей. Их легко отдавали — на танковую колонну, на сирот, займы

тыловым друзьям. Даже старшие офицеры не знали, что такое лея. 28 августа, когда наша бригада подъезжала к госгранице — Дунаю, Недоклепа остановил машину и свистом подозвал копавшихся в поле крестьян. Он был самый опытный из нас: служил в Бессарабии в 1940 году.

Крестьянам было объяснено, что ходить будут не леи, а рубли. Посоветовано — обменять леи по курсу 100:1 (до сих пор не знаю, откуда взялась эта пропорция).

Бессарабцы сдались и выдали нам пачку купюр, вызывавших подозрение своей новизной и большими цифрами. В первой же пограничной лавчонке, соблазнившийся капитализмом, я сдуру купил за леи три больших куса туалетного мыла. Разведчики, которые носили по одиннадцать часов на левой руке — от плеча до запячья — и тикали ими на ходу на одиннадцать разных голосов, затосковали, узнав, что презренные ими леи имеют реальную покупательную способность. Уже с Констанцы начался отъем лей у гражданского населения.

* * *

На командном пункте 60-го полка многие месяцы жили две девчонки лет двадцати — двадцати двух. Они чистили картошку для офицерских столовых, носили сальные ватные брюки, жили в сырых землянках, спали со всем персоналом штаба по очереди. Относились к ним с добродушным презрением. Звали одну Петькой, другую — Гришкой. У них была кошачья привязанность к привычному месту, своеобразный патриотизм полкового масштаба.

Думаю, что у них не было бордельной, машинальной развратности. Простительная гулящость горожанок с фабричной окраины богато дополнялась нежностью, товариществом и забитой, жалконькой женственностью.

Дурацкая ассоциация соединяет этих девушек с Фюрнбергом, секретарем ЦК КП Австрии, чистым человеком, перед которым я и по сей час готов ломать шапку.

Аскет, чистый человек, он был настоящим примером политического, партийного деятеля, как какой-нибудь майор Вишневский, парторг 55-го полка, имевший «душу» и «подход», был положительным образчиком политического работника.

В сорок лет у него был молодой пыл неофита. Один из крупнейших функционеров Европы, он организовывал австрийские партизанские батальоны в Словении, курьерствовал между Тито и Москвой, недоедал, ходил в английской униформе,

полученной у партизан, договаривался с югославами о спорных территориях и демаркационных линиях, достойно, чуть насмешливо спрашивал меня, примут ли его мои начальники. Стыдился и гордился своим еврейством. В Праге у него была девушка, о которой он ничего не слышал в течение всей войны. Он тосковал невозможностью урвать у партии два дня, съездить в Прагу, посмотреть, узнать

Все сводки времен заграничного похода тщательно учитывают обратное влияние Европы на русского солдата. Очень важно знать, с чем вернутся на родину «наши» — с афинской гордостью за свою землю или же с декабризмом наизусть, с эмпирическим, а то и политическим западническим?

Немцы методами пропаганды ставили вопрос: зачем воевать на чужой земле? А еще больше привлекали внимание к мнимым и фактическим преимуществам европейской жизни. Специальная листовка была посвящена противопоставлению венгерской деревни колхозному строю. Был ряд фактов дезертирства наших солдат, особенно из бывших пленных. Дезертиры пытались осесть с новыми женами.

Однако наиболее важное в отношении русского солдата к заграничье выразил шофер Довгалева, с удивлением спрашивавший меня в Констанце: неужели этот завод частный?

Наиболее веским оказалось сознание несправедливости европейского социального уклада, гордое противопоставление ему. Где-то в Австрии жители недоумевали по поводу рассказов нашего солдата, бывшего сапожника, наговорившего России три короба комплиментов. Конечно, тысячи и тысячи солдат преувеличивали положительные стороны нашей жизни перед иностранцами, оправдывая себе эту ложь именно **справедливостью** жизни в России.

Европейские парикмахерские, где мылят пальцами и не моют кисточки, отсутствие бани, умывание из таза, «где сначала грязь с рук остается, а потом лицо моют», перины вместо одеял — из отвращения, вызываемого бытом, делались немедленные обобщения.

В сводке сообщали нам, что румынские буржуа рассчитывают на «капитализацию» идеологии красноармейца и на то, что, вернувшись, они введут у себя капиталистические порядки. Однако именно в Румынии наш солдат более всего ощущал свою возвышенность над Европой.

В Констанце мы впервые встретились с борделями.

Командир трофейной роты Говоров закупил один из таких домов на сутки. Тогда еще рубль был очень дорог, существовал «стихийно найденный» паритет: «один рубль равняется ста леям», — вполне символизировавший финансовую политику

нашего солдата. Характерно, что курс завывался также и в Болгарии, а в Югославии он, наоборот, был занижен до того, что за один рубль там брали 9,6 недичевских динаров и солдаты переплачивали «из уважения».

Закупив бордель, Говоров поставил хозяина на дверях — отгонять посетителей, а сам устроил смотр нагим проституткам. Их было, кажется, двадцать четыре. «За свои деньги» он заставил их маршировать, делать гимнастические упражнения и т. д. Насытившись, Говоров привел в дом свою роту и предоставил женщин сотне пожилых, семейных, измучившихся без бабы солдат.

Первые восторги наших перед фактом существования свободной любви быстро проходят. Сказываются не только страх перед заражением и дороговизна, но и презрение к самой возможности купить человека.

Капитан в Бухаресте приводит в гостиницу шесть женщин, раздевает их. «Кто из вас проститутки?»; потом устраивает смотр и злобно бьет каблуком в обезволосенные места.

Многие гордились былями типа: румынский муж жалуется в комендатуру, что наш офицер не уплатил его жене договоренные полторы тысячи лей. У всех было отчетливое сознание: «У нас это невозможно».

Наверное, наши солдаты будут вспоминать Румынию как страну сифилитиков.

На многих вывесках румынских врачей скромное «внутренние болезни», «первый хирург городской больницы» подбираются впечатляющими литерами «сифилис».

От сифилиса лечат чуть ли не все врачи — и стоматологи, и окулисты. Сифилис давно перешел из разряда моральных несчастий в категорию финансовых неудач. Вылечить его — недорого. Оттого больных много, и в городе чувствуется прялый, сладковатый запах болезни.

Конец войны, естественно, встретил нас множеством промтоварных эрзаций. Цилиндры, шелка, лезущие после первой стирки, сахарин в пирожных — все это воспринималось как подделка, фальшь, ложь. Даже такие полезные вещи, как деревянная обувь, считали жульничеством. Традиционное почтение к «заграничной вещи» было подорвано. Наиболее характерно это для Румынии. Интересно, как шли эти процессы в Германии или Финляндии, где много прочных и хороших вещей.

Разыскивая компоненты, из которых складывалось влияние Европы на русского человека, не забудем о «плюсовых» факторах. Большинство болгар и югославов открыто восхищалось Россией, сплошь и рядом даже переоценивая ее. Преклонение перед

социальным строем и особенно перед военной мощью России наблюдалось повсюду. Солдат чутко это учитывал.

Нельзя забывать, что мы побывали в довольно паршивой Европе, ее Пошехонье, с румынским бессапожьем и венгерским безземельем.

Степень неосведомленности Европы о России была обидно велика. Это оскорбляло и озлобляло. Удивлялись нашему знанию простейших вещей из местной жизни — это в то время, когда во всех красноармейских газетах печатались справки: «Болгария», «Румыния», «Венгрия». В то же время охотно сообщали нам ворох всякой клюквы о России.

Как ни мизерно было то, что мы знали о них, они знали о нас еще меньше и хуже.

Еще царенок

Со всех витрин на нас презрительно поглядывал 24-летний королек всей Румынии. Унаследовав эфемеризм от отца и последствия гонимости от матери, этот родственник всех европейских монархов был очень красив — юный эсэсовский лейтенант, сероглазый, с жестоким взглядом. Быть может, его троюродные братья Гогенцоллерны — Зигмарингены в самом деле служили в немецких войсках. В детстве он много болел, поздно научился разговаривать. Для него создали специальную школу — шестнадцать детей, фонировавших его тугие успехи. Был упрям и зол.

Видел, как его беспутный отец бросил королеву и открыто жил с мадам Лупеску — еврейкой. Говорят, в шестнадцать он открыто потребовал у отца гитлеризации внешней политики. Когда тот отказал, Михай бросился на него с ножом. Стоявшая поблизости королева мать прикрыла короля своим телом, что и послужило (апокриф) причиной ее смерти.

В 1945 году он хотел жениться на английской принцессе, но такой брак оказался слишком политичным для союзной контрольной комиссии. Месяцами не принимал своего премьера. При подготовке аграрной реформы многократно тянул с мелкими изменениями. Грозе надоели нахаживания придворных, и он потребовал, чтобы их выгнали из кабинета. Через полтора часа они расстались. Гроза с подписанным законом. Король со слезами на глазах. Когда солдаты увели у него двух рысаков, жаловался Сусайкову: «В Румынии один король, и вы не можете его охранить».

Союзнички

В Констанце, в жаркий летний день, когда все население спасается от зноя в приморских трактирах, произошел любопытный случай. Капитан Красной Армии, напив и наев в кабачке на крупную сумму, пошел, не заплатив, к выходу. Трактирщик бросился ему наперерез. Капитан сообщил, что он победитель и платить не будет. Резонер — трактирщик отметил, что он уже выплатил государству свою долю лей как гражданин побежденной страны и вовсе не хочет платить вторично. Внезапно в эти экономические трения, происходившие при гробовом молчании трех сотен цивильных румын, вмешался английский офицер. Он спросил у хозяина, сколько должен господин капитан, — пятнадцать тысяч лей. Деньги были немедленно уплачены, после чего англичанин отправился к своему столику, провожаемый настоящей овацией. Капитан, вареный, пошел к выходу. Вслед ему свистел и улюлюкал весь зал. Этот случай получил широчайшую огласку, стал хрестоматийным анекдотом послевоенной Румынии.

Противопоставляя англичан советским офицерам, румынские буржуи указывают, что последние безъязычны, в то время как англичане знают язык. Какой же язык — английский? Да, но ведь это международный язык! Тоска по англичанам очень широких кругов европейской буржуазии, мещанства, интеллигенции проявлялась как в лирической, так и в политической формах. Английский король на календарях и фотоснимках попадал в самую неожиданную компанию — со Сталиным, Рузвельтом, Черчиллем и бесспорным Михаем. Англичанам прощали даже террористические бомбардировки жилых кварталов. Ожидали их примерно так, как ждала губернаторская Москва в 1918 году въезда генерала на белом коне. Все опросы, проводившиеся мною в Румынии, Венгрии, Австрии, обычно давали следующие результаты: двадцать процентов населения предпочитало русскую оккупацию союзнической. Не более того. Самые оптимистические обкомовцы называли двадцать пять процентов. Мародерства понижали эту цифру, а увеличение хлебного пайка повышало ее. Характерно, что она почти точно совпадала с количеством голосов, которые местные коммунисты предполагали собрать на выборах.

Симпатии к американцам носили менее определенный характер. Сомневались в их решительности. Впрочем, летом 1944 года ходили упорные слухи о том, что США предлагали нам триста миллионов долларов, всю сумму репараций, за очищение Румынии. Несомненно, что политика инфлирования леи, проводившаяся крупной буржуазией, исходила из того, что инфляция заставит склониться перед золотым тельцом и занять

фунты под политические проценты.

В Граце английские автомашины окружали жалующиеся и восхищающиеся австрийцы. Штирийские девушки были куда менее суровы к английским офицерам, чем к нашим. В комендатуру неоднократно обращались бывшие английские пленные с ходатайствами о пропуске в английскую зону — «для меня и жены — австрийки».

В мае 1945 года, когда мы гнались за надувшими нас с капитуляцией немцами, девушки, разбегавшиеся на реквизируемых, к нашему изумлению, велосипедах, спрашивали меня, кто мы — англичане или русские. С пятого раза я начал отвечать — португальцы, что вызывало, впрочем, некоторое недоверие. В отношении румынской (и вообще европейской) буржуазии к нашему социальному опыту сквозило: хорошо, да не для нас, мы здесь как-нибудь сами, по — своему.

Две армии

Летом 1945 года произошло два случая, иллюстрирующих отношения между победившей и побежденной армиями.

По улице гуляет румынский полковник с дамой. Мимо, не приветствуя, проходит сержант. Полковник наотмашь дважды бьет сержанта по щекам. На все это глазаеет праздная нарядная румынская толпа, фланирующая по улице ради прохладного вечера. Далее темп баллады обостряется. Сержант срывает автомат, и полковник падает, разрезанный надвое очередью. Сержанта сволокли в трибунал, где он получил, кажется, десять лет реального срока — так военюристы называют отсидку в тюрьме, противопоставляя ей «параллельные штрафные роты». Все открыто выражали ему свое сочувствие. Наш солдат резко различает драку — явление обоюдное, и рукоприкладство, мордобой, который всегда предполагает бесправие того, кого бьют. За рукоприкладство бросали за борт офицеров в 1918 году. Во все периоды этой войны наши солдаты реагировали на рукоприкладство болезненнее, чем на другие ущемления. Борьба с ним велась довольно эффективно.

Второй случай. На такой же людной улице румынский полковник проходит мимо нашего сержанта. Сержант останавливает его, жестко кричит ему: я победитель или что-то вроде этого, — и заставляет трижды пройти мимо себя, держа руку под козырек.

Летом 1945 года в Крайове приветствовали друг друга не более двадцати процентов советских и румынских офицеров. Румыны в три — четыре раза чаще, чем наши, иногда — старшие

младших. Тем не менее имели очень большое распространение случаи неприветствования румынами наших старших офицеров. Отношения между обоими корпусами были очень холодными. Почти нигде не появлялись вместе, хотя довольно много румынских офицеров сносно объяснялись по — русски. Летом началась массовая распродажа румынам вывезенных из Венгрии и Австрии вещей. Продавали за половину, за треть цены, хотя слишком опрометчивых продаж не было — очень велика была конкуренция среди покупателей, слишком известны цены. Мотоциклы продавались за триста тысяч лей, набор покрывал так же. Хорошо шло все — от ковров до старых брезентовых сапог (шесть тысяч лей). Изредка, с опаской сплавляли автомобили. Значительная часть выручки немедленно пропивалась. Буржуа, вообще отрицательно относившиеся к русским, приветствовали спекуляцию и поощряли ее. В сводках значились их мнения: русские продают хорошие и дешевые вещи. Плохо только то, что они изредка отбирают проданное. В этот период благотельными были посылки, так как в противном случае все наши «репарации с применением частной инициативы» закончились бы переходом чемоданов из рук неосмотрительных европейцев в руки осмотрительных.

Подоплека переворота

Префект Бухареста, Николай Александрович Челак, говорит по — русски с отличным дворянским прононсом. Даже галлицизмы его, усадебного пошиба, легко ложатся в русскую речь. Он рассказывает о перевороте 23 августа. После долгих прений все было намечено на 18 августа. Удар румынских дивизий с тылу должен был предсказать и предрешить Ясскую операцию. В последнюю минуту король испугался. Это слабый недодегенерированный юноша, вырожденец с ног до головы. Придворные ассоциируют его с Петром Великим. Не вижу никаких ассоциаций, кроме болезненности. Итак, он испугался, и Ясская операция началась помимо него и вопреки ему.

22 августа, когда исход битвы был уже ясен, состоялось соглашение между немногочисленным, уставшим от конспирации ЦК КПр с королем и политиками. В 16.00 во дворец был допущен Боднараш с двадцатью железнодорожниками — людьми большой физической силы. Наверное, он чувствовал себя счастливым в этот день. Много лет тому назад, окончательно убедившись, что его не произведут из локотинентов в капитаны, он переплыл Днестр и вышел на пограничный пост, изящный, щеголеватый, в фатовской форме румынского гренадера. Испытывался, учился,

был на Урале. Посланный в Румынию, неоднократно избивался в сигуранце. В 1944 году руководил кучкой бухарестских рабочих — как и он, озлобленных боями, провалами и провокациями.

На 17.00 во дворец был вызван Антонеску. За ним последовательно и по одному должны подъезжать Михаил Антонеску — премьер, начальник сигуранцы и два других генерала. Диктаторы проходили по узким, архитектурно предназначенным для царевубийства дворцовым коридорам. Внезапно на них бросились дюжие парни, заклепали рот, связали руки, увезли. Король не посмел, в отличие от своего савойского коллеги, разрешить себе жестокое удовольствие последнего разговора с диктатором. Вечером арестанты были сданы нашим эмиссарам. В тот же вечер Михай договорился с немцами о предоставлении им беспрепятственного выхода из страны. На больших дорогах происходили странные сцены. Румынские патрули останавливали немецкие автомашины, подобострастно интересовались документами, окружали, обезоруживали, избивали. Немецкие пароходы, удиравшие вверх по Дунаю, утапливались болгарскими партизанами — при олимпийском бесстрашии присутствовавших при сем жандармов. В Чернаводэ пограничники окружили большие немецкие казармы и, повесив в воздухе несколько специально вызванных советских бомбардировщиков, вынудили к сдаче около четырех тысяч солдат и офицеров. Впрочем, немцы быстро оправились от рабской коварности своих союзников. С пригородных аэродромов началась частая бомбежка королевского дворца, и Михай, оставив державу, бежал в свое лесное имение. Выведенные из Бухареста войска начали контрнаступление на гвардию и вооружавшихся рабочих. Судьбу страны решили девятнадцать свежих дивизий, предназначенных для защиты линии Прута. Соединение их с нашими войсками привело к автоматическому перенесению фронта на сотни километров севернее и западнее — в Трансильванию.

Челак рассказывал, как провалились планы ольтенского обкома об организации партизанщины. Было оружие. Была крепкая связь с лагерем военнопленных, где томили защитников Одессы и Севастополя. В последний момент обкомовцы убоялись организовывать национальную партизанщину за счет русских пленных, ставить под удар чужих для Румынии людей.

Осенью 1944 года 75-й стрелковый корпус, покоря Западную Румынию, освободил огромные шеститысячные лагеря наших военнопленных. Этих-то пленных и прочили в партизаны.

Корпус не пополнялся с августовских боев, и новобранцев немедленно распределили по полкам — огромными партиями по

шестьсот — восемьсот человек. Так и шли они разноцветными ордами, замыкавшими тусклые полковые колонны, — защитники Одессы и Севастополя, кадровые бойцы 1941 года, слишком выносливые, чтобы поддаться режиму румынских лагерей, слишком голодные, чтобы не ненавидеть этот режим всей обидой души.

Шли тельняшки, слинявшие до полного слияния белых и синих полос, шли немецкие шинели, шли румынские мундиры, выменянные у охраны. Шли. И румынские деревни отшатывались перед их полком, разбегались в стороны от шоссе.

Это были отличные солдаты, сберегшие довоенное уважение к сержантам и почтение к офицерам. Большинство из них крепко усвоило военное словечко: «Мы себя оправдаем», — сопряженное с осознанием своей вины (или согласием: мой поступок можно рассматривать как вину) и неслезливым раскаянием.

Первые дни в Европе

Границу мы перешли в августе 1944-го. Для нас она была отчетливой и естественной — Европа начиналась за полутора километрами Дуная. Безостановочно шли паромы, румынские пароходы с пугливо исполнительными командами, катера. Из легковых машин, из окошек крытых грузовиков любопытствовали наши женщины — раскормленные ППЖ и телефонистки с милыми молодыми лицами, в чистеньких гимнастерках, белых от стирки, с легким запахом давно прошедшего уставного зеленого цвета. Проследовала на катере дама, особенно коровистая. Паром проводил ее гоготом, но она и не обернулась — положив голову на удобные груди, не отрываясь смотрела на тот берег, где за леском начиналась Румыния. Это прорывалась в Европу Дунька.

И вот мы идем по отличной румынской дороге, покрытой белой пылью, столь тонкой, что в десять шагов она смыла с сапог российскую грязь.

Мимо медленно ползут стрелковые роты, досчитывающие трофеи кишиневского окружения. Костюмы бойцов варварски разнообразны: в полный набор оттенков желтого и зеленого цветов — положенных цветов нашей армии — обильно вкраплены немецкие и румынские мундиры. Основательная кирза разбавлена блистательной легковесностью хромовых, стянутых с немецкого подполковника сапог. Идут волны, мобилизованные еще за Днепром.

223-я дивизия ведет восемь последних верблюдов. Идут тамбовские некрупные лошаденки и трофейные першероны — их не уважают и нещадно бьют палками. Целые батальоны

полностью погрузились на немецкие повозки — санитарные и интендантские, крытые крепкой парусиной. Во всем чувствуется ясность, уверенность в себе, сытость. Несмотря на стремительные темпы передвижения: тридцать — тридцать пять — сорок километров в день, армия как будто не идет, а движется как гусеница.

Впереди большие, богатые города — Констанца, Браилов, Бухарест. Ровно год, со времени великого дневного пожара Харькова, крушения гигантских корпусов, наблюдавшегося из арбузных бахчей, мы острили по поводу внеурбанистичности наших маршрутов. Армия именovala себя «проселочной», «деревенской», «сельскохозяйственной». Завидовали соседям, бравшим Полтаву или Кременчуг. Даже штабные офицеры по шесть месяцев не стучали каблуками по асфальту.

Внезапная, почти столкнутая в море, открывается Констанца. Она почти совпадает со средней мечтой о счастье и о «после войны». Рестораны. Ванны. Кровати с чистым бельем. Лавки с рептильными продавцами. И — женщины, нарядные городские женщины — девушки Европы — первая дань, взятая нами с побежденных.

Второй день в Европе подходил к концу. Мы очень устали — от езды, от впечатлений, от пыли, покрывшей лица серебристо — серым слоем, придавшей им inferнальный характер.

Население нескольких румынских местечек с пугливым любопытством рассматривало нашу машину — быть может, десяти тысячную из проследовавших в этот день на Чернаводэ.

Вторжение началось, но завоеватели слишком торопились, чтобы сводить счеты. Все шло очень мирно. Массовое мышление — основательно, но медленно.

В эти дни доминирующей мыслью было: «Мы — победители. Они нам покорились». Потребовалась неделя, чтобы умами овладела следующая идея: «По поводу победы их следует пощипать».

Было уже темно, когда мы остановились в небольшом селе. Из подворотен угодливо повизгивали румынские собаки. Они капитулировали вместе со своими хозяевами и смертельно боялись красноармейцев. Достаточно было хлопнуть по кобуре, чтобы огромная псина умчалась куда глаза глядят.

Постучали. Хозяин в белых холщовых штанах посоветовал нам переночевать у местного коммуниста — бедняка. Кто-то одобрительно хмыкнул. Недоклепа воззрился на него презрительно. «Слушай, дружище, — сказал он хозяину, научившемуся понимать по — нашему в Трансистрии, — веди нас к кулаку, к самому что ни на есть мироеду. К кровососу — лишь

бы был побогаче».

Вскоре мы толпились в обширной горнице, и Недоклепа объяснял мироеду, что офицеры желают жареную курицу. Он кудачтал и приседал, наконец встал на корточки, зажмурился и захлопал руками. Мироед, всеми силами выразавший непонимание, выбежал в чулан и с торжеством подал ему рулончик клозетной бумаги.

Недоклепа вздохнул, вышел во двор, притащил отчаянно сопротивлявшегося петуха и мрачно ткнул им по направлению печки.

На следующий день в полдень мы уже были в Чернаводэ. Позднее, в Австрии, первый день мы обычно проводили в совершенно безлюдном городе.

Но Чернаводэ не успел еще испугаться как следует. По улицам ходили вооруженные офицеры. Они козыряли нашим солдатам. В киношке шла немецкая хроника. Лавочники сбывали последние самопишущие ручки. Каждый час они, не сговариваясь, повышали цены.

Комендант города майор Стихин отбивался от толпы обиженных. На него наседали торговцы со счетами убытков, домовладельцы, необдуманно требовавшие оплаты постоя, священники, справлявшиеся, открывать ли церкви. А он тянулся к женщине, стоявшей у входа. Это была окрестная помещица — писаная красавица — первая помещица в жизни майора Стихина, первая красавица за три года войны. Сегодня утром три младших лейтенанта увели из ее конюшен три пары кровных рысаков вместе с беговыми дрожками.

Недоклепа быстро вывел нас из оцепенения перед капиталистической действительностью. Он судорожно тянул носом и делал странные пасы руками. «В городе пахнет бензином... и машинами... здесь, конечно, есть автомашины».

Мы пошли на запах. Впереди чернели фермы великого чернаводского моста. В 1941 году он был разрушен удачливой бомбой Черевичного. Восстановительные работы затянулись на полгода, но сейчас он по — прежнему был единственным звеном между Добруджей и остальной Румынией.

Вскоре нас окружила толпа шоферов — пленных красноармейцев. Они жаловались и угощали нас папиросами, наперебой предлагали «свои» автомашины и себя в придачу. Ориентировка у них была полная. Никто не хотел идти в пехоту.

Недоклепа выбрал «бюссинг». Я — полуторку. На этой-то полуторке я и совершил свое первое государственное дело.

Мой новый шофер Гаранин — смоленский легковик — прежде всего удивил меня характером своих языковых познаний.

Он сносно изъяснялся по — немецки и совсем не знал румынского языка, хотя прожил два года именно в румынском, а не немецком плену. По — видимому, это объяснялось тем, что он точно ориентировался в международной обстановке.

Мы зашли в ресторан — обедать. За столом он рассказал мне городские новости.

Используя безначалие и сумятицу, румынское командование срочно угоняло за Дунай автомашины советских марок. Два эшелона ушли вчера. Еще два готовились уйти сегодня ночью.

Я позвонил в штаб погранвойск, размещавшийся здесь же в городе. Отказался говорить с адъютантом. Приказал полковнику — командующему — ожидать представителя «Главного русского штаба» у себя, через двадцать минут.

Умыться не хватило времени, и я вышел из машины грозный — грязный, отличающийся от лакированных румынских офицеров как земля от неба.

В просторном светлом дворе уже выстроилось в ожидании командование. Я откозырял, знаком пригласил командующего в его собственный кабинет. И с места в карьер потребовал приостановки отправки эшелонов. Полковник резонно согласился на условия перемирия. Попросил письменного распоряжения.

Я почувствовал, что залез в дебри дипломатии. Однако отступать было уже поздно.

Условились, что ему позвонят. И я умчался в Констанцу, где находился Бочаров, вершивший тогда судьбы Добруджи.

Мы встретились в отеле «Империял», где жило наше командование. В вестибюле грели самые чистые простыни в Румынии. Во дворе выколачивали атласные одеяла.

В этот же вечер в Чернаводэ выехали мотоциклисты — закрывать переправу через Дунай

Болгария

Русофильство

Если в Югославии симпатии к нам носили преимущественно советофильский характер, то в Болгарии на первый план выступило русофильство. Один из наших генералов, расположившийся в прибалканском городишке, посмотрел на ежедневные демонстрации и послал адъютанта к властям — посмотреть, «що це за держава». Власти отвечали: наша ближайшая цель — установление советской власти в Болгарии. Наша дальнейшая цель — полный коммунизм. Однако не это было главным в отношении к нам болгарского народа. Эпиграфом к главе о русофильстве поставлю рассказ об Ангеле Мажарове.

Он был старшиной видинских адвокатов. Высокий старик, он носил окладистую седую бороду. Его чувства к нам носили православный характер не по содержанию, а по догматичности формы.

В 1937 году Мажаров, вместе с делегацией славянского общества, посетил Белград. Однажды в кафе, где сидело человек двадцать болгарских и сербских интеллигентов, зашли штурмовики — туристы. По — гитлеровски подняли руки, приветствуя публику. Тогда над столом поднялся старик. Он сказал:

— Я пью за пятипалую славянскую ладонь — и он пересчитал, начиная с мизинца, Болгарию, Югославию, Чехословакию, Польшу, Россию. — Сейчас мы разрознены, и персты наши смотрят в разные стороны. Но настанет время, когда они сожмутся в кулак, и русский палец прикроет остальные, и мы ударим по тевтонскому хайлю, да так, что ни один немец не станет махать руками при встрече с нами.

7 сентября две армии приготовились к прыжку через болгарскую границу. Седьмому отделению было приказано отпечатать двадцать тысяч листовок. Болгарских шрифтов не было.

Печатали по — русски, догадываясь, что болгары поймут. Однако листовки оказались напрасными. Навстречу нашим танкам выходили целые деревни — с хлебом, с солью, виноградом, попами. После румынской латыни танкисты быстро разобрались в малеванных кириллицей дорожных указателях. Перли на Варну, на Бургас, на Шумен. Утром 8 сентября шуменский гарнизон арестовал сотню немцев, застрывших в

городе. Вечером того же дня шуменский гарнизон был сам арестован подроспевшими танкистами. 9-го, когда я приехал в город, в немецком штабе еще оставались посылки — кексы, сушеная колбаса, мятные лепешки. Ночью мы долго стучали в наглухо запертые ворота. Промучившись более часа, я перелез через забор и вскоре пил чай с пирожками в гостеприимной, хотя и осторожной семье. Меня спрашивали: «Как же вы вошли? Ведь ворота остались запертыми!» Я отвечал: «Что такое ворота для гвардейского офицера». Какой-то гимназист с дрожью в голосе говорил мне: «Так нехорошо! Вы — не братушки».

Братушка — слово, рожденное во времена походов Паскевича или Дибича, рикошетом отскочило от нашего солдата и надолго пристало ко всем «желательным иностранцам». Братушками называли даже австрийцев и мадьяр.

В Болгарии наши интеллигенты, воспитанные на формулах Покровского, увидели вторую сторону российской внешней политики. На горных дорогах, за крутыми поворотами они читали мемориальные доски скобелевских времен, огромные, вечные, врезанные в камень, напоминавшие следы Будды. Особенно способствовали развитию русской гордости храм и музей в Плевне. Дивизии делали тридцатикилометровые крючки, чтобы провести бойцов через их тишину. Несколько месяцев в окрестностях Плевны искали человеческие кости. Мыли их, чистили. Довели до праздничной, пасхальной белизны. Сложили в аккуратные горки, увенчанные черепами. Накрыли толстыми стеклами, засветили изнутри лампадами. И вот мы смотрим на результаты этой работы — все выдержано в верещагинских тонах, сгущенных, затемненных отсутствием южного солнца. В музее — мраморные доски, на них золотом высечены имена всех офицеров, павших в Плевненской битве. Эти памятники строил архитектор Займов. Свое русофильство он передал сыну — генералу болгарской армии. Незадолго до нашего прихода генерал Займов был расстрелян по приговору Военного суда.

Коммунисты

В сентябре один из наших генералов, беседа с рушунским обкомом, посоветовал ему учитывать факт пребывания Красной Армии в стране. В ответ на это секретарь обкома предъявил ему протоколы подпольных заседаний — за пять месяцев до нашего прихода обком обсуждал методы работы в условиях, которые сложились после 8 сентября.

У болгарских коммунистов был вождь — настоящий вождь. Национальным компартиям необходимы такие люди — с ореолом

общенародной, а не только партийной славы. Тельман, видимо, был таким: объективно, а не субъективно — знаменем, а не человеком. Объективно и субъективно такими людьми являются Ракоши, Тито, Катаяма. Таких вождей, закаленных и прославленных в подполье, не хватает странам мирной демократии — англосаксонской и скандинавской.

Два болгарских офицера, по пьяной лавочке крепко ругавшие «своих» коммунистов, по — хорошему оживились, когда я заговорил о Димитрове.

— Как он ответил Герингу, когда тот на суде обозвал его темным болгаринном. Он так и сказал всем этим немцам: «Когда ваши предки носили вместо знамен конские хвосты, у наших предков был золотой век словесности. Когда ваши предки спали на конских шкурах, наши цари одевались в золото и пурпур».

По — видимому, долгий неприяезд Димитрова в Болгарию объясняется не только тем, что он чересчур символизирует свою партию, но и тем, что он слишком крупен для такой страны. Это человек первого места — премьер, президент, диктатор.

Карательная политика

В сентябре 1944 года я осматривал в Разграде лагерь пленных немцев — главным образом дунайских пловцов, бежавших сюда из Румынии. Всего — сто два человека. Партизаны, еще не привыкшие быть субъектами, а не объектами пенитенциарной системы, кормили их четырьмястами граммами хлеба в день, давали еще какую-то горячую баланду. Фрицы роптали, и братушки смущенно консультировались у меня, правильно ли они поступают. В Югославии такие нахалы, как эти фрицы, давно уже лежали бы штабелями. Такова разница национальных темпераментов, а главным образом двух вариантов накала борьбы.

Все режимы и партии современности признают важность массовых организаций. Нас удивляла практика венгерской и австрийской компартий, открывавших специальные вербовочные бюро, организовывавших массовые наборы. Нам объясняли, что существует категорический императив партийного билета, и на этом стоят миллионные социал — демократические партии — пассивнейший из их членов все же голосует за их списки на выборах.

Если сложить цифры членов массовых фашистских организаций с цифрами членов массовых демократических организаций в Венгрии, Болгарии или Австрии, то итог превысит общую численность населения страны. Поэтому, когда пришло

время «брать» фашистов, тюрьмы переполнились. Потом сообразили, что «бранники» суть сопливые гимназисты, — и отпустили их по домам.

Следует отметить, что в Болгарии тюрьмы были почти единственным звеном государственного аппарата, для которого у коммунистов сразу же нашлись опытные функционеры, знающие специфику дела. В Рушуке мне показывали озабоченного человечка — нового начальника тюрьмы. Он семь лет просидел в этой тюрьме, знал там каждую решетку. Здесь же в «державной сигурности», сохранившей свое конвентное название, я столкнулся с перестановкой, чрезвычайно наглядно иллюстрировавшей революционность ситуации. Жандармы, ранее работавшие в первом этаже, были переселены в подвал — в тюрьму. Коммунисты, освобожденные из подвала, заняли кабинеты в первом этаже и теперь трудились над списками сексотов и провокаторов.

В Видине поздней ночью я, в поисках квартиры, обратился в народную милицию. Меня встретили комсомольцы с немецкими парабеллумами. Они потребовали партийный билет — в подтверждение моей прогрессивности.

Почтение перед русским майором немедленно сменилось покровительственным тоном: «Член партии с 1943 года! Ребенок! Я уже пятнадцать лет в партии!»

Здесь же мне показали камеру, где сидели «все буржуи третьего района». Наверное, так выглядели городские бомбоубежища. На грязном полу лежали большие перины, крахмальные простыни, атласные одеяла. Часть буржуев спала раздевшись, другие сидели, обнимая пестренькие, всемирно одинаковые узелки для отсидки. В углу старуха тупо, нехотя, видимо впрок, жрала крутые яйца. Меня обеспокоенно спросили: так ли нужно обращаться с буржуями? Местные социал — демократы требуют милосердия. <...>

Мне дали квартирьера — комсомольца. По дороге он рассказал, что успел уже поссориться со всеми домовладельцами. Мы стучались во многие окна. Никто не откликнулся. Тогда я посоветовал ему поступить так, как будто в доме живет фашист и ему нужно срочно привести этого фашиста в милицию.

Квартирьер обрадованно закивал головой и забарабанил в дверь пупырчатыми горными каблуками.

Армия

В первые недели нашего пребывания в Болгарии болгарская армия была для нас «иксом», неизвестностью, следовательно —

потенциальной опасностью. Штаб корпуса генерала Николова, оккупировавшего Македонию, перешел к немцам. Нейтральность гарнизонов никого не обманывала — трудно было не быть нейтральными, когда ждановские танки — в те дни единственные на Балканах — подходили к Софии.

Вылощенные, в мундирах, копировавших мундиры царской армии, болгарские офицеры были ненавидимы партизанами. Они указывали красноармейцам на офицеров как на открытых врагов. В сентябре мы считались с возможностью выступления болгар против нас.

Второй раз я столкнулся с болгарам в марте, в Шиклоше. Немцы безжалостно колотили их первую армию. Собственно говоря, весь сыр — бор разгорелся здесь потому, что восемьсот болгар сдались без сопротивления взводу немцев, переправившихся через Драву. В армии был разброд. Ходили слухи, что, дойдя до Дуная, два болгарских батальона взбунтовались и повернули назад. Их усмирила болгарская же артиллерия. Введение политаппарата (поголовно — коммунисты) подлило масла в огонь. Один из таких комиссаров — бывший шофер — с восторгом говорил мне, что в его батарее шестьдесят коммунистов, есть еще тридцать омладненцев и социал — демократов, а комбат — сволочь — звенарь. На каждой стоянке возникали политические споры. Стрелковая рота получала экземпляры центральных газет через пять дней после их выхода. Газеты втихомолку ругали друг друга.

Солдаты дружно поносили офицеров; их обвиняли (правильно) в неумении воевать. Действительно, по сравнению с болгарам, самые средние немецкие дивизии были до крайности модерни.

Зато совершенно неправильными были обвинения в трусости. Десятки поручников умирали с кадровой, уставной, хлесткой храбростью военной касты, знающей, что за ней следят с недоверием и подозрением.

Немцы усердно сплавляли в Болгарию устарелое вооружение. Это сказывалось. Провалилось болгарское интендантство, кормившее солдат двумя котлетами в день. Перед армией 1944 года, перед ее штабами, начальниками, воинским духом, стала грозная современная военная машина.

В 1941 году болгар разбили бы в неделю. В 1944 году, фланкируя русских и прикрываясь ими, болгарская армия напоминала туриста, карабкающегося на гору, обдирающего бока, но застрахованного от смерти присутствием товарища.

Наши солдаты часто относились к болгарам с пренебрежительным доброжелательством. Смеялись над

широковещательными надписями: «Штаб 16-й дивизии». Смеялись над жалобами — плохо кормят, плохие офицеры, плохое оружие. Одновременно жалели, сочувствовали. Солдаты знали, что немцы подстегивают своих, привирая, — перед вами не русские, а болгары.

Командир 84-й дивизии, послушав жалобы болгарского генерала на расхлябанность и недисциплинированность, сказал ему жестко:

— Когда я приказываю что-либо своим подчиненным, они отвечают: «Есть, разрешите выполнять», — либо отказываются. В этом последнем случае я их расстреливаю. Теперь послушайте-ка такой силлогизм: «Вы — мой подчиненный. Приказание получите в моем штабе. Ясно?»

— Есть, разрешите выполнять, — поспешно и понимающе ответил болгарин.

Ушел — и выполнил.

В полках сидели наши военпреды — энергичные комбаты из фронтового резерва. Они быстро привыкли к языку, нагоняли страху на интендантов, завоевывали солдатские сердца явным неуважением к немцам. Своими полковниками они командовали как хотели. Из дивизий посылали параллельно своих офицеров — учить болгар уму — разуму. Доходило до того, что болгарями разбавляли наши жидкие пехотные роты. Здесь «братушки» находили не только жирные кухни и отличное оружие, но и товарищеский тон и все то же явное неуважение к немцам. Русский солдат — добровольный, природный агитатор. На это открытое «растление болгарской армии как единого целого» все смотрели сквозь пальцы.

А кооптированных болгар палками нельзя было вышибить из усыновивших их русских рот. С партизанами такая «разбавка» никогда не производилась. Была еще одна причина, скреплявшая четырехпартийную армию. Газеты ежедневно печатали антиболгарские выпады турок, глупые речи Дамаскиноса, призывавшего: «На Софию!» Всем была ясна необходимость национального сплочения в русле московской ориентации.

Царенок

Советский человек с его стихийным республиканизмом, привыкший к битвам титанов и величавости своих властителей, смотрел на балканских корольков с презрительным, но беззлобным удивлением.

Верноподданность восьмилетнему Симеону казалась ему абсурдной. Между тем, именно жалкость и беззащитность

царенка помогли ему удержаться на престоле. Немецкому происхождению, республиканизму всех четырех партий отечественного фронта, казни дяди, отсутствию роялистского дворянства противостояло одно младенчество Симеона. *Его восемь лет от роду* — и победило.

К царю приставили соответствующих опекунов: Павлова — московского профессора, Бобошевского и Ганева — либеральных республиканцев французского типа. В провинции острили, что царя воспитывают в комсомольском духе. Тем не менее он сохранял престол и двор.

Однажды вечером к заместителю коменданта по политчасти Софии подполковнику Сосновскому привели шофера — пьяного до нечленораздельности. При обыске у него отобрали болгарский орден и много левов. Сосновский решил, что шофер ограбил болгарина. Посадив его в многолюдный вытрезвитель, он выбросил все происшествие из головы.

Утром в комендатуру упорно звонили из штаба фронта: царица Иоанна искала по городу старшего сержанта Иванова.

Фамилия показалась Сосновскому знакомой. Шофера вызвали наверх. Он уже был достаточно трезв, чтобы рассказать такую притчу.

Вчера утром он прогуливал свою машину в пригородном парке. Услышал крик. В боковой аллее, в канаве, под опрокинувшейся машиной барахтались мальчишечка и пожилой человек в комбинезоне — шофер. Когда Иванов вытащил их из-под машины, мальчишка объявил: «Я царь Болгарии Симеон II. Ты спас мне жизнь. Едем во дворец, там тебя наградят».

Во дворце перепуганная царица Иоанна наградила шофера орденом и дала ему пять тысяч левов. Начался банкет. Иванов выпил, добавил по дороге и попал в комендатуру. Когда все это выяснилось, его с торжеством отправили во дворец. К вечеру патрули снова приволокли его в комендатуру.

Это был, кажется, первый случай награждения советского гражданина болгарским орденом.

Отношение нашего солдата к европейским царицам было весьма простодушным. Полюбовавшись на портретах на монашескую меланхоличность Иоанны и бальное величие Елены, они выражали свои чувства в лаконичных и исконных выражениях.

Прославленный диапазоном своих Любостей майор Жиликов поставил перед собой задачу овладеть графией (хоть какой-нибудь) и добился своего, где-то в Венгрии, не побрезгал, аристократичности ради, старушкой о пятом десятке.

В Софии семнадцать младших лейтенантов отпраздновали

успешное окончание быстропоспешных курсов визитом к царице. У входа во дворец попросили доложить, что группа русских офицеров просит аудиенции. Были приняты и угощены. Вели себя очень прилично. Часа через два усиленный комендантский патруль отвел их в прокуратуру. Трибунал оценил их визит в восемьдесят пять лет тюремного заключения (по пять лет на брата). Благородное поведение на банкете было расценено как смягчающее обстоятельство.

Женщины

После украинского благодушия, после румынского разврата суровая недоступность болгарских женщин поразила наших людей. Почти никто не хвастался победами. Это была единственная страна, где офицеров на гулянье сопровождали очень часто мужчины, почти никогда — женщины. Позже болгары гордились, когда им рассказывали, что русские собираются вернуться в Болгарию за невестами — единственными в мире оставшимися чистыми и нетронутыми.

Случаи насилия вызывали всеобщее возмущение. В Австрии болгарские цифры остались бы незамеченными. В Болгарии австрийские цифры привели бы к всенародному восстанию против нас — несмотря на симпатии и танки.

Мужья оставляли изнасилованных жен, с горечью, скрепя сердце, но все же оставляли.

Как мне болгарский орден выдавали

Это вышло совсем неожиданно — начальство вспомнило мои миссии в Рушуке и Плевне. Так я стал кавалером большой бляхи — красного креста, отчасти напоминающего немецкий железный крест.

Нас собрали в актовом зале Грацкого университета. При виде симпатичных, любезных, даже услужливых физиономий наших генералов я понял, что болгары избавились бы от многих неприятностей, если бы раздали соответствующую толику крестов до, а не после похода. Мы выстроились в одну шеренгу — от полковника до майора — командиры полков, политработники, штабисты. Я стоял левофланговый. За вручающим генерал — лейтенантом Стойчевым услужливым фоном стояли офицеры нашего и болгарского отделов кадров с заветными коробочками в руках.

Духовой оркестр ударил «Шуми Марица».

Стойчев скакнул к вышедшему из строя полковнику, огласил

по — болгарски формулу награждения и одним движением повесил ему орден в петлю кителя. Оказывается, ордена у болгар не на штифтах, а на булавках.

Полковник четко ответил: «Служу Советскому Союзу».

Все замерли: в формуле награждения было ясно сказано, что ордена даются болгарским народом за услуги, оказанные болгарской армии.

Второй полковник оказался дипломатичнее и на тираду Стойчева ответил молчанием.

Создавалось глупое положение. Офицеры получали награды, молча выслушивали генерала, молча жали ему руку и, не разжимая губ, становились в строй. Всех выручил подполковник Боград — начальник штаба 122-й дивизии. Он гаркнул: «Благодарю за честь!» Все заулыбались радостно. Формула ответа была найдена.

Сели за столы. Они стояли огромным «Т», причем на шляпке разместились торты и генералы, а на стойке — все остальные. Болгарские офицеры сразу же сосредоточились вокруг немногих тарелок с красной икрой, и мы с тоской смотрели, как они лязгали по икре столовыми ложками. Я спросил своего соседа, болгарского майора, о статусе полученного мною ордена. Тот ответил, смешавшись: «Товарищ майор, откуда мне знать, ведь я партизан, секретарем райкома был». На седьмом или восьмом тосте Стойчев неожиданно провозгласил здравицу «водачу советских артиллеристов — генерал- лейтенанту Брейдо». Мы насторожились. К столу уже семенили болгарские кадровики, неся перед собой коробочку с орденом. Очевидно, дело было сложено тут же.

Большая политика

8—9 сентября, когда все виды компромиссного решения были отвергнуты и наши танки ворвались в Болгарию, подвергнув ее всемирному унижению, многим, в том числе и мне, казалось, что произошла ошибка. Толкнули в сторону широкие круги антинемецки настроенной буржуазии, обидели англофилов, готовых несколько потесниться, чтобы дать место коммунистам.

Жизнь показала, что путь раскола с англофилами был правильным. Они заняли пустоту справа от себя, вызванную разгромом профашистов. Остатки германофилов были впитаны либералами. Практика оттеснения и раскола оправдала себя повсеместно. В Югославии англофилов с бородами и королевскими коронами на бараньих шапках опозорили, затем уничтожили. В Венгрии, напротив, мудрое устранение Бетлена

было парализовано наполовину передачей власти генералам.

Результат — провал «армии Вереша», нейтральная пассивность мадьяров в войне, открытие тысячи каналов для союзников — от Красного Креста с посылками до миссий и займов.

Наше постепенство в Румынии, оправдывавшееся слабостью коммунистов, повело к тому, что Маниу ушел с неприятным треском, сохранив славу участника антифашистского переворота и легальную организацию. При наличии дееспособного коммунистического меньшинства в стране раскол с либералами необходим. Чем скорее — тем лучше. Меньше придется арестовывать товарищей по восстанию.

Если часть национальной буржуазии (скажем, звенари в Болгарии) объективным ходом событий отталкивается к пусть вынужденному русофильству — задачи компартии чрезвычайно облегчены, легче соблюсти невинность, процент необходимого для взятия власти меньшинства может быть понижен.

Французские коммунисты стремятся к объединению с социал — демократами потому, что девятьсот тысяч подпольщиков, партизан, конспираторов неминуемо частью перевоспитают, частью перемелют либеральные рыхлости.

Австрийские коммунисты, как черт ладана, боятся объединения с социал — демократами, потому что семьсот тысяч организованных и культурных рабочих неминуемо растворят кучку подмастерьев, вчерашних социал — демократов и полуанархистов. Фюрнберг со всей решительностью сорвал такое объединение в рудничных районах Штирии.

Боротьбисты, видно, хорошо знали эти правила политической диалектики, когда напевали: «Мы сольемся, разольемся и зальем большевиков».

Объединение возможно, когда коммунисты (если не в бытии, то в вероятной тенденции) сильнее социал — демократов, могут подчинить их своему влиянию (это характерно для периодов революционного подъема). Объединение возможно и тогда, когда компартия — стойкое меньшинство, способное сохранить автономию, скажем среди лейбористов, не поддастся их влиянию, напротив, влиять на них (это характерно для периодов стабилизации, застоя).

Меньшевик Петко

В Видине я прожил несколько дней на квартире Петко Браткова — вождя местных широковцев и члена главного управления болгарских социал — демократов. Это был первый

меньшевик в моей жизни.

Подвыпивши, Петко высказывал любопытные мысли. Он был убежден, что если немцы вернутся, то его обязательно повесят. Наряду с этим обосновывал необходимость прекращения арестов, простодушно поясняя, что спасали же его коллеги — фашисты в немецкие времена.

В Болгарии, стране, где высшее образование имеют десять тысяч человек, *бывшие студенты* хорошо знают друг друга. Поэтому, говоря о Цанкове, его враги уважительно добавляют: профессор! Поэтому так приемлем для многих эрудит Димитров или Павлов, прославивший болгарское имя пусть на такой рискованной стезе, как философия теоретического материализма. Политические отношения носят иногда семейный характер, отдают запахом студенческого общежития.

Петко (и тысячи других болгарских интеллигентов) разграничивали русских коммунистов (умных и опытных) и болгарских коммунистов (путчиков). Вспоминали Маркса и национальные особенности. Все дело сводили к тому, что методы, применимые к «темному» русскому крестьянину, слишком жестоки для европеизированных болгар.

Петкино русофильство стимулировалось не только незнанием западных языков (распространенный стимул), но и теоретическими соображениями. В частности, он полагал, что необходимость выхода к Эгейскому морю (этот хинтерланд в Болгарии называется северное беломорье) неминуемо поссорит болгар с греками, турками, а затем и с англичанами. Отсюда два варианта ориентации — германская (но Германия нулифицируется) либо русская. Даже крупные экспортеры поневоле левеют в условиях, когда единственно реальными остаются русский и вассальные рынки.

Братков стыдливо, с оглядкой, гордился социал — демократическими подвигами в борьбе с фашизмом, Леоном Блюмом, лейбористами, даже «моральным сопротивлением» и антифашистской пропагандой собственного изделия. Пропаганда, впрочем, ограничивалась перешушукиванием лондонских передач. Мне он говорил: «Мы марксисты!»

В том же Видине на другой квартире мне регулярно чистил сапоги и пришивал воротнички семнадцатилетний сын хозяина, гимназист. Три недели тому назад он еще был командиром роты в фашистской организации «бранников». Сохранил хорошую юношескую стройность, умелость в движениях, военизированную опрятность. Честно старался перековаться, для чего читал коммунистические газеты и сталинские брошюры.

Сапоги чистил отлично

Подобно тому как Россия Отечественной войны, оглушенная немецкой дисциплиной, бредила словом «точно», так и у партизанской Югославии нашлось свое словцо — «диалектика».

Когда-нибудь мы разберемся в причинах. Быть может, такими причинами были специфика отсталой страны, где разница между коммунистами и монархистами была более возрастной, чем идейной; быть может, все дело в стойкости популярной национальной церкви, успешно отразившей атаки материализма и безверия.

Полковник Тодорович, комиссар первого пролетарского корпуса, студент, как и его командующий Пеко, дает указание девушке, которая будет работать на моей звуковещательной станции. «Какие пластинки играть?» — спрашивает девушка. «Играйте что-нибудь народное, танцы, классику. Все что хотите, только не наши партийные песни». И, оборачиваясь ко мне, он подмигивает: «Диалектика». В генеральской столовой того же корпуса, где пьянство было запрещено и преследовалось, регулярно подавали гнуснейшую ракию — для заходящих русских офицеров. Хозяева наблюдали пьющих с сожалением.

В конце октября меня послали к Нешковичу — будущему премьеру Сербии. Провинциальные партизаны подарили нашему командованию свои трофеи — семнадцать миллиардов динаров. Не забывшие о партмаксимуме генералы наши домогались узнать: 1) курс, 2) партизанскую политику цен, — они предполагали выплатить из этих денег зарплату всей армии.

Нешкович встретил меня не без приветливости. Он разъяснил иллюзорность миллионов, «в особенности теперь, когда мы захватили печатный станок». После этого он вздохнул и с укоризной посмотрел на меня, явственно не желая относиться ко мне как к представителю державы, пришедшему договариваться в другую державу. «Молодой человек, так к чему же все это, молодой человек, — говорил он грустно. — Ну, напечатаем вам бумажек, сколько нужно. Главное, Сталин сказал: *«Наш советский рубль не должен обесцениваться!»* Диалектика!»

Митра Митрович, будущий сербский министр просвещения (тогда она еще ходила в военных брюках лыжного покроя), со смешливой обидой рассказывала мне о буйствах красноармейцев: «Танкист, полный, подходит ко мне и предлагает: “Ну, черная,

пойдем, что ли”».

Нешкович оживился, вспомнил, как высадили из автомашины замнача ОЗНА, потом улыбнулся: «Что говорить о пустяках? *Наша Красная Армия пришла в Белград*».

О том, как часто диалектика расходилась с материализмом, свидетельствует не только пример Владо Зечевица, православного попа, четника, ставшего первым минвнуделом Югославии. Зечевич, кажется, поп коммуноидного вольтерьянского пошиба. Приведу более убедительный пример.

Утром, в дни боев за Белград, я, усталый, возвращался с передовой на свою городскую квартиру. Было совсем светло. Улица быстро заполнялась толпой — удивительной, храбрейшей в мире белградской толпой, рукоплескавшей дневным штурмам в двухстах метрах от штурма. На углу дороги преграждало скопление возбужденно споривших жителей. Я подошел поближе. В центре стояли восемь фрицев — голых, дрожавших на октябрьском морозце. Зеленая их одежда поспешно напяливалась на члены партизан — пролетеров. Говорят, что в пролетарском корпусе, этой гвардии Тито, двадцать процентов солдат не имели никакой обуви. Удостоверяю, что два — три процента корпуса не имели и штанов и прикрывали стыд шинелью. Партизаны вежливо объяснили мне, что фрицы — пленные, сейчас их отведут в переулок и пристрелят. Толпа деловито одобряла солдат.

Я отнял фрицев. Им вернули одежду, что привело к почти полному обнажению их обидчиков. Затем мы все вместе отправились в штаб — разбираться. Штаб оказался штабом городской бригады ОЗНА. С первой же минуты меня поразил начальник. Его называли «отец». Когда мы остались наедине, он рассказал мне, что был православным священником. Коммунист. В партизанах три года — «старый борец». Я заговорил с ним как с расстригой. Он насупился. Нет, Христос в душе моей. Война кончится, и я вернусь к рясе.

«Отцу» было более сорока лет. Он был почти красив — с недостриженной гривкой, с профилем иконного святого — македонского, цыганского или армянского. В движениях его поблескивала храмовая плавность. Под черными бровями мерцали глаза фанатика.

Говорят, он был известен жестокостью. По — видимому, спасенным мною фрицам пришлось раздеться еще раз.

Четники

В ноябре я прожил неделю в Горнем Милановаце — пять

километров от Равной Горы, лесной столицы Дражи. Три года Милановац был явочным местом четников — полулегальным — на глазах у смирной немецкой комендатуры. В ноябре 1944 года местные девушки еще крепко помнили молодых дражевских поручиков. Из двух госпиталей в русском постоянно толпились добровольные сестры, среди них двадцатилетняя дочка Дражи. Партизанский госпиталь вербовал девушек силой.

Обаяние национальной династии, семнадцать лет юноши Петра, чистая сербскость в противовес партизанскому интернационализму долго поддерживали тление четнического движения. Во всем оно было полярной противоположностью партизанам: атланнизм и немедленный бой; сословие рабочих и студентов и сословие стражников и офицеров; ни одного югославского генерала в Главном штабе — и «вся» военно — бюрократическая Югославия на Равной Горе; наконец, выложенность элегантных офицеров и вшивая голь партизанщины. Королевская корона на бараньей папaxe столкнулась с пятиконечной звездой на фригийских шапчонках коммунистов.

Несомненно, четники — либо значительная их часть — стремились поддержать Красную Армию, завоевав тем самым место в будущей Югославии. В разведроте 98-й стрелковой дивизии я застал четырех немцев и подбитого американского авиатора. Их передали четники. За неделю до этого корпус капитана Раковича встрял в бой нашего батальона с окружавшими его немцами и фактически спас этот батальон от уничтожения. Несколько дней оперативный и разведывательный отделы штаба дивизии поддерживали связь с четническим штабом, получая у него сводки. Партизаны реагировали на это ожесточенными протестами. Однажды, когда к комдиву 93-й полковнику Салычеву приехали два четнических офицера, присутствовавший при этом подполковник, комдив 23-й партизанской дивизии, в упор пристрелил обоих, без объяснений, при молчаливом неодобрении нашего штаба. Однажды четники конвоировали пленных немцев — человек триста — к нашим разведчикам. Партизанская засада открыла огонь и по немцам, и по конвою. Стража разбежалась, немцы также исчезли в горах.

Отношение наших людей (93-й дивизии) к четникам было удивительно благожелательным. Комбаты справедливо полагали, что при шестидесяти активных штыках в батальоне следует принимать помощь у кого угодно — и принимали. Общее отношение к партизанским расправам было неодобрительным, хотя все смутно понимали, что это линия также и нашего большого начальства. Вскоре пришли указания Военного Совета.

Оставленные без внимания четники Раковича подумали и ушли на юг — к англичанам, высадившимся в Греции.

Особое, чисто сербское, православное русофильство было чрезвычайно распространено в петнических низах. Ориентация на единоверную Россию им, националистам, казалась естественней любви к заморским англосаксам. Вряд ли Драже удалось бы повернуть против нас свое войско. В официальных документах он солидаризировался с Красной Армией. Мне передали воззвание, подписанное четническим комендантом Белой Церкви, известным вешателем. Оно ставило «войско» под Главнокомандование Красной Армии, в связи с ее приближением. Следовали лозунги типа «Да здравствует король!», «Да здравствует СССР!».

Со стороны партизанского командования наблюдалось стремление наговорить на четников пакостей побольше — в особенности по линии их отношения к России.

Итог: четников выжили и выбросили.

Армия

Это была великолепная армия: чистая телом — несмотря на густую зараженность сифилисом, чистая духом — без денщиков, без ППЖ, без орденов (их чеканил наш Монетный двор — в очередь с нашими орденами; поступать в Югославию они стали в самом конце войны).

В ноябре я видел часовых — в шинель завернутых, без сапог на мерзлый асфальт поставленных. Дуя на пальцы, они выстаивали по три часа.

Помню плакат в Панчеве: «Немцы, жители города Панчево, отравили вином 9 солдат Красной Армии. В ответ на это расстреляно 250 немцев — жителей Панчева».

Дальше шел список. Он открывался Мюллером — председателем культурбунда, бургомистром, бывшими эсэсовцами и т. д. Одиннадцатым в списке шел Гросс — трактирщик. Его фамилию сопровождало лаконическое замечание — «большой фашист», затем шли еще шестнадцать немцев со столь же краткими характеристиками. Наконец двести двадцать три немца, о которых было сказано только то, что они являются жителями города Панчева. В конце стояло: «Предупреждаем всех немцев, что впредь за каждого отравленного красноармейца или партизана будет расстреливаться не 30, а 100 человек».

Жестокость партизан отмечалась в низовых политдонесениях. При пресечении — партизаны подчинялись безропотно. Впрочем, немцы также расстреливали в Сербии по сотне жителей за одного убитого солдата.

В 1943 году всем партизанским отрядам было приказано: отбить у немцев советских офицеров. Со скрипом было освобождено пять — чином не выше капитана. Никто из них не сделал карьеры в партизанской армии. Только один дорос до комбата. Второй был расстрелян. Кадровые офицеры бродили в четнических лесах. Лучший из полководцев, Коча Попович, до войны был известен более как поэт — сюрреалист и даже в испанской республиканской армии не поднимался выше командования батальоном. Тоска по строевому офицеру, с погонами, появилась у югославов сравнительно рано. В общем, это народ анархический только в расправах. Ликование по поводу освобождения первой пятерки объяснялось надеждами на кадровизацию партизанщины за счет этих живых трофеев. Авторитет русской армии как кадровой сказался и в том, что казачий полковник Махин, порвавший с Дутовым в 1919-м, очутившись у партизан, дослужился до генерал — лейтенанта, хоть и писал больше статьи о Суворове и Фрунзе и заведовал в Главном штабе военно — пропагандным отделом.

Титовисты сами создали армию и тактику, которые были одновременно и кадровыми, и партизанскими. Видимо, они мало учились. Русский 18-й год, более многочисленный, был менее кадровым. Даже белорусская партизанщина Отечественной войны, пересыщенная кадровыми офицерами, опиравшаяся на близкую Большую землю, не может быть сравнена с титовизмом.

К моменту нашего вступления на сербскую землю у Тито было двадцать шесть Ковпаков, командовавших двадцатью шестью боеспособными дивизиями. Русские роты — непременная принадлежность каждой дивизии, как правило, командовались сербами, в то время как в итальянских бригадах были итальянские командиры.

Интернационализм партизан носил не только естественный, но и вынужденный характер. Болгарская дивизия имени Ботева, четыре австрийских батальона, итальянские бригады, чешский, словацкий, польский отряды, венгерская дивизия Петефи, немецкий, румынский, русинский батальоны — при таком сочетании возможны либо коммунистический интернационализм, либо карфагенское наемничество. Интернационализм сочетался с национальным принципом формирования подразделений. Командарм Коста Надь — мадьяр, и о нем спорят, мадьяр ли он. Хорватское происхождение Тито вредило ему в Сербии. В Белграде жители заметно хуже относились к хорватским бригадам, а итальянские имели вовсе сиротский вид. Впрочем, шовинизм носил внутрицивильный, а не внутриармейский характер. Я ничего не знал о сварах в частях. Офицеры и

коммунисты гордились своей многонациональностью. Хотя интернационализм здесь и был интернационализмом минус немцы, немцы дослуживались до комиссара батальона, а во время муниципальных выборов 1945 года в Апатине (Бачка) был избран в одбор немец. Все легальные, некоммунистические партии современной Югославии формируются по национальному признаку и существуют за счет национальных предрассудков. Чрезвычайно здоровый дух в партии и армии по национальному вопросу.

Югославский закон предоставляет избирательное право всем партизанам, как бы молоды они ни были.

Это мудрый политический шаг. Югославский коммунизм молодежен по многим причинам. Во — первых, потому что он эмоционален. Во — вторых, в мещанской Югославии весь склад жизни консерватизирует именно женатого человека — семьей, домом, заметным повышением зарплаты. В — третьих, старшие возрасты отчасти были уведены в плен как военнослужащие, отчасти не вняли вопиющему в пустыне гласу коммунистов, так как традиционно тяготели к иным партиям и теориям.

Избирательная льгота самопроизвольно уничтожится через два — три года. Она важна именно для первых выборов, во время которых даст Тито полмиллиона голосов.

Болгария, Венгрия также включили соответствующие параграфы, но здесь они дадут меньшие результаты. Присвоение генеральских званий фиксировало чрезвычайно молодежный характер партизанского начальства. Был комдив, генерал-майор Владо Шегрт, двадцати пяти лет от роду. Итальянцы боялись его и говаривали, что он не Шегрт, а настоящий маэстро (шегрт — подмастерье).

Командармам Поповичу и Дабевичу было тридцать один — тридцать два года. Министром просвещения Сербии стала девушка двадцати восьми лет — Митра Митрович.

Мое первое впечатление в Сербии — совсем юный полковник Джурич, вскоре ставший генералом.

Я встретил его в Неготине, куда был послан собирать сведения о партизанах своим чрезвычайно неосведомленным по этой линии начальством.

Два месяца назад Тито послал его через фронт — связываться с Малиновским. Он пробрался в Румынию. Жил в штабе. Перезнакомился со всеми офицерами. Чуть ни спился, рассказывает он с некоторым смущением, к кому не зайдешь — не отпускают без рюмки. С особой гордостью он рассказывает о своем знакомстве с Симоновым — это отношение, кажется, характерно для многих европейцев. Проезжая через Неготин, он

властно взял все в свои руки, в два дня организовал здесь одбор и всякий иной коммунизм.

Вторично мы встретились уже в Белграде, где он был комендантом города. Это пост чрезвычайно важный в молодых военных государствах. У него — преторианский запах.

* * *

В ночь на 14 октября механизированный корпус Жданова ворвался в Белград. Этому предшествовал неслыханный по темпам разгон: Яско — Кишиневское побоище, триумфальное шествие по Болгарии, стремительное и торжественное в одно и то же время, наконец, 200-километровый марш по сербским шоссе, где числился сопротивляющийся противник.

Предмestья города — Вождовау и Дедины — были заняты с ходу. Их огромные каменные здания, дворцы и виллы создали ложное представление о том, что танки уже в центре города. Вокруг романтически поблескивали немногие пожары, озарявшие столицу — первую столицу, лежавшую у ног советского генерала.

Казалось, вот — вот появятся изумрудные шинели фрицев, притащат тяжелые, литые городские ключи. Утром шел малоинтенсивный бой за южную из больших городских площадей — Славию. Утром же я, доселе мирно путешествовавший те же двести километров со сталинградцами, согласовал с их комдивом текст ультиматума и потихоньку поехал на передовую — вещать. У командира полка меня задержали танкисты. Они уже пили заздравные тосты — впрочем, неуверенно: их танки болтались перед каменными дворцами, не умея выкурить оттуда хитрых фрицев. Развертывалось наглядное подтверждение тезиса о малопригодности танков для городского боя.

Танкисты сообщили мне, что здесь распоряжаются совсем не пехотные генералы, а «сам генерал — лейтенант Жданов — командующий оперативной группой по овладению Белградом». Ничего не поделаешь — приходилось искать Жданова. Без него вещать ультиматум было явно незаконно.

Я нашел его на главной улице — чуть согнутого близкими разрывами, высокого, красивого, в демонстративно полной генеральской форме.

Меня всегда удивляло — до чего крупный, упитанный народ наши генералы. Очевидно, здесь дело не только в естественном влечении в кадры рослых людей, но и в том, что двадцать лет мирного строительства, когда начальство — партийное, советское, профсоюзное — надрывалось на работе, они

физкультурили и отчасти отъедались на положенных пайках.

Я доложил. Генерал откачнулся в сторону, прищурился и рассмеялся трагически.

— Слишком много чести для противника — вещать ему ультиматумы. Город взят мной. Так и передайте генерал — лейтенанту Гагену. И кроме того — у меня семьсот пушек, а у товарища Гагена — пятьсот. А пятьсот меньше семисот, даже если прибавить к ним вашу звуковещательную машину. Не правда ли?

Я ушел с приказанием немедленно вещать «призывы к отдельным сопротивляющимся группировкам».

На другой день вечером порученцы Жданова топырили уши по всему городу — искали меня на слух по характерному эху динамиков.

Жданов принял меня на своем наблюдательном пункте — крыше госпитального городка. Штаб корпуса он разместил в подвале — в тридцати метрах по вертикали от НП, в тысяче метрах по горизонтали от противника.

Взволнованный, без тени вчерашней полноватой гвардейской рисовки, он шагал по крыше, цепляя шпорами за ее железные швы.

Положение было критическим. Танки безнадежно застряли в каменном муравейнике. Пехота была еще на подходе. Три дивизии немцев прорвались с востока и перерезали основную магистраль, соединявшую Жданова с его тылами и Болгарией. Вчера вечером в «почти занятый» город залетел на «виллисе» Аношин. Сейчас ему нельзя было уехать, и он сидел на шее у генерала, будил его ночью, справлялся про обстановочку. Жданов выслушал меня хмуро, вдумчиво, серьезно.

Внес исправления в текст ультиматума — вполне разумные. Сказал: «Вещайте им, что три дивизии, которые обещают им спасение, уже регистрируются в моих лагерях. Сейчас мы долавливаем их штабные радиостанции, которые будут примерно наказаны за то, что они вас дезориентируют».

Я откозырял и побежал выполнять.

Как известно, Белград был взят только через пять дней — 20 октября.

Вскоре я узнал трагикомическую подоплеку операции. 14-го числа, утром, незадолго до разговора со мной, Жданов, упреждая подход пехоты, с которой пришлось бы делить славу, загодя донес во фронт о взятии города. Доклад пошел в Москву. Антонов сообщил о нем Сталину, и стал сочиняться длинный приказ — с фамилией генерала на видном месте. Однако уже к вечеру 14 октября обстановка вырисовалась настолько, что Жданову пришлось срочно дезавуировать свое утреннее донесение.

Рассерженный Антонов сказал Толбухину: «Можете передокладывать хозяину сами!»

Результаты известны.

В запоздавшем приказе Жданов занимал прочное 11-е место — после всех комдивов, обеспечивавших его дальние фланги.

Лагерь в Гакове

В июле 1945 года я провел полчаса в Югославском лагере для гражданских немцев.

Он запрятан весьма основательно — на венгерской границе, в глухом сельце Гакове, стоящем на разбитом, давно закрытом для движения большаке Байя — Сомбор. Попал я сюда совершенно случайно, переходил «зеленую границу».

Болгарская машина, на которой мы путешествовали, спотыкнулась у околицы. Полчаса пустого времени. Я вышел размяться и сразу же отметил особый, нежилой вид селения. Из труб карабкались кверху слабые дымки, вдали виднелись толпы крестьян, и все же странная нечистота домов, тишина, столь несвойственная для деревни в утреннее время, отсутствие живности говорили: это особое село, и сельчане здесь также особые. Придорожный часовой в ветхой униформе объяснил мне, что в деревне лагерь для гражданских швабов, главным образом вывезенных из венгерской Бараньи. Я вернулся к машине, захватил табак — нет лучшего средства, чтобы разговорить подневольных людей, — и подошел к кучке пожилых крестьян.

— Да, они действительно швабы из Бараньи, но они ничего не делали русским. О партизанах они ничего и не слышали, пока те не пришли в села и не начали сгонять их в колонны. Живут здесь уже четыре месяца. Плохо живут. Хуже всего с хлебом. Два века они ели отличный пшеничный хлеб, совсем белый, а кругом все — мадьяры, сербы, буневцы — жрали кукурузу. Сейчас им дают только кукурузные лепешки, даже в праздники. 400 граммов в день — не так уж мало для таких стариков, как они, но какой позор — им, швабам из Бараньи, есть кукурузные лепешки.

Старики горестно трясут кадыками и просят у меня сигарет — вспомнить запах дыма — табак здесь не дают совсем.

Я смотрю рацион. Не густо, хотя и в три раза гуще пайка в лагерях для наших пленных в Германии. Но швабы объективно рассказывают, что сербы слишком глупы, чтобы создать настоящий лагерь.

— Овощей и картошки можно брать сколько угодно. Иногда перепадет слишком. Работа? Работать приказывают от зари до зари, но сербы слишком глупы — и мы выгадываем часок —

другой. Но — хлеб! Хуже всего с хлебом. Нам, швабам из Бараньи, придется есть кукурузный хлеб!

Подходят женщины — некрасивые, голенастые. Складывают руки на животе, начинают жаловаться все разом.

Опять поминается кукурузный хлеб. Нет писем от мужей. Много месяцев. Оказывается, что мужья в эсэсовских дивизиях, и я вежливо развожу руками.

Отделяю группу женщин, шепчусь с ними. Прежде чем отвечать, они осторожно озираются по сторонам. В лагере нет никакого регламента, но пленные всегда понимают, что по регламенту, а что — нет. «Это» безусловно — не по регламенту. Часовые не обидятся, если узнают о жалобах на питание.

— Ваши наших хуже кормили.

Но хотя «ваши» и делали это с «нашими» женщинами, все равно, «это» — вне регламента.

Мне показывают женщину двадцати восьми — тридцати лет. Неделью тому назад партизанский дитер пытался подговорить ее на «это». Она упиралась. С нее стащили юбку, усадили ее в большую лужу, посреди деревни, собрали всех швабов — для примера. Женщины горько плачут. Старики, стоящие в отдалении, печально качают головами.

Подходит комиссар лагеря, молодой парень в гетрах. Да, факт, позорящий нашу честь, действительно имел место. Весь личный состав охраны уже сменен. Виновные пойдут под суд. Сейчас мы вводим новые порядки — никаких побоев, никаких несправедливостей, но они будут получать положенные четыреста граммов кукурузы и не будут душить казенных кур в амбарах.

И мы крепко жмем друг другу руки.

Здесь же стоит рядовой партизан. Он смотрит на меня с явным неодобрением. На немцев — так, как глядят на примелькавшуюся скотину: без внимания, без уважения. Еще долго будет ущемлять партийный интернационализм югославов этот ленивый, спокойный, выработанный взгляд.

В деревне живет несколько сербских семей. Они используют немцев как рабочую силу. Очень довольны своим положением.

Много позже я прочел в газете, что выборы в Таковский одбор дали партизанам девяносто восемь процентов голосов — наиболее позитивный вотум во всей Воеводине.

Бригада Месича

На белградском шоссе нас обогнала длиннейшая колонна — новенькие «студебеккеры», «доджи», отчаянно воняющие масляной краской.

И солдаты, сидевшие в машине, также были новенькие, свежее испеченные. Их свежие шинели и кирзовые российские сапоги странно диссонировали с цыганской пестротой партизанской униформы. Откормленные розовые рожи говорили о долгих месяцах сытого казарменного житья, о горах каши, о контроле над кладовщиками, о тучных караваях — ешь, сколько влезет!

Это была бригада Месича — Марка Месича, бывшего усташского подполковника. В 1941 году на Смоленщине была разгромлена 1-я усташская дивизия — гвардии Павелича. Комполка Месича взяли в плен. В лагере ему предложили формировать воинскую часть из пленных и перебежчиков — словенов из немецких горнострелковых дивизий, истриан из 8-й итальянской армии, усташей, немногочисленных эмигрантов коминтерновцев. Параллельно создавались две очень различные армии — удивительная партизанская полубанда, полусонм и регулярная часть Месича, с усташским командным составом, с нелюбовью ко всяческому «агитаторам», со скверным душком поганой отсталости балканской кадровщины. Воевала бригада плохо. В конце 1944-го под Чачком неожиданно дала дезертиров и перебежчиков.

Начальник ОЗНА 23-й дивизии сокрушенно рассказывал мне, что Месича уже дважды вызывали на «беседу» — чтоб не бегал от немцев — и что на него уже «заведено дело».

В бригаде был перманентный конфликт между партизанскими комиссарами и усташами — строевыми командирами. Уже перед самым моим отъездом у бригады, в наказание за трусость, отобрали большую часть автопарка (машин у бригады было больше, чем у всей югославской армии).

Самостоятельность

Англо — американская помощь партизанам начинается в 1943 году. Когда мы пришли в Сербию, мы увидели очень небольшое число солдат в союзнической униформе. Даже комиссар корпуса Тодорович щеголял в итальянском офицерском мундире — отличного сукна. В английском ходили главштабисты. Автоматы «бренгал» (в 1945 году их отложили — вышли боеприпасы). Всеобщее недовольство мизерностью помощи и тем, что у Михайловича еще сидит американская военная миссия.

В октябре 1944 года у одного из бесчисленных стандартно бетонных памятников Неизвестному солдату я разговаривал с майором — командиром бригады. Очень молодой человек, бывший капитан 2-го класса югославской армии, позже рядовой

главштабист. Он рассказал мне о первом официальном появлении перед Главным штабом миссии Корнеева. Дело было на концерте партизанской самодеятельности; в переполненный зал вошли русские. Овация. Зашедший вместе с Корнеевым англичанин хронометрирует срок аплодисментов. Это замечает главштабистская молодежь. Английская и американская миссии получили равные (по продолжительности, а не по силе) порции аплодисментов.

Во время одного из наступлений немцев Главный штаб был окружен немцами и более месяца грыз конину. Вместе с ним грызла конину американская миссия. Ее руководитель, кажется генерал Барнес, посоветовал Тито капитулировать. Тот от — правил его «к моим пролетерам» — справиться об их мнении. Пролетеры отправили Барнеса к «эбеной майка». Позже, на банкете, Барнес поднял тост за армию, которая не капитулировала в положении, в котором капитулировала бы всякая другая армия.

Черчилль послал в Югославию сына — полковника. Отнеслись к этому примерно так же, как московские рабочие относились к печатанию в «Британском союзнике» портретов виндзорских филантропических королевн. Полковнику приписывали пожар в самолете, на котором погибло несколько крупных деятелей хорватского ЦК, а он остался цел. Шепоток «Интеллидженс сервис» следовал за ним так же, как и за большинством англичан. К американцам относились намного лучше.

Жители Белграда жаловались, что союзники бомбили жилую часть города.

Нелюбовь к союзникам уменьшалась сверху вниз, но и внизу была достаточно велика. В Сербии это сочеталось с русофильством, в Далмации и Триесте — со слишком близким знакомством с оккупационными войсками. Триест и Корушка только подлили масла в огонь. В 1945 году завезли в Югославию тридцать тысяч метров мануфактуры. Реагирование населения? Четники предполагали, что им на выручку придет генерал Живкович с тридцатью тысячами. Партизаны весьма прислушивались к таким слухам.

Ко времени нашего прибытия в Югославию государственное самосознание ее народа, армии, партии уже стояли на высоком уровне. Ощущение себя не только героическим народом, но и народом, отстаившим себя собственными силами.

Даже в отношении русских.

Тито в Белграде. Он вызывает начальника гарнизона Верхоловича. Гоняет его за беспорядки, пьянство в городе.

Попытки сопротивления подаются шифровкой в Москву. Бочаров рассказывал, что встретившийся с ним Тито весьма резко отозвался о бесчинствах.

— Очевидно, слабо работает ваш политаппарат? Я могу усилить ваши части своими политработниками.

Благородное негодование Бочарова. Он парирует тем, что политаппарат РККА состоит из членов ВКП(б), партии, по отношению к которой западные компартии были только «созданием», «порождением».

Говоря «наш Сталин», партизаны не только лиризировали. Ощущение Сталина как Верховного арбитра, в том числе и между ними и местным советским командованием. Ощущение Сталина как практического руководителя. «Тито — югославский Сталин?» — понималось как Сталин югославского масштаба.

В начале штурма Белграда Жустович и Тодорович с тревогой просили меня изменить фразеологию красноармейских газет. Вместо «освобождение Белграда Красной Армией» формулировать: «освобождение Белграда Красной Армией и югославскими войсками», ввести отдачу чести югославским офицерам, прекратить третирование югославской армии как неумелой и второстепенной. Все это было особенно важно, потому что Белград часто соединял и противопоставлял свое русофильство своему антититовизму, ехидствовал над голоштаным войском, иногда даже демонстрировал соответствующие чувства.

Моя шифровка осталась без ответа.

Мой доклад на крыше Аношину и Галиеву вызвал раздражение нахалами. Позже Москва смела все эти глупости.

Руководители полагали Югославию советским ядром Южной Европы, мыслили ее интересами. Осенью к коменданту Печа явился комиссар партизанской дивизии и, опираясь на три батальона, заявил права на город и Баранью. В Байе, где сербов не более шести — восьми процентов, устраивались митинги с требованием присоединить город и всю Бачку к Югославии. Партизаны заняли прилегающие к Радкерсбургу словенские и полусловенские села, выгнали бургомистров, выбрали одборы, установили твердый порядок.

В Радкерсбурге на дверях бургомистра приколотили плакат «Тука — Югославия».

Когда из Граца сюда прислали стограммовые хлебные карточки — их заставили отослать назад, выдавали по 500 граммов в день, хоть и приходилось везти из Марбурга. Не допускали австрийских газет. Комендант города (в июне), совсем мальчик, говорил мне:

— Мы-то знаем дипломатию. Сейчас наши в Москве просят у Сталина, чтобы он отдал нам Радкерсбург. Вот если он согласится — тогда мы здесь развернемся по — настоящему.

В Венгрии, притязая на Рабскую долину (славянский коридор, соединяющий Чехословакию с Югославией и разъединяющий Австрию с Венгрией), партизаны не только фальсифицировали этнографические карты, но и перегоняли через границу целые словенские села, митинговали, открыто вступали в конфликт с нашими комендатурами. В мае партизанский батальон «присоединил» к Югославии Фюрстенфельд — к величайшему удивлению нашего коменданта. Помню, что во время грабежа Радкерсбурга туда хлынули сотни словенов — из Мурской Сobotы и окрестных деревень. Брали барахло — ухваты и подушки. Что получше уже было отправлено домой в ста четырнадцати посылках по батальону за три дня, о которых лихо рапортовал начальству замполит одного из батальонов. Помню старика, оборванного, выгоревшего, пыльного, просившего меня сохранить ему краденое одеяло. «Все немцы забрали», — кричал он. Уличенные, словены покорно складывали награбленное обратно, козыряли, заворачивали велосипеды, уезжали. Отношение австрийского ЦК ко всем этим делам было двойственное — заявить об отдаче коренных австрийских территорий означало потерять авторитет в своем народе. В то же время чувствовалась их зависимость, более того, вторичность по отношению к Белграду и Любляне. Позднее было дано известное интервью Фюрнберга корреспонденту «Борба». Подполковник, комиссар дивизии говорил мне: «Мы — это вы здесь. Чем больше мы нахватаем, тем сильнее мы будем (и следовательно, и вы). А если в Венгрии, Австрии, Италии победят демократы — мы всегда столкнемся с ними на платформе сталинской национальной политики».

На все доклады о партизанских художествах Бочаров клал резолюции: гнать без разговоров.

Места исполняли очень вяло, так что партизаны чувствовали наше вмешательство только в самых крайних случаях. Наш солдат сочувствовал всем их притязаниям и сыпал им в охалку австрийское добро точно так же, как накладывал он австрийские кофры на телеги к землячкам, уезжавшим на родину.

Весной 1945 года Волгин выезжал в Хорватию, в район Вировитицы, вещать для первой казачьей дивизии.

Она состояла из пяти бригад — двух донских, терской, сибирской, кубанской. Немцы учили «казачьи традиции» и тренировали дивизию в духе легенд о «самсоновских зверствах» в Восточной Пруссии. В октябре 1944 года после умирения

Варшавы казакам отдали на поток и разграбление целые кварталы. На три дня. Эсэсовцам в таких случаях просто увеличивали лимиты посылок. 1-м Донским полком командовал Иван Кононов, в прошлом участник финской войны, командир полка, подполковник Красной Армии. На груди — в ряд — он носил ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Железные кресты 1-й и 2-й степени. Говорил с солдатами на ломаном украинском языке, называя их братки.

Во всех эскадронах сидели заместители по культурно — просветительной части, бывшие офицеры Красной Армии. Агитировали однообразно, но эффективно: нам возврата нет, наши головы давно сосчитаны.

То ли с этой агитации, то ли с большой крови казаки напивались в сербских деревнях, рыдали: «Предали мы!», «Братоубийцы!», ходили в соседние села — бить усташей, обижавших сербских (православных) девушек!

В Шиклоше, после оттеснения казаков за Драву, они оставили нам письмо — большой клоч грязноватой бумаги. Оно было былинно заложено стертой подковой.

В письме было сказано: «Вы нам не верите. Это правильно. Но мы сволочи, да не все. Мы себя еще оправдаем» (вот еще словцо со свинцовым запахом — типичное для этой войны).

Десятки казаков перебежали к партизанам, пополняли русские роты хорватских и словенских дивизий. Другие десятки — отчаявшиеся полицаи, вешатели из кубанских и терских станичников, просто Иваны, не помнящие этой войны, не помнящие ни звания, ни родины, — резались с мрачным отчаянием «сосчитанных голов». Их конный строй растворял не только боевые порядки партизан, но теснил и наши стрелковые дивизии.

Этим-то людям и надо было вещать ростопчинскую афишку.

Не следует забывать, впрочем, что от ростопчинских афишек однажды сгорела Москва. Самые ернические формулы приобретают эпохальный характер, если их вещать через 500-ватный усилитель.

Вещание не получилось. Партизаны, оборонявшие этот участок, предложили слишком маневренный способ прикрытия машины: «Мы выбросим в наряд две роты, партизаны «покупают малко» — потом вы удирайте вместе с ними на новые позиции». Волгин отказался ко всеобщему удовольствию.

У Югославии есть качества, которые помешают ей впоследствии превратиться из государства профессиональных революционеров в державу наследственных столоначальников.

В Белграде пожилой республиканец говаривал мне: «Что до

цареубийств, то у нас с этим благополучнее, чем даже в России. За сто пятьдесят лет не более двух царей умерло в своей постели».

Этот дух чувствуется и в выстреле Принципа, и в том, что соперничающие династии на протяжении столетия четырежды меняли друг друга, и в том, как на конгрессе молодежи две тысячи человек согласно скандируют:

«Не — о-чем — кра — ля. О — чем — Ти — та!»

«Не — о-чем — кра — ля. О — чем — Ти — та!»

У народа требовательное, почти советское отношение к своим властителям. Недаром так популярен до сих пор Петр I — сын крестьянина, сам выбившийся в люди, кряжистый дипломат и герой 1914 года. Его нерешительному внуку в народном сознании естественно противопоставляются орлиные надбровья маршала.

В Белграде, после боя, ансамбль 73-й гвардейской дал концерт для горожан. Присутствовавший Жуйович неодобрительно отозвался о программе концерта — слишком много любви и плясок, слишком мало ненависти. Мы строим пропаганду не так.

Партизанские девушки, наверное, смотрели на ППЖ как на существа особенного, скверного сорта.

В этой армии дополнительный офицерский паек (конечно, законно оформленный, а не явочный) был невозможен. Даже жалование офицерам стали платить на пятом году войны. Когда думаешь о партизанах, сначала вспоминается дурацкий трафарет на стене: «Живе ли героиску комендант првой четы Иован Иованович и негова другарица Катька», а потом слова Ленина о великой пролетарской революции на взрыхленной, упорядоченной, организованной европейской почве, удобренной всей кровью и всем дерьмом нашего примера.

Венгрия

Франчишка

В ноябре дюжина наших разведчиков переплыла мутный Дунай, оглушила мерзших в окопах босняков и заняла село Батину. Здесь разыгралась самая жестокая битва из тех, что были в эту войну на югославской земле.

Шесть дней подряд я спал в винном подвале, на шинели, брошенной на две огромные бочки с вином. Вино было отличное, но его почти не пили. Говорят, также отказывались от пищи в Сталинграде, после бомбежки. Трезвые бледные солдаты скушливо ходили в этом винном раю. Немцы беспрестанно бомбили паромы и каждый день, обязательно, топили по одному. Тем не менее на берегу толпились тысячи людей, стремящихся попасть в тыл. Раненые, с перекошенными от страдания лицами, бросались к мосткам, хрустя гипсом, розовя свежие бинты. Партия фрицев была основательно избита — они тоже (?) хотели переправиться на тот берег. Крестьяне, оставшиеся в мышеловке, отрезанные со всех сторон фронтом и Дунаем, потихоньку стонали от страха в подвалах.

Над переправами господствовали высоты — 205, 206. Немцы били с них по паромам прямой наводкой. Семь дней высоты штурмовали озверелыми от потерь бойцами. Наконец прошел слух, что высота 205 занята сталинградцами. Санинструктор Клавдия Легостаева водрузила на ней полковое знамя. Это означало конец битвы, очередной отпуск от смерти. На плацдарме быстро распространилась радость. Легостаевой охотно простили легкое поведение, истеричность, грубость. Стали припоминать ее положительные качества, припомнили одну только общительность, но все же послали в армию реляцию на орден Красного Знамени.

Часа через два стало известно, что высота по — прежнему у немцев. Клавдия, никогда не учившаяся топографии, воткнула знамя в какой-то горб в полукилометре от гребня, в двухстах метрах ниже нашей передовой. Тогда генерал Козак собрал своих вертевшихся на наблюдательном пункте помощников и заместителей и выгнал их в роты — подымать солдат. Ночью цепи, в которых майоров было столько же, сколько и красноармейцев, выполнили задачу. Немцев на высоте уже не было. Они ушли, как ушли два года назад из прославленной рощи «Ягодицы» на Западном фронте.

Здесь, в Батине, решено построить памятник павшим героям. Фронтовой архитектор компоновал его из танков, медленно выползающих на берег. Югославы отвергли его проект, и их лучший архитектор Августинчич готовит огромное сорокаметровое сооружение из белого далматинского камня. Это будет сложная смесь из знамен, обелисков, орудий и других каменных иероглифов доблести и воинской удачи.

Итак, линия Дуная была прорвана. Немцы бежали. Между 57-й армией и Венгрией не стояло более ничего, и 57-я армия, соскабливая гусеницами грейдеры, вторглась в Венгрию.

Деревни и города бежали в ужасе, бросая некормленных коров и красные связки перца на заборах. Жители города Могач бросили город Могач. Эта неблагонадежность была наказана солдатами реквизицией всего движимого в вещевых мешках имущества.

Где-то перед Печем танкисты перегнали и немцев, и беженцев и с ходу взяли город с действующим трамваем, с лучшим в Венгрии заводом шампанских вин, с огромными запасами хромовой кожи, с традиционной гордостью своим римским именем — Софиане.

Здесь моторизованное нашествие дало ответвления. Северное из них устремилось к Балатону. В день оно распространилось по всему южному берегу озера, топча розы на пансионных клумбах, загоняя в виноградники дрожащих курортников.

В Фельдваре у ворот большого особняка танкистов встретила моложавая женщина с бровями настолько выстриженными, что, казалось, их пришлось пририсовывать заново. В ней было странное обаяние очень молодой девушки, девчонки и актерская уверенность в себе. Она быстро поняла реквизиционные намерения гостей и категорически заявила: «Нельзя! Я — Петер! Петер из фильма».

«Врешь, сука, — сказал танкист. — Я Петера хорошо знаю». И отскочил, ошеломленный. Женщина легко изогнулась, прищелкнула языком и запела песенку, свою песенку, из тех, которые остаются на слуху. Через час весь батальон знал о Петере. Темп наступления замедлился. Штаб в полном составе рассматривал альбомы «Петера», «Катерины», «Маленькой мамы». Замполит вел дипломатические разговоры. Комбат вежливо ухаживал, косясь на мужчину с толстыми негритянскими губами, — при Петере был муж. Незадолго до войны Франческа (Франчишка, как ее зовут на родине) гастролировала в Америке. Поссорилась с Голливудом, где посмеялись над ее захоластным, европейским лиризмом. Вернулась в Венгрию. Здесь ее ожидал

бойкот, расовые законы, изоляция в озерном поместье. Таких почетных полуарестантов в военной Венгрии было предостаточно — польские министры, перешедшие «зеленую границу» в Карпатах, английские офицеры, бежавшие из австрийских концлагерей. В трудную минуту их, возможно, выдали бы немцам. Но трудная минута не подошла, и они отлично прожили эту войну.

В Фельдваре Франчишку навещали аристократы, генералы, родственники Хорти. Ее самоуверенность и надменность следует рассматривать не в венгерском, а в общеевропейском плане. Она никогда не забывала, что у себя на родине она была единственной звездой первой величины, прямой мирового масштаба.

Когда пришли наши, Гааль обратилась с письмом к командующему Балатонской группой. Просила вывезти ее в Капошвар. У нее был план с этапами Капошвар — Дебрецен — Москва. Гастроли в СССР. Восстановление старых связей: Петров, Александров, Любовь Орлова. Работа для радио — она была уверена, что ее голосок еще способен растрогать закоренелых в фашизме эсэсовцев. Реставрация блекнувшей славы. В Капошваре у нее был салон — единственный на моей памяти салон за всю войну. Там не поили чаем, папиросы приносили сами гости, но интеллигентное офицерство всячески добивалось чести приглашения. Разговоры здесь носили изрядно пошлый характер. Никто толком не знал языка. Франчишка излагала свое русофильство и антифашизм — на уровне газетки канадского ВОКСа. Ее муж скользко любопытствовал о деталях жизни в СССР. Офицеры почтительно интервьюировали:

— Ваше мнение о Чарли Чаплине?

— Ваше мнение о Любви Орловой?

Франчишка была отличного мнения о Чарли Чаплине и Любви Орловой.

Комендант города майор Захаров, все вздохавший: «Эх, если б мужа около нее не было», — пригласил ее на новогодний офицерский вечер. Здесь она была замечена (как было не заметить) одним большим начальником. Определена как существо инородное, вредное, разлагающее и удалена из зала. Она никогда не вспоминала об этом. Только вздрагивала и улыбалась особенно горько.

Когда она вовсе надоела генералам своими просьбами, ее вызвали в комендатуру на допрос о целях, с которыми она собирается ехать в Москву. Она пришла — замкнутая, оскорбленная, совсем королева в изгнании. Отвечала четко и лаконично. Услышав обычный вопрос: сколько вам лет? —

вздрогнула, побледнела:

— Вы никогда не заставите женщину отвечать на это. Актрисе столько лет, сколько ей можно дать!

Когда-нибудь многие офицеры будут хвастать ее автографами, карточками, где рядом с майорскими погонами сияет прославленная улыбка, до конца убежденная в своей фотогеничности.

В марте месяце

В марте 1945 года немцы начали генеральное наступление на 3-й Украинский фронт. «Рамы» разбросали над нашими окопами листовки: «Жуков загнал нас за Одер, но Толбухина мы выкупаем в Дунае». Каждую ночь перед позициями работала вражеская МГУ. Тоненьким голосом Тося из Брянска ругала колхозы.

За четыре месяца до этого наши части расколотили на Дунае эсэсовскую мусульманскую дивизию «Ханджар» (кинжал). Это были эсэсовцы второго сорта, поскребки, одно из провинциальных формирований, изобретенных Гиммлером в самое последнее время. В марте мусульман тайно убрали в тыл, а на их место во второй эшелон поставили свежую, молодежную, переброшенную из Италии эсэсовскую мотодивизию. По дороге в Венгрию им выдали новые солдатские книжки и строго — настрого переименовали в мусульман. Камуфляж был проведен ловко, споро и удался полностью. В первые два дня боя наша разведка доносила, что наступают босняки. Таким образом, силы противника занижались почти в два раза. Это были последние золотые деньки немецкой разведки, ее бабье лето.

План немецкой ставки заключался в единовременном тройном ударе. С севера из Секешфехервара вторая танковая армия СС, переброшенная из Франции, выходила к Дунаю и, спустившись вниз по его правому берегу, перерезала все коммуникации Толбухина. Вспомогательные удары с юга (казаки) и с запада (псевдомагометане) должны были сбить нас с позиций и погнать в Печ — под эсэсовские танки. В случае удачи центр войны переносился далеко на юг. Вырисовывались перспективы — поднять против Красной Армии незамирную Румынию, Болгарию, прорваться на Украину, вырвать почетный мир на чужой территории.

За два дня до начала наступления мадьяр — перебежчик прошел через два минных поля, переправился через колючий ручей, рассказал все.

Армию и штаб охватило горячее предбоевое возбуждение. После четырех месяцев тихой зимы предстояла схватка — быть

может, последняя в этой войне.

В один из первых дней наступления я собрал обком партии. В городе были явно слышны разрывы снарядов. Еврейский комитет запросил меня, эвакуироваться или нет, и, несмотря на мой успокоительный ответ, по дороге на Печ потянулись бедные повозки с потерянными, грустными беженцами. Каждый день немцы продвигались на пару километров. В день совещания интервал не превышал семнадцати километров.

Четвертый раз я требовал у обкома людей для перевозки на ту сторону. Перед этим пришлось забраковать двух коммунистов, запросивших по пятьдесят тысяч пенго на покрытие дорожных расходов. Теперь я просил «идейных». После короткого обсуждения стало ясно, что людей не будет. Перебирал фамилии, обкомовцы пугливо отводили глаза друг от друга: никому не хотелось умирать в мартовском мокром снегу. Я прямо спросил у Розенбергера, молодого врача с умным смелым лицом: «Вы-то сами пойдете?» Он беспомощно пожал плечами: «Не знаю».

Я уже сталкивался со многими вариантами дисциплины — с великой дисциплиной коммунистических батальонов, молчаливо и неумело идущих на смерть; с выдержкой сербских партизан, стоящих босиком на мерзлом асфальте; с идейностью московских студентов, уезжающих из столицы в Киргизию — в двадцать лет лечить сифилис и трахомы; наконец, с армейской «средней» дисциплиной — удивительной смесью из патриотизма и заградотрядов, страха перед штрафной ротой и страха перед народным презрением, синтезом политграмоты и высокого патриотизма.

Здесь не было никакой дисциплины. Обкомовцы покорно признавали это.

Партии грозила опасность выродиться в артель для проведения выборов, в необязательные двадцать процентов голосов, которые никогда и ничего не решают.

Версальский мир мудро отбирал у побежденных не только оружие, но и право вооружаться. Поколения утрачивали военные традиции, идеологически демилитаризировались. Двадцать лет подряд военный бюджет уходил на здравоохранение, стандартные особняки, стимулирование отечественного льноводства. Магьяры как нация потеряли выправку. Немцы спаслись от этого «Черным рейхсвером». Все это отражалось на национальном духе и, вторично, на духе партии.

Идея «Мы маленькая страна» пахнет мюнхенской капитуляцией. Магьяры одновременно отказывались не только от мировой истории, но и от многих иных мировых страстей.

Удивляла их тупая покорность немилостивой судьбе. Акты

сопротивления встречались только в немецких селах. Семьдесят процентов населения обожало Хорти. В октябре он по радио призывал к сопротивлению немцам, и за ним пошло несколько сот евреев из гетто и чепельские рабочие с ручными фанатами.

Одной из ошибок нашей пропаганды была «армия Вереша». Магьяры не хотели воевать ни за кого, даже за тех, кому они вполне верили. Героизм проявлялся только при перебежке.

Тринадцать шпионских школ работало против нас в западной Венгрии. В лесных хуторах высаживались партии парашютистов. Но недаром мало надеявшиеся на них немцы вооружали их не автоматами, а дешевыми карабинами. Диверсанты мерзли на поворотах, поджидали наших шоферов и сдавались даже полевым кухням.

Женщины, не столь развращенные, как румынки, уступали с позорной легкостью. Один из моих офицеров, проанализировав, почему Н., светская дама, жена арестованного офицера, любившая своего мужа, отдалась ему на третий день их знакомства, решил: немножко было любви, немножко беспутства, а больше всего, конечно, помог страх.

Я часто замечал в те месяцы: магьярам не нравилось быть магьярами. Они стыдились своей национальной принадлежности. Шкура оказалась паршивой. Хотелось из нее вылезти.

Покорность эта тем нагляднее, что если в Австрии и Румынии все кошки точно знали, чье мясо они ели, здесь кошки всю войну просидели на диете — приказы о смирном отношении к русскому населению не только отдавались, но и выполнялись. В стране не применялся труд пленных. Кажется, не было системы посылок. Наиболее острым актом сопротивления был, наверное, случай в Фоньоде — маленьком Балатонском курорте, вытянувшемся двумя цепочками пансионеров на южном берегу озера. В хорошую погоду здесь можно легко различить противоположный берег.

Старик и старуха, жившие одиноко и скромно, послали письменное приглашение всем соседям — посетить их дом завтра утром. Собралось несколько десятков человек. Они увидели старинную двуспальную кровать, застланную белыми покрывалами. На кровати рядом лежали застегнутые на все пуговицы, в черном, старики. На столике нашли записку — не хотим жить проклятой жизнью.

Кажется, на меня эта история подействовала сильнее, чем на всех туземцев Фоньода.

Какой-то англичанин сказал о правителях Венгрии, что это прохвосты, которые надеются, что джентльменские манеры помогут им избежать наказания. Действительно, джентльмены оказались прохвостами. В каждом венгерском городе была улица

имени Аттилы. Воинственных гуннов считали прародителями мадьярского народа. Тем не менее генерал Вереш собрал армию не то в два полка, не то в две роты. Венгрии было суждено оставаться объектом, а не субъектом этой войны.

Здесь уместно вспомнить, с чем пришли наши в Венгрию. Эта была первая страна, не сдавшаяся, как Румыния, не перебежавшая, как Болгария, не союзная, как Югославия, а официально враждебная, продолжавшая борьбу. Запрещенная приказами мести была разрешена солдатской моралью. И вот начали сводить счета.

В 1944 году, в декабре, в католической церкви в Пече шло богослужение. Печальное и пугливое, оно собрало девушек, оплакивавших невинность, и монахов, предвидевших гибель монастырей. Внезапно на кафедру взошел лейтенант Красной Армии, молодой, простоволосый. Стало тихо. Пастор отодвинулся в сторону, и юноша сказал:

— В Воронеже мадьяры замучили моих родителей. Муттер унд фатер. Мать и отца. Молитесь за них!

Он стоял недвижно, внимательно наблюдая за усердием молящихся. Его поняли. Все повалились на колени. Органисту было сказано: играй! Попу приказали: молись, певчим — чтобы пели. Панихида проходила как положено. Лейтенант хмуро осаживал уставших молельщиков, пробовавших подняться с колен. Прошло пятнадцать минут. Лейтенант жестом остановил моление и неслышно ушел.

Характерным для отношения мадьяр к нам был **страх**. Целые классы, народности готовились к партизанской борьбе. Однако все немецкие районы, несмотря на массовость фольксбунда и поголовное зачисление фольксбундистов в «черный легион», распластались перед нами. Вся венгерская молодежь была «загнана» в фашизированную организацию «Левенте», и все левентисты получили приказание о вооруженной борьбе. И все же почти не было серьезных актов сопротивления.

Гауляйтеры оказались недостойными сравнения с секретарями райкомов. Антисоветская партизанщина провалилась уже в самый момент своего возникновения, добавив к страху как таковому страх за попытку сопротивляться.

В итоге наш солдат презрел окружавших его врагов и пренебрег всякими возможностями их сопротивления.

Ночным поездом в Тимишоару прибыл сержант. Тщетно простучавши с часок в негостеприимные окна, он подошел к мерзнувшему под фонарем румынскому полицейскому и приказал ему буквально следующее: «До рассвета я лягу спать около тебя. Вот тебе граница, через нее не пускай никого», — и он

очертил сапогом окружность с пятиметровым радиусом. Городовой покорно отгонял столпившихся наутро зевак и сдал сержанта только нашему комендантскому наряду.

Когда убивали по хуторам пьяных и отставших одиночек, когда тащили их, недоубитых, в силосные ямы, в последних их воплях звучали не только страх, боль, гнев, но раньше всего недоумение: скотина зарычала; волки сбросили бараньи шкуры.

В 1945 году, в марте месяце, в маленьком венгерском городе Байя красноармейцы убили инженера Тота.

В то время байская переправа через Дунай, просторная, как караванная дорога, была почти единственным перешейком, связывавшим уменьшающийся плацдарм 3-го Украинского фронта с Задунайской Венгрией и Россией. Ее беспрестанно бомбили. По Дунаю шел лед. Куски льда трескали по балкам, выталкивали понтоны, грозили стереть в щепку переправу. Наши шофера, стремившиеся не задерживаться на мосту, с удивлением посматривали на работавших здесь же румынских саперов. Они стояли по пояс в воде. Синеватая чернь их волос странно разнилась с белизной ледохода. Работали по суткам, без благодарности своего трясущегося перед новыми союзниками начальства.

Расположенная «по ту сторону» Байя была естественной станцией, заезжим двором, где останавливалась напуганная бомбежками шоферня. В это время во всей остальной Венгрии комендантские офицеры уже жирели от безделья. Здесь же каждый день грабили, насиловали, убивали.

Однажды ночью в дом инженера Тота постучали. Тот был «особенным» человеком — так о нем и вспоминают в городе. Эрудит, путешественник, изъездивший целый свет, он был страстно влюблен в Россию, в ее грядущую многоэтажность, столь противоречащую особнячкам его родины. Это был, быть может, единственный горожанин, который принципиально считал, что красноармейцев не надо бояться, а коммунисту — нельзя бояться. Может быть, поэтому он в три часа ночи открыл двери запоздалым путникам.

Его убили через полчаса. Жена Тота, которую пытались изнасиловать, рассказывала, что он говорил солдатам по — русски: «Я — коммунист». Протягивал им партийный билет с надписью на русском языке. Страшные, видно, были люди. Такие доводы останавливали самых черных насильников.

На другой день, тайно от горожан, тело Тота было предано земле. Секретарь обкома рассказывал мне, как они стояли у могилки — двадцать человек коммунистов, ближайших друзей покойного. Молчали, потихоньку плакали.

У них не было даже обиды на убийц, того возмущения, которое проявили бы в подобном случае югославские партизаны. Это ощущение я часто наблюдал в Венгрии — чувство бесконечной виновности перед пришедшими с Востока товарищами. Способность снести от них любое унижение.

В Афинах существовал закон: граждане, не примкнувшие во время междоусобиц ни к одной из борющихся партий, изгонялись. Изгнанию подвергались и те, *которые примкнули слишком поздно.*

Когда я спросил у капошварских коммунистов, отказавших мне в людях для переброски, что они собираются делать, если в город ворвутся немцы, они отвечали: «Попросим винтовок и будем сражаться до последнего». Наверное, это правда. Трудно воевать одному. Тарле доказывает, что 1812 год сделал народ, государственно организованный в регулярную армию, а не народ, добровольно пошедший в партизанские отряды.

Трудно воевать одному. Кто знает, виной или бедой мадьярских коммунистов была их одинокость среди своего народа.

В воспоминания об отношении нашего солдата к Венгрии вплетается удивительная по своему жанру страница. Это было в Будапеште. Излюбленным местом наших курсантов здесь был «англо — парк», вполне жалкое заведение, комбинация из балаганов и киосков с мороженым: побывав в комнате страха и комнате смеха, я уединился в фанерном клозете. Здесь были обнаружены две надписи потрясающего содержания:

«И вот мы взяли Будапешт и гуляем по англо — парку. Думал ли ты, Ваня, что мы когда-нибудь достигнем этого?»

«Испражнялся в англо — парке. Да здравствует советская власть, которая привела нас в Будапешт!»

Что еще запомнилось из Будапешта?

Столицы Балканской и Средней Европы неинтересны в архитектурном отношении. Преобладает особнячковый стандарт (пусть одна комната, но с кладовой, клозетом, ванной). В городе один показательный небоскреб.

В Буда всем приезжим показывают самолет, врезавшийся в седьмой этаж семиэтажного дома. Хвост и часть корпуса сохранились и торчат индейской стрелой. Летчик долго смердел, сначала паленым, потом гнилым мясом.

В день нашего приезда была демонстрация благодарности Сталину, приславшему в город продовольствие и грузовики. Я стоял у кафе, где пили пиво спекулянты и женщины с чернобурками на истощенных плечах. Осадный голод еще проступал в однообразно тонких ногах женщин. Мимо кафе шла

рабочая колонна. Вдруг двое рабочих подбежали к тенту, закричали: «Спекулянты! Все равно всех вас уничтожим». Посетители сидели тихие, бледные, не смели поднять глаза.

Митинг был немногочисленный — коммунисты в форменных красных рубахах, незабываемое, беззаветное приветствие «Рот фронт!». Оно мне напомнило большой портрет Тельмана, «забытый» в цеху лампового завода в Москве во времена пакта.

Самый величественный из монументов Будапешта — громадная чугунная фигура графа Тисы, убитого в 1918 году. Недавно ее зацепили тросами и стащили с пьедестала. Сейчас Тисса смиренно лежит ничком на Дунайском берегу. Поблизости на площади мраморный памятник жертвам красного террора. Золотом высечен длинный список имен. Мрамор обскребли случайные пули, но саперы наши слишком плохо знали венгерскую историю, чтобы нечаянно взорвать вредный памятник.

Как переходила рота

В конце февраля я прожил неделю в огромном помещицком имении в лесу, что южнее восточного Балатона.

Здесь была отличная библиотека с альбомами старых фламандцев, экспрессионистов и ежегодниками «Салона». Все это тщательно рассматривалось и обсуждалось в штабе полка. Ван Дейк признавался скучным, а «ню» «Салона» — завлекательными и порнографическими.

«Ню» подбрасывали телефонисткам, и те визжали от благородного негодования.

Владелец имения бежал через озеро к немцам, и возмездие обрушилось на его розовых свиней — их ел весь полк, их же делили на равные пятикилограммовые порции, оправляли в полотно, отсылали в посылках.

Офицерский повар подавал к обеду грязное ведро с отличным старым вином. Отдельно для понимающих подавался спирт и еще сливки и горы всеми презираемого немецкого фабричного мармелада.

Однажды утром нас разбудили разведчики. Они были мертвецки пьяны — сложным четырехчленным ершом. Их командир взвода требовал немедленных реляций. В доказательство предъявлялись два пленные — первый трофей взвода за всю венгерскую зиму. Я заметил, что один из пленных ухмыляется в кулак. Мужичий сарказм его улыбки показался мне таким земляческим, что я спытав: «Чи не з Ужгороду будеш, друже?» — «Та ни, пане майоре, я сам мукачевский». И вот мы

сидим в столовой, земляк хозяйственно, с двойным перегибом рюмки глотает спирт, рассказывает.

Сегодня ночью их дозоры поймали трех разведчиков. Привели к командиру роты. Его, Гусака Василя, вызвали переводить. Капитан сразу повел себя как-то странно — был вежлив, даже услужлив, предложил пленным молока с хлебом, извинился, что другого ничего нет. Русские выпили по кружке, осмелели, попросили еще. Тогда, выгнав из землянки всех посторонних, капитан дал Гусаку секретное поручение чрезвычайной важности: переправиться через канал, пройти в русский штаб и передать, что наступать на этом участке можно. Он, капитан Кираи, и вверенная ему рота стрелять не будут. Сейчас они боятся немцев, но, если русские придут в их расположение, все до одного сдадутся в плен.

В помощь Гусаку был дан личный ординарец капитана и один из пленных.

В то время линия фронта носила странный характер. По сторону канала тянулись наши окопы. Солдаты дежурили там по двенадцать часов, а потом отсыпались в ближней деревне. По немецкому берегу канала осторожно ползали бронетранспортеры. Главной их задачей было не пропускать через канал мажарских перебежчиков.

Военный Совет в штабе полка с негодованием отверг всякие экскурсии за пять километров в тыл противника. Их, конечно, сочли «провокацией» и «дезинформацией». Решили: пусть мажары сами ходят мимо бронетранспортеров. На эту тему было составлено письмо с торжественным обещанием сохранить жизнь для всех и холодное оружие для офицеров. Оно было отлично написано, я до сих пор вспоминаю с удовольствием его энергичский и в то же время великодушный тон. Позже, кажется, все маршалы переписывали с него свои ультиматумы.

Письмо понес все тот же Гусак. Он отнекивался. Отнекивания по — украински звучат куда убедительнее, чем если бы они были произнесены по — мажарски — через переводчика. Я компенсировал Гусака пачкой сигарет и обещанием отпустить домой в первую очередь.

Василь благополучно добрался до своего капитана. Тот прочитал письмо, вздохнул немного и поднял по тревоге всю роту. В штаб батальона он донес, что выступает для отражения переправившихся через канал большевиков. Кухни с поварами были предусмотрительно оставлены на месте — для маскировки. Один из взводов — шестнадцать человек — был расположен в трех километрах, и Кираи побоялся ждать его прихода.

Двенадцать часов ночи. Темно. Грязно. Солдаты потихоньку

ругались по поводу наступательных планов своего командира.

В полукилометре от канала капитан остановил и построил свое войско. Объявил, что договорился с русскими о переходе. Ничем не мотивировал свой поступок — он был слишком уверен в боевом духе солдат. Сказал, что не будет препятствовать нежелающим остаться на берегу. В немецкой армии, в аналогичном положении, нежелающих пристрелили бы как собак.

На нашем берегу роту уже поджидали разведчики. Пришли все восемьдесят человек — на двух нежелающих злобно зашикали, и они пошли вместе со всеми.

Мосток был очень шаткий — пожарная лестничка, и переправа затянулась на полтора часа. Около восьми часов утра мы возвратились в ликующий штаб полка. Предупрежденный комендант поднял среди ночи поваров, и нас ожидал царский пир.

Офицеров угощал я сам — на манер Петра Великого. Им гостеприимно подносили стаканчики с лояльного цвета жидкостью — ром, разведенный спиртом. Они пили и замирали. Их дружески били по плечу — они казались чертовски симпатичными в эту минуту. И вообще вся война казалась симпатичным, интересным, не очень утомительным занятием.

В соседней комнате — у разведчиков — шла совместная солдатская трапеза. Наши проявляли благородство бескорыстия. Мадьярам оставили даже часы. Сняли с них только овчинные поддевки, вразумительно пояснив, что вам в теплом лагере сидеть, а нам еще придется в окопах померзнуть.

В разгаре пиршества я отозвал в сторону пьяненького капитана. Хмель мгновенно соскочил с него. Это был типичный «приписник» — инженер, семьянин, член муниципального совета своего городишки. А ему предлагалось: вернуться в бывшее расположение роты и привести недостающий взвод. Мотивация была убедительная, кадровая, военная. Командир роты отвечает за всю роту, и нечего забывать целые взводы, принимая ответственное решение. При этом мои ассистенты выкрикивали лозунги вроде «Как стрелять в русских — так всей ротой, а как переходить к русским — так взвод оставляете». Запуганный Кираи поторговался немного. Потом вызвал младшего лейтенанта и под козырьком приказал ему на следующую же ночь отправиться за взводом.

В этот раз усталость моя и странная уверенность в успехе были так велики, что я не пошел на передовую и преспокойно лег спать в штабе полка.

В шесть часов утра меня разбудили — пятнадцать мадьяр дожидались моего решения.

В лагерь они шли солидной колонной, в полной форме, с раздутыми вещевыми мешками за плечами. Их конвоировали двое автоматчиков. Сзади ехали телеги с их вооружением. Со всей округи сбегались венгерские бабы — посмотреть на необычайную процессию, всунуть хлебец или ком сыру. Солдаты корректно отказывались. В полку им надавали на дорогу — жареной свинины, мармелада, сухарей.

Вскоре мне пришлось участвовать в истории, которая может служить косвенным продолжением вышеописанного.

Военный Совет решил распустить по домам сотню — другую пленных мадьяр. Можно было не сомневаться, что слух об этом пройдет сквозь ноздреватый, пунктирный фронт и серьезно повлияет на противника. С этой целью я посетил небольшой пересыльный лагерь. В кармане у меня лежало двадцать удостоверений. Их лаконичность и определенность напоминали справку: «Разрешается жить на белом свете». Такие справки атаман Григорьев выдавал, отпуская задержанных, которые оказывались не коммунистами, не махновцами и не евреями. Надлежало подыскать двадцать фамилий для простановки в удостоверениях.

Я подобрал потребное количество пленных. Это были главным образом отцы семейств, уроженцы областей, уже занятых Красной Армией. Вызывал их по двое, по трое, опрашивал, торжественно вручал документы, жал руки. Форменное вытягивание во фронт быстро сменилось у них чувствами человеческими. Иные тихо, стыдливо плакали, здесь же, отойдя в уголок. Один пытался поцеловать мне руку. Другой троекратно прокричал: «Да здравствует Красная Армия!»

Под самый конец разыгралась трагедия. В комнату, где шло вручение документов, вбежал пожилой солдат с мозолистыми крестьянскими руками и отчаянием в глазах. Это был земляк, однодеревенец, сосед двадцатого номера. По всем пунктам он не уступал своему приятелю, которого мне подсунул писарь. Однако удостоверений было всего двадцать. Отбирать же документ одного из отпущенных — через полчаса после торжественного вручения — было еще труднее, чем отказывать новому просителю.

И я прогнал солдата.

Потом начались сборы. Политичные повара подзывали мадьяр к весам, заставляли свидетельствовать точность выдаваемой им трехдневной нормы. Когда разделили буханки и увязали мешки, я выстроил всех двадцать в лагерном дворе — на предмет выслушивания моей напутственной речи. У стен безличным греческим хором стояли не вошедшие в число.

Я сказал:

— Ну что, увидели, как воевать против России? Надо было вам уходить из деревень? Так знайте же: сейчас мы отпускаем вас, но ваши росписи остаются нашим документом, и ваши фамилии тоже записаны. Если через двадцать лет, через тридцать кого-нибудь из вас опять возьмут в плен — висеть ему на виселице, поверьте мне на слово!

Мадыяры заорали:

— Правильно! Спасибо! Так ему и надо, собаке! — И потом — с неслыханной искренностью: — Да здравствует господин товарищ майор! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует Россия!

Это была отличная речь, одна из лучших моих речей за всю войну — по краткости и выразительности. Я до сих пор верю, что этих мадыяр больше воевать с Россией не заставишь — ни за какие коврижки!

И еще я сказал им:

— Сейчас вы можете идти. Разбейтесь на двойки. Пройдите по деревням. В городе ходите по самым людным улицам. На станциях смешивайтесь во все очереди — на посадку, на перрон, в кассы. Говорите всем: немцы заставили нас воевать против России, а Россия отпустила нас домой и дала нам этот хлеб на дорогу.

Мои мадыяры поспешно, словно боялись, чтобы их не вернули, кинулись к театрально распахнутым воротам.

И на них молча смотрели *не вошедшие в число*.

Семья Бетлен

В начале декабря 1944 года в штаб 61-й гвардейской дивизии явился капитан, документально доказавший, что он является адъютантом графа Бетлена. Бетлен просил вывезти его с семьей из имения, где они скрывались от немцев, и переправить их через фронт.

Немецкое отступление уже заканчивалось, но фронт еще не стабилизировался. Майор Розенцвейг с десятком конников вывез Бетлена, адъютанта и тяжеленький чемодан, успел даже позавтракать в его имении. Семья выехала позднее и также спокойно достигла нашей зоны.

Неделю спустя я написал биографию Бетлена.

Друг, советник, соперник Хорти, он до сих пор остается одним из виднейших политиков Центральной Европы. Трансильванец, как и Маниу, он лишен демагогичности последнего, более бесспорен. У него те самые джентльменские

манеры, о которых говорил английский журналист. Потомок двух правителей Семиградья, он потерял состояние после аграрной реформы в Румынии. На допросе нервно спрашивал о судьбах своей провинции. За десять лет премьерства он не потерял популярности, прослыл либералом, патриотом, позднее антифашистом. Крупный деятель, завсегдатай Лиги Наций, он ехал к нам на премьерское кресло. Знал, что с коммунистами не поработаешь в белых перчатках. Предлагал свои услуги для черной и черновой работы, взялся бы и за грязную работу. На допросе рассказал о тайном совещании у Хорти, где все бывшие премьеры Венгрии, целые эпохи ее бытия, решали (каждая эпоха по — своему), выходить ли из войны, и решили: выходить.

От плохо проведенного допроса все же пахнет всемирной историей.

Бетлен был увезен в Печ, жил там под неусыпным надзором Военного Совета, ублажался всячески, охранялся основательно. В правительство его не ввели: во — первых, был слишком правым, притом с выраженной ориентацией на палату лордов, во — вторых, был слишком крупным — его присутствие в правительстве Миклоша не только подчинило бы ему прочих министров, но и санкционировало бытие этого правительства перед Европой. Тогда это было нежелательно.

Неведение Бетлена в правительство повлекло за собой неиспользование его имени в нашей пропаганде.

В январе 1945 года Бетлен попросил сообщить ему, как живет его семья. Незадолго до этого наш переводчик Зайцев вывез его семью в Капошвар и поселил ее в губернаторском доме, за что был вознагражден золотой зажигалкой из ручек самой графини. Мне дали легковую, пятнадцать минут сроку и поручили выяснить, не удрала ли куда-нибудь графиня с домочадцами. Я выговорил право объяснить свой визит беспокойством командования о нуждах и т. п. Семья Бетлена состояла из графини Сечени, его многолетней, известной всей Венгрии фаворитки, ее дочери — графини Болза, мужа дочери — графа Болза и двух детишек.

В дороге я поспешно решал, целовать или не целовать графинины ручки, — с этой категорией человечества я сталкивался впервые. Графиня приняла меня, и все сомнения рассеялись. Она оказалась ссохшейся щеколдой, без следов былой красоты. Ее ручка не вызывала больше никаких желаний. Я наскоро (пятнадцать минут кончались) выразил благочестивую тревогу командования. Графиня попросила пятнадцать килограммов сахара и пятьдесят килограммов масла. «Фюнфциг одер фюнфцен, мадам?» — спросил я и несколько окосел: в те

времена масло нельзя было достать ни за какие деньги, а в килограмм сахара женщины, не в пример графине, добальзаковского возраста оценивали ночь любви.

— Пятьдесят, пятьдесят, господин майор! У меня двое маленьких детей. — И она сделала соответствующий жест.

Я откланялся. Начальство посердилось в связи с аппетитами старухи, но смирилось: в Капошваре на нас работал сахарный завод с 600 рабочими.

Замок Вексельхаймбов

В январе 1945 года, проездом, я прожил день в замке графа Вексельхаймба.

Сто лет назад один из офицеров карательной армии Виндишгреца получил в награду за усердие земли в районе местечка Таб. Он построил дворец со стенами, выдерживающими огонь корпусной артиллерии. Внутри замок напоминал музей гравюры и акварели — триста лет подряд плотные листы с батальными и жанровыми сценами обрамлялись, развешивались симметрично, медленно коробились и желтели. В простенках между окнами стоят кресла. Они основательно ободраны, хотя кожа на них слишком тонка для обуви. Над каждым креслом — веер из слоновой кости и японского шелка. Тонкий налет пыли окончательно тусклит вялые краски шелка. Веера повертели в руках и повесили — как не имеющие практического значения. Это направление мародерства очень типично. Во времена Кишиневской операции и в более древние брали часы, кольца, компасы, пару — другую белья. Ограничивали аппетиты лимитами вещевого мешка. В Румынии начали брать деньги и отрезы (блеснула надежда на скорый конец войны). Ковры стали брать только тогда, когда представилась возможность перевозить их, т. е. после захвата австрийского автотранспорта. Революционный скачок в этой области произошел после разрешения посылок.

Я перещупал библиотеку графов. Ее запыленная часть странным образом напомнила библиотеку Пушкина — те же огромные, неудобные тома энциклопедии. Недаром перечень подписчиков этой последней совпадал с оглавлением «Готского альманаха»

.





Боря Слуцкий. Начало 1920-х годов



Абрам Наумович и Александра Абрамовна Слуцкие, отец и мать поэта. Начало 1950-х годов

«Я помню квартиры наши холодные и запах беды, и взрослых труды.

Мы все были бедные, не то чтоб голодные, а просто — МАЛО БЫЛО ЕДЫ...»





Харьков — город детства и ранней юности будущего поэта.
1920-е годы

*«Деятнадцатый год рожденья — двадцать два в сорок первом
году — принимаю без возраженья,
Как планиду и как звезду. >*

Присутствуя в числе избравших последние 2-го издания МСЭ, Редакция МСЭ не имеет права
 считать вышедшие из печати, требования, пожелания, жалобы своих читателей.
 Редакция МСЭ просит читателей, желающих высказать свои замечания, а также
 Т. В. Выходящих из редакции МСЭ, просит просить, кроме своей оценки МСЭ, также
 сообщить об оценке МСЭ со стороны читателей (на основании требования и пр.).
 Авторы будут получать персональные материалы для дальнейшей работы МСЭ и для
 их интерпретации с читателями.

РЕДАКЦИЯ МСЭ

Поэзия — дерзость

МОСКВА

ОБЩЕСТВО ПЕР. ДОМ. МАЛАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

М. Му. Поэзия — дерзость. Музыка — единственная форма музыкальности, караемый Уголовным кодексом (см. 58 ст.). К сведению ниже пишущих.

Разность между поэзией и прозой является то, что проза светит, но не греет, поэзия — греет, но не светит. "Шутка?" Михаил Кульчицкий.

Борис Слуцкий Разностью между поэзией и прозой является то, что проза светит, но не греет, поэзия — греет, но не светит. Во всяком случае, не светит. Шутка? Михаил Кульчицкий.

Ответы на вопрос «Что такое поэзия?» «Поэзия — дерзость. Петр Горелик «Мы были

музыкой во льду...» — единственный род музыкальности, караемый Уголовным кодексом (см. 58 ст.). К сведению ниже пишущих.

Борис Слуцкий Разностью между поэзией и прозой является то, что проза светит, но не греет, поэзия — греет, но не светит.

Во всяком случае, не светит. Шутка? Михаил Кульчицкий. 1938

«Не умел воевать, но умел я вставать,
 Отрывать гимнастерку от глины и солдат за собой

*поднимать,
Ради родины и дисциплины...»*



Борис Слуцкий с одноклассниками Дмитрием Васильевым (слева) и Петром Гореликом (справа) в год окончания школы. 1937



Семен Гудзенко. 1940



Павел Коган. 1941



«Сгорели в танках мои товарищи
До пепла, до золы, дотла...»



Михаил Кульчицкий. 1941



«Мои товарищи на минах
Подорвались, взлетели ввысь...»

«Я говорил от имени России, ее уполномочен правотой...»



Бой на улицах Вены. Апрель 1945



София. 15 сентября 1944

«Я носил ордена.

После — планки носил.

После — просто следы этих планок носил,

А потом гимнастерку до дыр износил и надел заурядный

пиджак.



«Квадрига» друзей. Петр Горелик, Исаак Крамов, Давид Самойлов, Борис Слуцкий. 1963



Борис Слуцкий с женой Татьяной, Ильей Эренбургом (слева) и Леонидом Мартыновым. 1960–е годы



С Николаем Заболоцким (в центре) во время поездки в Италию. Триест, 1957



Б. Слуцкий председательствует на творческом вечере Булата Окуджавы. 1960-е годы



Давид Самойлов. 1945



Будапешт. Бои окончены. Февраль 1945

Б. Слуцкий в Венгрии. На обороте фотографии надпись:

«Я в представлении венгерских провинциальных ретушеров.

Байя, 1945»

*«Здесь, в стихах, ни лести, ни подлости недействительна
власть.*

Как на северном полюсе:

Ни купить, ни украсть...»



Николай Асеев. 1950–е годы. Алексей Крученых. 1950–е год



Илья Сельвинский. Конец 1930–х годов



Александр Твардовский. 1960–е годы



Николай Заболоцкий. 1953

*«Умирают мои старики — мои боги, мои педагоги,
пролагатели торной дороги, где шаги мои были легки.. >*



Корней Чуковский. 1950–е годы Исаак Бабель. 1935



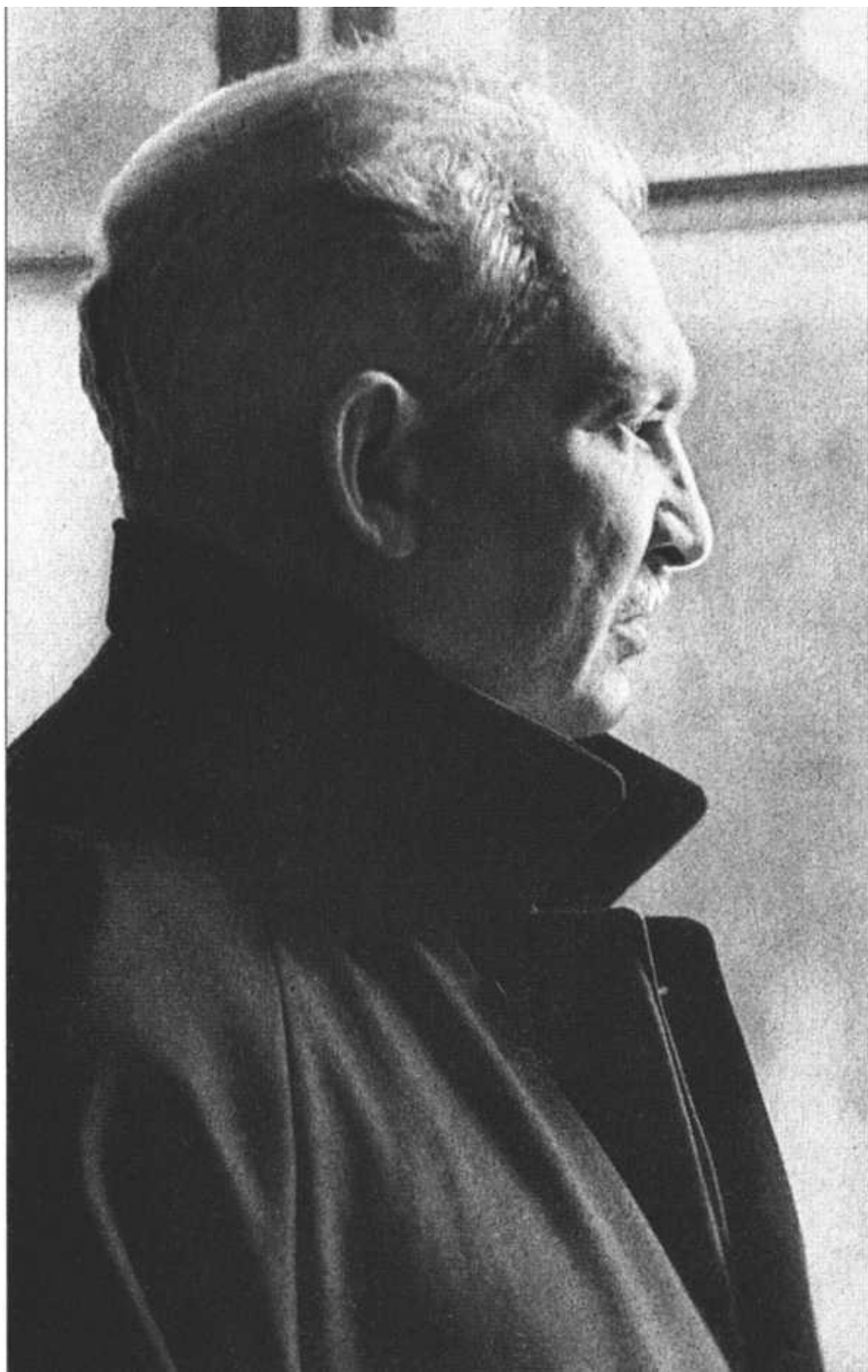
Осип и Лиля Брики



С Владимиром Корниловым (справа) и редактором издательства «Советский писатель» Виктором Фогельсоном. 1961



Б.Слущкий в кругу друзей. 1948



Вексельхаймбы бежали еще в ноябре, сдав акварели по описи переехавшей сюда больницы.

Больница интересна в двух отношениях. Директор показал мне женские палаты — здесь скрывались от прохожих солдат

одиннадцать молодых женщин. Они поуспокоились за последние два месяца и с любопытством рассматривают нового человека.

Вторая достопримечательность — русская комната. Здесь два раненых, забытых частями, два больных — совсем юные сержанты. Они пьют спирт с врачами, спят с сестрами и защищают спасающихся буржуазок от захожих буянов, жестоко избивая их подкованными прикладами автоматов. Директор приемлет этот модус вивенди. Он, как и многие европейцы, сводит свою россику к мнению, что русский человек хорош, пока трезв. На прощанье он доверительно сообщает мне, что у него лечатся от триппера (совсем бесплатно!) несколько окрестных офицеров.

Ассимиляционная способность

Удивительна ассимиляционная потенция мадьяр. С чем связана она — с высоким стандартом жизни или с экспансионным характером молодой цивилизации? Мадьярские евреи считали себя мадьярами Моисеева закона, мадьярский язык — родным языком, усердно крестились. Мадьярские славяне утрачивали свою национальность в три — четыре поколения. От сербских массивов Центральной Венгрии сохранились только православный епископ в Будапеште и лингвистическая археология типа «Печ», «Балатон» (Блатноозеро).

Сыновья швабов прибавляли к своей немецкой фамилии мадьярскую. Внуки вовсе отбрасывали немецкую часть фамилии. Имели успех такие вещи, как объявление буневцев «нацией, говорящей по — хорватски, но ощущающей себя мадьярами».

Народ, про который острили: «У вас королевство без короля, у вас адмирал без флота, ваш национальный поэт Петефи — серб по крови». Этот народ всасывал и переваривал деревни, области, целые племена. И все это — прямым насилием, запрещением школ, богослужений на родном языке, иногда резней.

Памятники

В каждом городе Венгрии — памятник Кошуту, площадь Хорти, улицы Андраши, Петефи.

Национальная история бедна — два десятка имен, но ее усердно и успешно пропагандируют камнем и бронзой.

Больше всего мне запомнился памятник в Байе: земной шар из серого булыжника, на нем юноша в крестьянской одежде — говорят, что двести лет тому назад он пешком обошел кругом света

Австрия

Здесь начиналась 3-я империя

Когда весной 1945 года мы ворвались в Австрию, когда капитулировали первые деревни и потащили в амбары первых фольксштурмистов, наш солдат окончательно понял, что война вступила в период воздаяния. Армия учуяла немца. Мы слишком плохо знали немецкий язык, чтобы различать, где прусский говор, а где штирийский. Мы недостаточно ориентировались во всеобщей истории, чтобы оценить автономность Австрии внутри великогерманской системы.

Но эстетика Отечественной войны отнесла к разряду «уродливое» голенастых и белобрых девок, зобастых мужчин и черепичные крыши над фермами. Но политика Отечественной войны работой тысяч своих политработников приучила ненавидеть немца во всех его вариантах. Но лингвистика Отечественной войны установила: 3-й империал начинается именно здесь, за поваленными наземь пограничными столбами с черно — желтыми надписями. До сих пор мы наблюдали случаи единичной, приватной капитуляции. В Венгрии дома выкидывали белые флаги и полицейские чиновники надевали повязки Красного Креста.

Здесь мы столкнулись с повальной капитуляцией. Целые деревни оглавлились белыми тряпками. Пожилые женщины поднимали кверху руки при встрече с человеком в красноармейской форме.

Солдаты внимательно слушали увещевания на тему о различии между Германией и Австрией и не верили им ни на йоту. Война приняла выпуклые, личные формы. Немец был немцем. Ему надо было «дать». И вот начали «давать» немцу.

В каждом селе навстречу нашим танкам выходили русские, украинцы, поляки — десять — двенадцать — пятнадцать человек.

Девушки искали земляков, и многие из них еще долго ездили в повозках комбатов и командиров рот.

В Штирии торжествовала справедливость, и каждый солдат ощущал себя ее вершителем и стражем. Древний принцип «око за око» исключил кровомщение: за редкими исключениями, австрийские крестьяне обращались со своими рабочими человечно. Поэтому работник по — хорошему прощался с хозяином, запрягал пару хозяйских коней в хозяйскую бричку, грузил туда пару хозяйских чемоданов и такое количество

продовольствия, что не спеша можно было доехать не только до Полтавской, но и до Тобольской губернии. Не спеша двигался в путь.

Убийства были очень редки, и, когда какой-то кулак спятил с ума и оказал сопротивление, все село помогало работнику-украинцу изловить его и добить.

В Граце ленинградская девушка, студентка, избивала хозяйку ресторана, на которую она работала.

Зато по всем дорогам двигались караваны бричек, тачек, телег возвращающихся на родину. Шли землячества. Случайные полицаи, по которым уже томилаась отечественная веревка, шагали вперемешку с пленными и вывезенными. В Фельдбахе, в двухстах километрах от Вены, итальянская семья спрашивала меня, можно ли пробраться в Италию через Марбург и Триест.

В то время и Марбург, и Триест были заняты немцами, но они упрямо протаскивались к фронту, толкая перед собою тачку с нехитрым барахлом. Установился неписанный закон: возвращающихся кормят австрийцы, и все придорожные деревни были объедены до последнего петуха.

В Вене было две тысячи одних бельгийцев, триста тысяч советских граждан, более миллиона иных ауслендеров.

Вавилон встал на колеса и двинулся из голодающей столицы к хлебным венгерским местам — на распределительные пункты и железнодорожные станции.

В то время в армии уже выделилась группка профессиональных кадровых насильников и мародеров. Это были люди с относительной свободой передвижения: резервисты, старшины, тыловики.

В Румынии они еще не успели развернуться как следует. В Болгарии их связывала настороженность народа, болезненность, с которой заступались за женщин. В Югославии вся армия дружно осуждала насильников. В Венгрии дисциплина дрогнула, но только здесь, в 3-й империи, они по — настоящему дорвались до белобрых баб, до их кожаных чемоданов, до их старых бочек с вином и сидром.

Целый ряд важных факторов благоприятствовал насилию. Большие на карте, австрийские деревни на местности оказывались собраниями разбросанных по холмам домов, отделенных друг от друга лесом и оврагами. Из дома в дом зачастую нельзя было услышать женский крик. В большую часть хуторов нельзя было поставить ни гарнизона, ни комендатуры. Следовательно, законодательная и исполнительная власть была здесь сосредоточена в руках первого проезжего старшины.

С другой стороны, австрийки не оказались чрезмерно

неподатливыми. Подавляющее большинство крестьянских девушек выходило замуж «испорченными». Солдаты — отпускники чувствовали себя как у Христа за пазухой. В Вене наш гид, банковский чиновник, удивлялся настойчивости и нетерпеливости русских. Он полагал, что галантности достаточно, чтобы добиться у венки всего, чего захочется.

В большинстве деревень почти не было мужчин. Тотальная мобилизация была дополнена арестом или бегством многих фольксштурмистов.

Но впереди всех факторов шествовал страх — всеобщий и беспросветный, заставлявший женщин поднимать руки кверху при встрече с солдатом, вынуждавший мужей стоять у дверей, когда насиловали их жен.

Я основательно ознакомился со всем этим в хуторке Зихауер, стоящем на проселочной дороге Кальх — Санкт — Анна, на границе Штирии и Бургенланда.

Вдвоем с Барбье мы возвращались из командировки на передовую — «для изучения настроений местного австрийского населения».

Полдня нас промурыжил бургомистр Санкт — Анны — хитрый старикашка. Он побывал в русском плену, и суждения его отличались хохлацкой медлительной раздумчивостью.

Сначала он побожился нам в своей беспартийности, а потом заметил: «Ведь вы же сами знаете, что все чиновники обязаны быть членами национал — социалистской партии».

Сейчас мы шли назад по запущенному проселку. Было очень жарко, и погребок у придорожной избушки обещал холодный яблочный сидр.

В доме нас поразило обилие женщин. На стульях, кроватях, подоконниках их сидело девять — десять — все в «опасном возрасте», точнее, в угрожаемом возрасте — от шестнадцати до сорока пяти лет. Некоторые из них тихо плакали. Другие тщетно пытались договориться с сержантом — связистом, ковырявшим дырку в оконнице, чтобы протащить сквозь нее провод.

В Австрии знание языка не производило столь решительного действия, как в Венгрии. Все же, когда заговорил мой «солдат» с великолепным швабским акцентом, когда товарищ майор тоже оказался понимающим по — немецки, — сержанта забыли и все сгрудились вокруг нас.

Подали сидр, и женщины с крестьянской вежливостью дожидались, пока мы не выпили по две кружки. Плакать начали только тогда, когда мы поблагодарили и хотели прощаться.

Я собрал в комнате десяток солдат из окрестных домов. Они стояли бледные — бледные, прямо как на допросе. За два часа я

допросил шесть девушек — необходимость переводить каждое слово замедляла работу. Остальных пришлось отправить.

Где-то в старых тетрадах у меня сохранились их имена, отдающие нескладной эстетикой сельских попов, всякие католические Параскевы и Олимпиады.

Здесь была девушка, которую изнасиловали шесть раз за последние три дня. Это была неуклюжая деревенщина — она совсем не умела прятаться. В ее тусклом взгляде я не нашел ни страдания, ни стыдливости. Все это прошло. Осталась одна усталость.

После нее допрашивалась восемнадцатилетняя вертушка. Ее настигли всего один раз. У нее есть такие места на огородах, где ее не нашла бы и родная сестра. И она засмеялась испуганным коротким смехом.

Одни отчитывались обстоятельно и толково — не как на исповеди, а как перед доктором. Другие плакали навзрыд, тосковали об окончательности, необратимости происшедшего.

Но больше всего мне запомнилась одна фраза. Ее сказала вертушка Анжелика. Это были слова: «Нас гоняют как зайцев!

«Да, именно как зайцев — все обрадованно закивали головами. Они были слишком измучены, чтобы осмыслять происшедшее, но его эстетическая формула была уже найдена. И какая точная — нас гоняют как зайцев.

Приходят в два часа ночи, в три, в четыре. Стучат в дверь: «Давай! Открой!»

Потом выбивают оконные стекла, влезают вовнутрь. Набрасываются на нас тут же в общей спальне. Хоть бы выгоняли стариков в другую комнату.

«Мы теперь совсем не спим дома. Выкопали себе ямки в стогах. Пока тепло — хорошо, а как же будет осенью?»

Уходя, я не давал никаких обещаний, но меня провожали всем хутором, до околицы.

Солдатам я сказал не по закону, а по человечеству: «Ну что, стыдно? Смотрите же».

И скептик Барбье говорил мне потом, что эти солдаты уже не позволят никому обижать девушек в Зихауере.

Через два дня я докладывал начальству о женщинах Зихауера. Генералы сидели внимательные и серьезные, слушали каждое слово.

Прошло время, когда мой сигнал о попытке изнасилования истолковывался как клевета на Красную Армию. Дело шло о политическом проигрыше Австрии.

Из Москвы поступали телеграммы — жестокие, определенные. Но и без них накапливались самые сокро-

элементы партийности, выработанного интернационализма, от которого не отделаешься, человечности.

По этому докладу были приняты серьезные меры.

Чистка

В начале июня мы уже выключились из государственной деятельности и ждали отъезда. Стояла хорошая погода. Местные гурманы ликовали. Открылись кафе, отлично отделанные — мрамором, орехом, зеркалами. Временно в них подавали только продукты неорганического происхождения — черный кофе без сахара, минеральную воду из окрестных гор.

В то время Грац был одним из многих европейских городов, сочетавших изобилие асфальтированных улиц с отсутствием автомобильного движения. Ежедневно я час — два фланировал на велосипеде по пустым улицам, слегка заглядывал под шляпки, раскланивался со знакомыми, изредка навещал друзей. Траектория моя была хорошо известна полицейским, и полицей — президент Розенвирт ручался, что найдет меня, когда садился в свой «штеер».

Он двигался по принципу торпеды, сужая понемногу спирали. Около восьми часов вечера я взорвался. Положение было очень серьезным.

В десять должны были собраться новые полицейские — двести коммунистов, двести социал — демократов, сто «христиан» из народной партии. В эту ночь им предстояло произвести единовременные аресты всего фашистского актива города — более полутора тысяч человек, согласно спискам. С десяти до одиннадцати должна была пройти раздача винтовок. С одиннадцати до двенадцати — пропагандная обработка златоустаами трех партий. В полночь — выступление. Подведение итогов — с рассветом.

Отсрочить акцию было невозможно — о ней уже пронюхали, и наутро предполагался массовый уход фашистов в горы под предлогом обычной воскресной экскурсии.

Однако было уже восемь часов. Комендант, выпустивший из виду данные им обещания, совсем по — гоголевски ускакал инспектировать низы.

Предстоял сущий позор — не было разрешения Военного Совета на аресты, не было увязки с гарнизоном, который мог по — своему прореагировать на появление в городе, только что сдавшем алебарды и мушкеты, пятисот вооруженных австрийцев.

И самое главное — не было оружия. Правда, у руководящих товарищей брючные карманы конспиративно топырились

браунингами, но это не решало вопроса.

Добывание оружия оказалось наиболее любопытным звеном операции. Упирающихся артснабженцев сняли с футбольного поля. Лучшие ораторы комендатуры электризовали их обещаниями ликера из комендантской столовой. Потом представителей революционной полиции повезли на склад. Еще неделю тому назад они слушали, как подполковник Винкерер говорил мне: «Наиболее показательно то, что я, военный министр Австрийской республики, не имею револьвера».

А сейчас эти делегаты обезоруженной демократии с наслаждением втягивали запахи ружейного масла — перед ними из штабелей дружно воняли двадцать тысяч немецких ружей. Здесь в бывшем манеже сдавала оружие капитулировавшая 2-я танковая армия немцев.

Мы сторговались на двухстах винтовках, полутора тысячах патронов. Я уехал звонить в гарнизон. Выдача оружия началась ровно в десять.

Когда я пришел в полицей — президиум, операция была уже в разгаре.

Двести коммунистов, плюс двести социал — демократов, плюс сто христиан, плюс пятьдесят кадровых полицейских были разбиты на сто десять групп по пять человек в каждой. Оружие доверялось только партийцам. Огромный план Граца был расчерчен. На сто десять клеточек. В президиуме никто и не подумал о возможности путаницы, точно так же, как там и не учитывали даже возможности опоздания на сбор новых полицейских.

Мы сидим за круглым столом под отличными копиями старых мастеров. Здесь весь штаб операции: обкомовцы, профсоюзные лидеры, сухонький умный Штейнер — канцлер епископата.

Социал — демократы с торжеством показывают мне «наши» списки фашистов. Они самые обширные. Потихоньку они ябедничают на «христиан», оказавшихся неуместно лаконичными. Штейнер презрительно поджимает тощенькие губы, частит «промытые морщинки» — сам князь — епископ конфиденциально благословил операцию. Это поважнее списков.

Учитывая католическое рвение епископа, я осведомляюсь, не слишком ли много в списках евангелических попов.

Все нервно напряжены. Для жителей города, взятого без боя, это, быть может, самое сильное переживание в жизни.

Кто-то тянется к телефону. Его останавливают. Все линии выключены. Связь осуществляется только велосипедистами.

В три часа приезжает взволнованный Розенвирт. Все идет

отлично. По шести участкам (из девятнадцати) уже более трехсот арестованных — блокляйтеры, крайзляйтеры, чины гестапо, уродливые старухи из «Зимней помощи», отставной генерал немецкой армии.

Бесшумные полицейские накрывают стол. На скатерти пятьсот граммов хлеба — недельный паек взрослого горожанина, сыр, старое, кинжального действия шампанское.

И мы сентиментально пьем за нашу общую платформу — за свободу, за справедливость, за успех операции.

В пять часов утра в президиум начинают прибегать жены: глупые — с жалобами, умные — с передачами. Всё в порядке. Можно ложиться спать.

В городе, получившем официальное название «Град народного подъема», среди двадцати тысяч нацистской партийной организации, среди тысячи трехсот арестованных нашелся один человек, который оказал сопротивление при аресте. Этот малярный подмастерье, как и его герой, девятнадцати лет, не призывался; католического вероисповедания. Дал два выстрела по полицейскому. Бежал. Застрелился в подворотне под надписью: «Останавливаться воспрещается».

Можно ложиться спать. Меня укладывают в кабинет Хочева, вице — президента, коммуниста, моей креатуры. Сквозь сон я слышу его шепот: «Мне обещали для вас автограф Гиммлера. Это большая редкость. Он (в голосе Хочева слышится профессиональное уважение) не расписывался, как Геббельс, для каждого встречного»

Однажды утром ко мне подошел невысокий, сухой человек. Его серый госпитальный халатец скудно прикрывал солдатское звание. Он обратился ко мне с неслыханной просьбой: «Товарищ капитан, разрешите рассказать вам свою жизнь». Через пять минут мы уже сидели под дальним кустом и рядовой Гершельман, оглядываясь по сторонам, начал рассказ.

— Я служил в Харькове, знал вашего папу. Двадцать два года был членом партии. Хорошо жил. Много лет заведовал типографией. Женился на русской. У меня дочка Катя тринадцати лет. Хорошо жил, — повторил он задумчиво, — совсем забыл, что я еврей. В июле 1941 года пошел в ополчение. Дослужился до политрука роты, был в боях. Потом вся наша армия попала в окружение. Я был тогда неподалеку от штаба армии. Здесь было хорошо видно, как это делается. Сначала мотоциклисты отсекали штаб от части. Они уже не стреляли, и наши командиры тоже не стреляли, только дрожали от напряжения. Потом установившиеся отношения — чинопочитания, долга — начали расползаться. Было заметно, как люди отходят от старых центров. Образовались новые центры, вокруг людей неизвестных, но теперь говоривших громче и громче. Хозчасть, столовая еще работали — по инерции. Потом приехал немецкий офицер, один, без охраны, и все узнали, что они уже не штаб, не политотдел, не воинская часть, а пленные, просто много пленных. Скоро всех отправят в лагерь.

Из всеобщей неизвестности начали проясняться судьбы евреев, контрразведчиков, комиссаров. Многие открыто, на глазах у всех, рвали партийные билеты. Другие так же открыто, до смешного открыто, закапывали документы под приметные столбики, отдельно растущие деревья, морщили лоб, запоминали.

Я все присматривался к группе начальства, молодым евреям, очень красивым, с двумя — тремя шпалами. Их уже заметно обходили, но смеяться боялись. Помимо инерции голода, поддерживавшей бытие столовых, продолжала действовать и инерция страха.

Внезапно шесть человек отошли в сторону — ровно на столько, чтобы иметь вокруг себя воздух. Поцеловались друг с другом. Затем — вырывали из кобур наганы, били себя в виски холодными дулами, так что шумок удара сливался с ударом выстрела. Другие подолгу гляделись в кружок с коронкой мушки

и, когда последний пот покрывал уже лоб, били наверняка.

Коллективное самоубийство взвинтило офицеров. Послышались еще выстрелы — единичные. В палатке начальника политотдела кто-то безутешно, не прячась, рыдал. А со всех сторон подходили уже немцы — зеленые и молчаливые. Нас окружали, сталкивали в одну кучу. Стреляться было все равно поздно, и у меня не было ничего, кроме винтовки, а что значит стреляться из винтовки — черная работа. Я подумал — выползу как-нибудь, но я думал вперед на два дня, много — на три и боялся думать дальше. Я хорошо говорю по — украински, знаю все местности от Киева до Харькова, у меня много друзей в селах. Я думал: «Выползу», — и у меня отлегло от сердца.

Когда немцы сформировали колонны для отправки на регистрационный пункт, я стал в одну из них. Молчал всю дорогу. Придумал себе имя — Григорий Михайлович Москаленко; меня зовут Григорий Моисеевич, но на работе называли Григорием Михайловичем, особенно русские. Больше всего боялся выдать себя по рассеянности. Три дня мы жили на колхозном дворе. Осмелели. Начали делиться друг с другом. Был такой ординарец — он все не отходил от своего полкового комиссара, больного старика.

На четвертый день приехали немцы — регистрировать и распределять по лагерям. Сначала отбирали евреев. Помню, как отчаянно кричал армянин — врач, когда его заталкивали в кучу, где молчаливо стояли наши. Затолкали.

Я не признался, сжался в уголочке, переждал.

Регистрировали три человека, украинец из петлюровцев, девушка с милым лицом и равнодушный немец. Столики стояли рядом. Хвост общий. Я понял: попаду к петлюровцу — пропал, он уже нашел двух наших. Попаду к немцу или девушке — спасен, мой козырь. Считаю хвост, делю на три, путаюсь, опять начинаю считать. Наконец, все ясно, осталось два человека, я попадаю к петлюровцу. Тогда незаметно распускаю обмотку, отхожу в сторону, долго — долго перематываю ее. Потом иду — прямо к девушке. Слышу откуда-то: имя, отчество? И потом свой голос: Григорий Михайлович Москаленко. Прошел?

Я назвался железнодорожником с Киевского вокзала — таких отпускали в первую очередь. Через два часа я уже шагал по дороге на Киев, показывая немецким патрулям свеженькие документы.

В Киеве я жил шесть лет. Имел много друзей среди русских, украинцев. Помогал им. Они помогали мне. Там оставались жена и дочь. Сейчас в уме вставляли все знакомые. Я мысленно спрашивал у каждого: «Пустишь? Дашь переодеться?» Идти к

семье в центр города в красноармейской форме было невозможно.

Подумав, я решил направиться к рельсовому осматрщику Пасечнику, жившему на краю города. Я знал его уже много лет, встречался с ним раз шесть или восемь в месяц, и он всегда казался мне хорошим человеком, порядочным, иначе не скажешь. Это был совсем старый старичок, пыльный. О евреях такого склада говорят: паршивенький. Но Пасечник был не еврей, и я мог идти в его дом. Уже темнело, когда я постучал в окошко, — робко — робко, чтобы никого не рассердить. Старик выглянул и отшатнулся: «Грицко, ты? Уходи скорей — себя погубишь и меня погубишь. Вашего брата по всему городу ищут». Но я понимал, что старик не выгонит меня. Кроме того, идти было больше некуда. И я сказал: «Возьми у меня все, век тебе служить буду. Но мне нужно переодеться и идти в центр к семье. Я ничего не могу делать, пока не узнаю, что с семьей».

Наступали новые времена, рабские времена. Потом, когда я вспоминал Пасечника, я думал, что мои слова о вечной службе могли показаться не брехней, а обязательством.

Из-за стариковой спины выглядывала Пасечниха — дебилая баба, разевшаяся на картошке с подсолнечным маслом со своего огорода. Она совсем осовела от страха и только твердила: «Гоны жыда! Гоны жыда!» И все же я переночевал у старика и наутро получил у него старый костюм и штиблеты. Я вынул три тридцатки (из пяти бывших у меня), но старик отказался. Страх соскочил с него, и он хотел делать свое святое дело свято до конца.

Позже немцы запретили эти тридцатки с портретами Ленина и разрешали только мелкие купюры — с изображением рабочего и крестьянина. Такая у них была политика.

Пасечник рассказал мне, как собирали списки евреев через управдома и «актив» соседей; как шла истерическая торговля за выкрестов, за еврейских жен христианских мужей; как шли евреи по улице — не стройной колонной, а нескончаемой очередью, хвостом — в лавку, где выдавали смерть.

Я попрощался и без надежды побрел к себе домой. Мы жили на третьем этаже. Во дворе мне никто не встретился. Взяв лестницу, я увидел, что дверь открыта, в комнатах все перевернуто, лак с гардероба содран большими полосами.

На шум вышла Кондратьевна — соседка, серьезная старуха. Она только покачала головой: «Ну, Григорий Моисеевич, ты счастливый человек. Твоя женка уехала с последним эшелонem в Ташкент — туда теперь все ваши едут». Так у меня появилась первая цель в жизни — выжить, дожидаться, повидать жену и Катю.

Еще она рассказала мне, что управдомом над тремя улицами

назначен Корсунский. Это был *тот* еврей. В Киеве его считали за одессита. Высокий, представительный, в очках, похожий на профессора, он занимался подозрительными коммерческими операциями и редактировал домовую стенгазету, жил в ладу со всем местным начальством. Сейчас он додумался до невероятной вещи — назвал себя караимом, говорил с каким-то ученым немцем и получил охрannую грамоту, к большой злобе своих соседей.

Я уже спускался с лестницы, направляясь к Корсунскому, как вдруг на меня бросилась женщина, знакомая, жившая в этом же дворе. «А, еврей, — закричала она, — за барахлом пришел, в гестапе твое барахло», — и крикнула мальчишке во двор, чтоб бежал за немцами жида забирать. «Анна Романовна!» — сказал я ей тихо. До этого я никогда не называл ее Анна Романовна, и никто во дворе так ее не называл — все знали ее как проститутку, в сорок пять лет она спала с каждым за пятерку, и сын ее, матрос, приехавший в отпуск, отказался от нее и пошел ночевать к соседям, на другое утро уехал обратно на корабль.

Но я сказал: «Анна Романовна!» — и слеза пошла откуда-то снизу в голову, и ноги подкосились, и я понял: еще немного, и я, член партии, член горсовета, заслуженный человек, упаду на колени и буду молить ее о жизни, еще немного пожить на белом свете.

Но по лестнице уже бежал дворник, и я вырвал у нее рукав, ударил по лицу и выпрыгнул из окна, со второго этажа, побежал по улице. А за мной гнались дворник, соседка и мальчишка и кричали: «Жид! Жид! Держи жида!» И еще два года с тех пор я все бегал по улицам и слышал за своей спиной: «Жид! Жид! Держи жида!» Но прохожие не помогали меня ловить. Мне казалось, что многие смотрели на меня с грустью.

Через два часа я сидел на квартире у Корсунского, пил чай с молоком. Весь шик соскочил с этого человека, и он в самом деле походил на пожилого профессора. До войны мы не ладили друг с другом. Я всегда считал, что еврей должен работать, а не торговать — и так все кричат, что мы коммерческая нация. Но сейчас мы сидели друг против друга как братья. Я понимал, что могу многое от него потребовать. Он знал, что я не запрошу лишнего и надо дать все, что я запрошу.

— Положение таково, — сказал Корсунский. — Немцы раздали жителям пятьдесят тысяч комплектов имущества бежавших и расстрелянных евреев, пятьдесят тысяч комплектов мебели, белья, плюс столовая посуда, плюс кухонная посуда. На место вашего актива они посадили свой актив — комитеты по розподилу жидивского майна. Кстати, там много ваших

активистов. Еще месяца два, пока не возьмут Харьков, — Корсунский был уверен, что Харьков возьмут, — по шоссе будут ходить патрули. Эти два месяца сиди здесь. Свяжись с комитетом по розподилу. Документы у тебя есть. Тебе дадут квартиру, может быть две. Их так много, что успели собрать только вершки — часы, отрезы, кожаные пальто. За два месяца ты наторгуешь на базаре достаточно, чтобы перейти фронт.

Потом он вытолкнул меня из дверей, сунул на прощанье пачку бумажек. Там оказалось две тысячи рублей — тридцатками.

Комитет по розподилу состоял из шести старичков — аккуратных, вежливых: корректора, бухгалтера, мастера из портновских артелей. За тысячу двести рублей мне дали две квартиры — Шапиро и Бронштейна. Всего пять комнат. К счастью, я не знал ни того, ни другого. Я должен был составить опись имущества, главным образом малоподвижного, — тряпки никто не учитывал. Трижды комитетчики собирались на одной из моих квартир. Ели мед, пили чай с блюдечка, чистенькие, в очках и сюртуках. Потом утверждали составленные мною списки, назначали несуразно низкие цены на ковры, на пианино, на книги — двадцать пять процентов разницы шло им, остальное брал я — за работу. Понемногу обе квартиры перекочевали на рынок. Сначала меня бросали в дрожь белые надверные наклейки: «Бронштейн — жидивске майно» и «Шапиро — жидивске майно». Потом привык. Через месяц у меня были подготовлены два костюма, итальянский заплочный мешок, шесть тысяч рублей советскими деньгами, кое — какие ценности в золоте. С этим я предполагал идти в Харьков, где жила теща — русская и ее сыновья. Мой уход был ускорен визитом одного из комитетских старичков. Он пришел пьяненький, посмотрел на меня, присел — в то время я уже разбелся и начинал терять угодливость. Он сказал: «Григорий Михайлович, Григорий Михайлович, а не из евреев ли вы будете, Григорий Михайлович?» Я засмеялся и сказал, что в Полтаве у меня мать и две сестры — их весь город знает, и что я сам пострадал от евреев, и дал ему шестьсот рублей деньгами и часы.

Через полчаса я уже шагал по малолюдным улицам. По дороге зашел к Корсунскому, постучался и вдруг отшатнулся, заметив белую надверную наклейку: «Корсунский — жидивске майно».

В начале января я пришел в Харьков.

В то время Харьков был наполовину пустым городом. Продолжительность его обороны дала возможность выехать всем, кто этого хотел. Еврейские трупы уже гнили в Лосевских карьерах. Уцелевшие жители расползались по всей Украине с

тачками, ручными тележками — в городе был голод. Только на следующий год горожане додумались сеять спасительную кукурузу. В первую же военную зиму тысячи и тысячи угасли в нетопленных квартирах. Мужчины пухли, надолго теряли половую потенцию. Женщины шли на улицу, где шныряли немецкие офицеры, приехавшие с близких позиций, и по всему фронту от Орла до Ростова гуляла слава о Кузнецкой улице — улице солдатских борделей и иных гостеприимных домов.

Еще долго, много недель после второго освобождения Харькова, девушки прятали парижские прически под скромные платочки, разучивались говорить по — немецки, вспоминали, как ночами плакали на сборных пунктах отправки в Германию, как внезапно налетали их друзья эсэсовцы, снимали армейскую охрану, в темноте водили фонариками по заплаканным личикам, увозили своих подруг в казармы.

Была провозглашена свободная торговля. Возникли торговые артели. Вербовались осведомители, и их глухо ненавидело коренное население. Чиновники городской управы выпросили у коменданта десять грузовых машин, послали их с еврейским барахлом на Полтавщину менять на продукты. Старшим колонны был назначен некто Яценко, маленький человек, кассир. Через два месяца он вернулся миллионером, скупал дома, развернул большую валютную торговлю. Таких миллионеров в Харькове считалось пять — шесть человек.

Пусто было в Харькове. Я заходил в дома. Звонил. Обрывал ручки — так, что три этажа гудели, как от колокола. Из какого-нибудь чердака выползала старушка, шептала: «Все уехали...», или «Все посажены...», или «Всех в овраг стащили».

Ночевать я пошел на Ключковскую, где жила теща Мария Павловна с взрослым сыном Павликом. Она слабо всплеснула руками и смотрела так жалко и голодно, что я подумал: «Ведь есть люди, которые еще несчастнее, чем я». Вошел юноша — сын, Павлик, до войны он часто брал у меня денег — на пиво. Но сейчас я встал и вытянулся перед ним.

«Уходи, жид, — сказал Павлик. — Даю тебе тридцать минут срока. После этого иду в полицию». Он заметил время на часах, и я понял, что он все решил, давно и бесповоротно, что не надо говорить ни о Боге, ни о родстве, а надо уходить в метель и ночь. И я поклонился Марии Павловне — низко, в ноги, и вежливо сказал юноше: «До свиданья», — и ушел, не дожидаясь, пока пройдут эти тридцать минут.

Всю ночь я ходил по Холодной горе, где не было патрулей. Я думал о том, что у меня нет зла на Марию Павловну. И я понял, что у меня есть еще одна цель в жизни — самая важная. Когда-

нибудь, когда вернется Красная Армия, пройти по Харькову, Киеву, всей Украине — везде, где меня гнали и еще будут гнать. Постучать в каждое знакомое окно. Наградить всех, кто помог мне — хлебом, молчанием, добрым словом. Наказать всех, кто предал меня, отказал мне — в хлебе, молчании, добром слове.

Наутро, измучившись и намерзшись, я зашел в чайную. Здесь разговорился с группой молодых женщин — солдаток, собиравшихся на Полтавщину на менки. Часа в четыре, поспав немного, я уже шагал с шестью бабами по Змиевскому шоссе.

На выходе из города у меня произошла встреча, которой я никогда не забуду. Это был Савелий Андреевич Н., директор большой типографии, у которого я работал много лет.

Бабочки отошли в сторону, а Савелий Андреевич наскоро, оглядываясь по сторонам, поведал мне мысли, самые важные из тех, что он выносил за последние три месяца.

— Я понял, что немцы пришли сюда не на годы. Навсегда. Сопротивляться им бесполезно и неправильно. С ними надо жить. Конечно, вам как еврею это трудно. А я решил окончательно — иду работать в управу.

Я смотрел на этого упитанного, хорошо одетого человека и думал: «Мы долго работали вместе, и ты был главнее меня, и мне казалось, что это потому, что ты украинец, а я еврей. И при встрече я кланялся тебе, а ты слегка кивал головой. И сейчас я ничтожный из ничтожных, шепка в море, паршивый еврей, но я больше тебя и честнее, Савелий Андреевич». И я посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Не исключено, что дела у советской власти обернутся не так, как вы это предполагаете!» И мы разошлись в разные стороны.

Три месяца я ходил по Полтавщине, менял, изредка поторговывал, ожидал весны, чтобы перейти фронт через «зеленую границу». Обтерпелся, стал хитрее, осторожнее. Однажды в феврале спяну залез на одну из солдаток, и так мы прожили с ней до апреля. В апреле ночью женщина со смехом сказала мне: «А ты еврей — хоть и не прячься — я все подсмотрела». Мы посмеялись вместе, а часа через два, дождавшись, пока она заснула, я собрал остатки вещичек и ушел куда глаза глядят. Не верил я никому, не такое было время, чтобы верить. Тогда уже подсохло, ночевать можно было в лесу. Я выбрал себе товарища — молодого харьковского рабочего и пошел к фронту. Две недели мы слонялись вдоль Донца, отчаялись и разошлись. По дороге нам встретилась группа переходчиков — три молодых еврея, типичных, изнеженных, с ободранными до крови ногами. Таких обычно ловили за двадцать километров от линии фронта. В лучшем случае они подрывались

на минах.

В июне фронт ушел далеко на восток, и я осел в «приймаках» в Красноградском районе, где у меня еще с зимы завязались торговые связи. Таких «приймаков» было множество по всей Украине — от Чернигова до Балты. Великороссы, окруженцы, удачники, удравшие из лагерей, иногда — большие офицеры, очень редко евреи — они вошли в быт украинского села сплоченной группой. Украинская полиция боялась с ними связываться. Многие из них переженились с солдатками и девками, в церкви либо «просто так». У «приймаков» не принято было расспрашивать, как и что. Не спрашивали и у меня. Моя «жинка» была смешливая вдовушка, лет двадцати восьми, с двумя детьми, сестра сельского кузнеца, известного силача и коммерсанта. Прожил я с ней всего четыре месяца.

Однажды я впервые посетил Красноград — покупал соль. Проходил мимо управы, заметил маленького белобородого старичка. Лапсердачок и специфическое устройство профиля свидетельствовали, что он еврей, и притом еврей, не скрывающий своего происхождения. Я бросился к нему, оставив всякую осторожность. Мы зашли в каморку в управском подвале. Здесь я услышал историю красноградских евреев.

Когда пришли немцы, они вышли навстречу — встречать культурных людей. Раввин был впереди с хлебом и солью. Это удивило и заинтересовало немцев. Комендант собрал всю общину — сто двадцать человек — и сказал, что Гитлер не забудет встречи, оказанной немецким войскам евреями Краснограда. «У нас отобрали имущество, переселили в гетто. Но мы живы. И все-таки было бы лучше, если б мы не ходили с хлебом — солью».

На подходе к одной деревне мне сказали, что приезжала вдовушка, с которой я жил зимою. У меня екнуло сердце. Вскоре прибежал мальчик — кузнец звал меня в гости.

Он сидел один — под образами, на столе стояла бутылка с самогонном.

— Так що, Григорий Михайлович, мне стало известно, что ты еврей. Доносить на тебя мы не пойдем — не таковские люди. Ты нас не обижал — мы тебя не тронем. Остаться тебе здесь нельзя. Узнают — не помилуют ни тебя, ни сестру. То, что ты спал с женщиной четыре месяца — так ты вещички оставь и часов три пары — тоже оставь. Пинжак можешь взять от холоду.

Мы выпили по стакану и разошлись по — хорошему. Стояла поздняя осень, и в «пинжаке», не зная, куда пойти, я чувствовал себя несчастным и сиротливым. Помыкавшись по дворам, устроился на сахарный завод, километрах в пятидесяти от Краснограда.

Жить пришлось в общежитии, мыться — в общей бане. Много суббот я изворачивался, подгонял свое дежурство под «мыльный день», топил баню и мылся последним. Однажды поздно вечером, когда я уже собирался одеваться, в баню вбежал Петро — мой сосед по комнате. Он сунулся ко мне с фонариком и с торжеством закричал: «Жид! Так и знал, что жид!» — и выбежал из комнаты.

Петро кончил десятилетку, читал власовские книжки, писал украинские стихи. На заводе его боялись, считали сексотом. Я понял, что мне несдобровать. Приходилось снова бросать все и уходить куда глаза глядят. Но полтора года мытарства не прошли даром. Во всем теле была теплая, вязкая усталость. Я решил: будь что будет. Утром меня разбудили полицейские. Повели в районный центр — к начальнику полиции. Начальник спокойно выслушал мои клятвы и приказал: отвести в больницу для «научного освидетельствования жидивства».

В больнице меня втолкнули в кабинет, где распоряжалась молодая женщина — жена начальника полиции.

Когда я увидел ее глаза, услышал вежливое предложение раздеться, когда предсмертный холодок задул мне в уши, заполз за пазуху, я понял: сейчас или никогда. Упал на колени, пополз, по — библейски обнимая ее ноги, зарыдал беззвучно, сказал: «Не надо осматривать. Да, я еврей. Спасите меня!»

Эта женщина окончила институт перед самой войной. Приехала к родным и была взята замуж первым человеком в местечке — начальником полиции. И сейчас с девичьим смущением она успокаивала меня, подымала с колен. Потом вздохнула глубоко, заполнила стандартную справку и сказала: «Теперь бегите — завтра же, сегодня же — иначе мы оба погибнем!» В ту же ночь я бежал с завода.

И вот сейчас мы сидим с вами, товарищ капитан, но я хочу добраться до этой больницы, прийти в НКВД, в совет, сказать: «Эта женщина не только жена начальника полиции, она человек, она спасла мне жизнь!»

Остальное не так интересно.

Я снова пошел в «приимы». В третий раз. Жил сначала за батрака, потом за мужа.

В августе услышал приближающуюся канонаду и ушел на восток. Через два дня я встретил нашу разведку. И я бросился к ним и заплакал, они смеялись и говорили: «Здравствуй, дед!» А мне сорок пять лет, товарищ капитан, а тогда было сорок четыре. И я рассказал им, что я еврей и про свои мучения. И они сказали мне: «Евреи тоже люди».

Сейчас я служу пекарем на дивизионном хлебозаводе, но хочу во что бы то ни стало уйти на передовую. Мстить. Выжить.

Вернуться и пройти по деревням, постучать в окна, воздать всем — за благодетель и за злодеяния.

И знаете, что я вам скажу о народе, если подбить итог? Таких, что помогали мне, было в десять раз больше, чем таких, что продавали, товарищ капитан.

* * *

В Австрии я столкнулся с иной оценкой отношения русского человека к еврейскому.

В маленькой штирийской деревушке жила женщина — венская еврейка, два года прятавшаяся здесь от полиции. Ее не выдавали, даже подкармливали — сказывались традиционная крестьянская порядочность и жалость к ее трехлетнему мальчику. Эти чувства перебарывали нелюбовь к евреям.

Это была бесцветная женщина, с вялой кожей и тускло — рыжими обеззолоченными волосами. Мне всегда казалось, что между жизнерадостными одесситами и рахитичными литваками не может быть расовой общности и что одни происходят от черномазых завоевателей Ханаана, а другие — от бедных филистимлян, захиревших в рабстве.

Она говорит однообразно и скучно. Наверное, ее немецкий язык смахивает на перевод с иностранного. Впрочем, я недостаточно знаю немецкий язык.

Однако послушаем, *что она говорит*: «Я часто слушала радио и хорошо знаю о Красной Армии. Я ждала вас. И я всю жизнь любила только одного мужчину. А сейчас мне приходится спать с каждым солдатом, который проходит через деревню. По его первому слову».

Она отходит в угол, и ее лицо окончательно обезображивается рыданиями.

* * *

Осенью 1944 года я был свидетелем двух трактовок еврейского вопроса.

Начальство принимало доклады руководителей политотделов. Один из начподивов, Пузанов, молодой и резвый человек, с глупинкой, доложил, что с целью укрепления дисциплины дивизионный трибунал осудил на смерть двух дезертиров. Когда он зачитал их анкетные данные, у меня упало сердце: один из двух был бесспорным галицийским евреем.

Пузанов жаловался на армейский трибунал, отменивший приговор. Генерал посмотрел на него государственным и презрительным взглядом:

— Ваш приговор отменен нами, Военным Советом. Читали ли вы последнее письмо осужденного? Он воюет с начала войны, дважды ранен, и каждый день солдаты говорили ему: «Из всей вашей нации ты один здесь остался». Эх, вы, политики, — закончил генерал, — нашли одного еврея на передовой, да и того хотите перед строем расстрелять. Что скажет дивизия?

Характерно, что Пузанов, возражая ему, говорил о том, что у него много замечательных, прекрасно воюющих евреев.

Таким образом, довоенный рабфаковский интернационализм столкнулся с государственной умудренностью мародерного времени.

Я был единственным евреем, присутствовавшим при этой сцене.

Война принесла нам широкое распространение национализма в сквернейшем, наступательном, шовинистском варианте. Вызов духов прошлого оказался опасной процедурой. Выяснилось, что у Суворова есть обратная сторона, и эта сторона называется Костюшко. Странно электризовать татарскую республику воспоминаниями о Донском и Мамае. Военное смешение языков привело прежде всего к тому, что народы «от молдавана до финна» — перезнакомились.

Не всегда они улучшали мнение друг о друге после этого знакомства.

Оглядевшись и прислушавшись, русский крестьянин установил бесспорный факт: он воюет больше всех, лучше всех, вернее всех.

Конечно, никто не учитывал отсутствия военно — исторических традиций у евреев, казахов, узбеков, большинства народностей Союза, новизну для них солдатского ремесла — факт основополагающего значения. Забыли также отсутствие машинных, индустриальных навыков у казаха, киргиза, мордовского либо чувашского мужика. Между тем, башкир, простреливший себе руку, обмотав ее наспех портянкой, сплошь и рядом испытывал ощущение степного полудикого человека, внезапно попавшего в ад — в ад сложных и шумных машин, непривычных для него масс людей, неожиданной для него быстроты в смене впечатлений. И он противопоставлял свои способы спасения мефистофельской опытности военюристов и военврачей.

Добавим непривычку большинства южан к климатическим стандартам этой войны.

Результатом этого неучета и забвения явилось определенное противоречие, возникшее между русскими и многими иными. Лейтенанты пренебрегали своими непонятливыми солдатами. Именно тогда бывших «мальчиков», «палочек», «спичек» стали честить «елдашами» и «славянами», причем под последними подразумевались турки и монголы. Уже к концу первого года войны военкоматы выволокли на передовую наиболее дремучие элементы союзных окраин — безграмотных, не понимающих по — русски, стопроцентно внеурбанистических кочевников. Роты, составленные из них, напоминали войско Чингиза или Тимура — косоглазое, широкоскулое и многоязычное, а командиры рот — плантаторов и мучеников сразу, надсмотрщиков на строительстве вавилонской башни на другой день после смешения языков.

Офицеры отказывались принимать нацменов. Зимой 1942 года в 108-ю дивизию подбросили пополнение — кавказских горцев. Сначала все были восхищены тем, что они укрепляли на ветке гривенник, стреляли и попадали. Так в то время не стрелял никто. Снайперов повели в окопы. На другой день случайная мина убила одного из них. Десяток земляков собрался возле его трупa. Громко молились, причитали, потом понесли — все сразу. Начались дезертирства и переходы. Провинившиеся бросались на колени перед офицерами и жалко, отвратительно для русского человека целовали руки. Лгали. Мы все измучились с ними. Нередко реагировали рукоприкладством. Помню абхазца с удивительной японской фамилией, совсем дикого, который ни в какую не хотел служить. Трудно было пугать прокуратурой людей, не имевших представления об элементарной законности. Абхазец по — детски плакал, выпрашивал супу на дальних кухнях. Командиры рот в наказание поучали его поочередно. Бить его, впрочем, считалось зазорным.

Наша низовая пропаганда часто ошибалась на этих дорогах. Восхваляли все русское и мало говорили о своих героях — нацменах — прорусских и антинемецких. Часто политработники подпевали шовинизму строевых офицеров и солдат.

Шовинизм распространялся не только на восток и юг, но и на север и запад. Нежелательным элементом считались поляки, эсты, латыши, хотя отчисление их из дивизий объяснялось формированием соответствующих национальных соединений. На южных фронтах недоверчиво относились к молдаванам, калмыкам.

Был интернационализм, потом стал интернационализм минус фрицы, сейчас окончательно рушилась светлая легенда о том, что «нет плохих наций, есть плохие люди и классы». Слишком уж много стало минусов.

Все это привело к объективному и субъективному разматыванию клубочка национализма.

Но к концу войны самые невоенные нации научились воевать. Уже летом 1943 года дало сносные результаты введение в бой Степного фронта, составленного в значительной степени из степняков Северного Туркестана. Выжившие с начала войны казахи и другие нацмены приучились не только ругаться, но и изъясняться по — русски, вообще говоря, акклиматизировались в окопах. Степняки привыкли к механизмам. Появились и были замечены «хорошо воевавшие» нацменьшинства. Совместное наступление сгладило, а позже стерло общий страх перед фрицем и повысило самоуважение, сначала общее, потом взаимное. Народы сжились — в расчетах, отделениях, экипажах танков и самолетов — и посмеивались друг над другом уважительнее, чем раньше. Наша пропаганда дошла до национальных фронтовых газет, массовой засылки на фронт литературы на национальных языках, наконец, до внештатных инструкторов по работе среди нацменьшинств. Заработали извечные качества русского человека — его антишовинизм. Это, в свою очередь, приблизило его к нацменам. Заграничный поход способствовал сплочению всех наций.

Как же шло вживание в армию евреев?

Осенью 1944 года было закончено обмундирование и первичное обучение еврейской бригады 8-й английской армии. Их выстроили на плацу. Из двенадцати колен воинов, вышедших в свое время из Египта, уцелело совсем немного — одна бригада.

И вот впервые за два тысячелетия прозвучала команда на древнееврейском языке: «Смирно!» Американский журналист Луи Голдинг рассказывает о слезах, выступивших на глазах солдат, — все круги Майданека прошли перед ними. Евреи еще не думали о желанной земле Ханаанской — туда они ворвались в марте 1945 года, а пока они оккупировали Любек. Они вспоминали сорок лет пустыни. Традиции боя, войны не было. Их предстояло создать.

Один из дикторов дивизионной агитационной громкоговорящей установки Юрка Каганович, юноша, студент Киевского литфака (наверно, писал неплохие стихи), отпросился на работу в разведроту. Это был вспыльчивый и замкнутый человек. На работе, на территории противника, он бросался с кулаками на неподчинявшихся разведчиков, слабыми кулачками бил их по лицу и по глазам.

В 1944 году, когда армия три недели находилась в блаженном неведении о противнике и разведчикам трижды в день обещали штрафные роты и разлитое море водки, он прокрался в окопы противника, окликнул на хорошем немецком языке

заносимого метелью часового и, заткнув ему глотку, долго, вместе с тремя разведчиками из группы захвата, лупил, приводя в состояние, удобное для переноски через минные поля. За три месяца взял семь языков. Работа целой разведроты (при этом удачливой)! Был горд и надменен. За полгода получил четыре ордена — редкий случай и для командиров дивизий. Возмущался избиением пленных на допросах. Резко изменился, стал беспощадным к фрицам, расстреливал саморучно всех лишних пленных после того, как посмотрел остатки одного из «лагерей смерти». Во время Ясско — Кишиневской операции, когда тысячные колонны фрицев без охраны искали «плен» и повозочные набирали с верхом пилотки ручных часов, Каганович с шестью другими разведчиками, удобно устроившись на холмике, начал поливать из автоматов беззащитных усталых фрицев. Сначала те метнулись в сторону, потом повернули и затоптали ногами разведчиков. Позже труп Кагановича был найден. Огромный орден Богдана Хмельницкого был выковеркан из его груди кинжалом или ножом вместе с гимнастеркой, бельем, живой плотью. Незадолго до смерти он говорил мне: «Товарищи удивляются, верят и не верят, что я еврей. Майор Коляда говорил мне: «Какой ты еврей, ты еврейский цыган». — И Каганович добавил злобно: — Все это правильно, заслуженно».

Капитан Орман, борец, артиллерист, в прошлом ростовский инженер, иудаизм которого был подкрашен портовым способом воспитания, демонстративно торчал на всех наблюдательных пунктах, подавлял и обижал своих товарищей храбростью, часто излишней. Мне он говорил: «Я знаю, как они смотрят на евреев, так пусть посмотрят на такого, который храбрее их всех».

У тысячи фронтовых евреев было отчетливое ощущение незавершенности ратного труда их нации, недостаточности сделанного. Были стыд и злоба на тех, кто замечал это, и были попытки своим самопожертвованием заменить отсутствие на передовой боязливых компатриотов.

К концу войны евреи составляли уже заметную прослойку в артиллерийских, саперных, иных технических частях, а также в разведке и (в меньшей мере) среди танкистов. Пролетарский характер этих родов войск и товарищество, развившееся из совместной работы у механизмов, способствовали филосемитизму. Однако в пехоте евреев было мало. Причины: первая — их высокий образовательный ценз, вторая — с 1943 года в пехоту шли главным образом крестьяне из освобожденных от немцев областей, где евреи были полностью истреблены.

Раздутое немецкой пропагандой, имевшее определенный успех у темных пехотинцев ощущение недостачи евреев на

передовой каждодневно вырождалось в пассивный антисемитизм.

Иначе дело обстояло в офицерском корпусе среди штабистов, политработников, артиллеристов и инженеров. Здесь евреи акклиматизировались, были замечены как отличные работники, повсюду внесли свою хватку, свой акцент. Здесь антисемитизм постепенно сходил на нет.

В шуме боя наш народ не расслышал объективных причин, устранявших евреев с передовой точно так же, как оттуда был устранен московский слесарь или ленинградский инженер.

Героизм одиночек остался неучтенным и был отнесен к распространившемуся в последние годы жанру *высокого анекдота*.

* * *

С марта 1943 года, когда лыжный батальон захлюпал проношенными валенками по станционной купянской грязи, прошел год. Мы отвоевали Украину — страну, насчитывавшую до войны полуторамиллионное еврейское население. За этот год я ни разу не встречал гражданских евреев. Под Харьковом мне рассказали о том, как за Тракторным посекали из пулеметов 28 тысяч человек. Недостреленных долго еще ловили по яругам, вносили к старостам, допрашивали, убивали.

В марте 1944 года мы снялись с зимней стоянки под Варваровкой, потыкались в глубокую, впрок вырытую немецкую оборону и погнали немцев в непролазные калюжи Южной Украины. Через неделю обе армии бросили бессильные автомашины. Кирзовый сапог и заморские ботинки соревновались с коровьей кожей немецких сапог на прочность и скорость. Немцам удалось уйти, зацепиться за абрикосовые сады Приднестровской Бессарабии.

В марте в разбитой минами черепичной колонии я зашел напиться воды и по черным глазам подавшей кружку девушки, по неопрятной бедности узнал еврейскую хату. Настоящую встречу отнесу на три дня вперед, когда стали испытаннейшие тягачи, а колеса, сковыряв весь чернозем, застряли в липкой подпочве. Новониколаевка. В школе неподалеку от нас живут евреи. Их сорок человек. Все они из Могилева. Ребята со смелыми острыми глазами. Несколько мужчин. Истощенные женщины.

Среди несчастных был бухгалтер — все гордятся его профессией. Он одет в старый пиджак — сквозь дыря светится тощее и грязное тело. Я дал ему рубашку — сколько просьб и благодарностей посыпалось на меня!

В 1942 году румыны выслали своих евреев. Когда проходил

набор рабочей силы, вывезенные из Румынии «миллионеры» подкупили чиновников, и в степные совхозы пошли женщины и дети коренных могилевцев.

Особенно запомнилась учительница — сношенное существо, выдвигаемое вперед при переговорах. Она идеологизировала их рабство, которое неправильно называли крепостным правом. Она же рассказала мне о румынском агрономе — начальнике совхоза. Он обещал евреям мученическую жизнь и выполнил обещание. У него было несколько наложниц. Последние дни перед приходом наших в совхоз пришли немецкие солдаты. Они грозили крестьянам: идут «русс» и «юд». Солдаты были усталы и голодны. Рассказали, что за ними идут эсэсовцы, которые добивают всех евреев.

Когда в Николаевку ворвались первые советские танки — женщины бросились к гусеницам, целовали липкую глинистую грязь. Танкисты накормили их и пожалели.

Пока евреи жили в школе. Ждали — фронт отодвинется, и они уйдут в Могилев. Крестьяне разрешают собирать оставленный с осени в поле картофель. Сбор картошки дает два — три ведра. Картошку пекут на углях, делят по две — три картофелины на душу. Я иду в райсовет, собираю местное начальство. Говорю: советским гражданам нельзя нищенствовать. На меня подымает грустные глаза председатель: «Мы же их жалеем больше всех. Мы сами видели, как их мучили». Количество картошки увеличивается. Шьют мешки, пекут кукурузный хлеб. Расспрашивают о маршруте. Собираются в путь.

Одессщина. Еврейские колхозы соседствуют с немецкими, сербскими, старообрядческими. Когда убивали евреев, колонисты — немцы приезжали к старым соседям, к хорошим знакомым. К тем, с которыми соревновались в довоенное время. В награду получали все имущество. Когда убивали евреев- одесситов — их было много, — на хутор выделяли по пятьсот- шестьсот человек. Захоронение за счет хуторян.

В Тирасполе осталось восемнадцать из четырехсот. В Одессе — две тысячи. В Тирасполе скрывалась николаевская уроженка с девятилетней дочерью Жанной. Жанна знала, что ее отец еврей и что об этом никому нельзя говорить. Это была тихая, красивая девочка.

Антисемитизм вырос в неоккупированной части Союза, где даже казахи научились ругаться «жид», а уральские рабочие, воспитанные Свердловым, были потрясены нашествием голодных беженцев с пачками тридцаток в портфелях.

В оккупированной Украине антисемитизм, видимо, уменьшился. Причина этого — жалость. Тысячи евреев

укрывались в интеллигентских и рабочих семьях. Другая причина — отсутствие объектов. Сейчас это меньшинство из меньшинств. На правах сербов, на правах кавказских арабов.

Проще всего еврейский вопрос решался в Болгарии. Четыре года шестьдесят тысяч болгарских евреев жили под страхом смерти. Уже вывели евреев из новых областей — Македонии, Фракии и Добруджи. Уже сожгли их в Белграде, Ницце, Загребе. Уже отправили в Польшу древнейшую салоницкую общину, а их все не трогали. Загнали в гетто, выслали в северные города, лишили политических и части имущественных прав. В Венгрии, где нравы были жестокими, шестиконечная звезда накрашивалась несмываемой желтой масляной краской. В Болгарии ввели обязательное ношение изящной костяной звездочки. Ее продавали за пятнадцать левов, при себестоимости в один лев. Ремесленники богатели. Евреи, получившие ордена в прошлой войне, носили не звезду, а костяной кружок 15-копеечного размера.

В Плевне, в доме раввина, я собрал глав местной общины, задал им обычный вопрос: ваши нужды. Чего вы просите у Красной Армии? С эспаньолами разговаривать трудно. Почти никто из них не знает по — немецки. Переводчиком был Исроэли, учитель, левый сионист, эмигрировавший из России в 1923 году, «еще в эпоху засилья Троцкого».

Мне сообщили следующие версии сохранения болгарского еврейства: 1) заступничество софийского экзарха Стефана — либерала и англофила; 2) заступничество советского посла; 3) боязнь Сталина — думали, что он еврей; 4) боязнь Эйзенхауэра — он грозил стереть с лица земли Софию, если упадет хоть один еврейский волос. В последний момент заступилась за евреев любовница царя Бориса, парикмахерша царицы Иоанны — еврейка.

— А самая вероятная — не хватало вагонов, чтобы вывезти нас в Польшу. И вот мы остались живы. И вот нас не повезли на мыло... на мыло... на мыло...

Мы сидим в комнате за скудными чашечками черного кофе без сахара. Плевенский раввин Гершон, усомнившийся в Боге; его дочь — девушка с грустными глазами; Исроэли.

Я нахожу удивительное мужество противопоставить им советских евреев, ушедших в армию, боровшихся.

— Неправда. Две с лишком тысячи молодых ушли в партизаны. Из них убито восемьсот. Это выше, чем соответствующий процент болгар. Все они настроены антиболгарски. Не верят в их лояльность. Оперировать фактами антисемитизма среди болгарских коммунистов. Все антисемиты,

кроме нескольких идеалистов вроде Тодора Павлова.

Исроэли собирается уезжать в Палестину. Ему говорят о призрачности существования, чуть было не обрушенного танками Роммеля. Это очень сильное стремление, особенно среди буржуазной молодежи. Под английское крылышко.

Болгарские суды смягчали приговоры евреям, привлекавшимся за партизанскую деятельность. Мотивировка: у евреев есть причины бороться против болгарского государства.

Руцукский коммунист Стойчев говорил мне об относительной пассивности еврейской части подполья. Еврейский элемент среди коммунистов был куда менее заметен, чем в Венгрии или Румынии.

В Руцуке, в брошенном доме немецкого консула, я встретился с часовым — болгарским партизаном. Веснушки и особое устройство профиля не оставляли никакого сомнения в его национальном происхождении.

— Как тебя зовут?

— Яшей.

— Откуда ты?

— С Планины (т. е. с гор — так рекомендовались партизаны).

— Эвреин?

— Да?

— Я тоже.

И Яша бросился мне на шею.

В Югославии и Венгрии, где вернулось десять — двадцать-тридцать процентов евреев, все закономерности еврейского вопроса в Европе открываются особенно наглядно — потому что они типичны.

Каждый вечер в двух — трех домах собираются уцелевшие евреи Байи. Целуют руки дамам, говорят тихо, будто в соседней комнате лежит больной. Считают. В июле в город вернулось более двухсот сорока человек (из 1400). Разрозненные обрывки семей — мужья без жен, матери без сыновей — тянулись друг к другу. Возникали странные романы пятидесятилетних людей, платонические, бессловные, сентиментальные.

С особой, почтительной тихостью относились к потерявшим все — таких было много.

Казалось, время смерти уже было пережито, но где-то рядом, в соседней комнате мягко ступала смерть задним числом, бросалась письмами, где осторожно уведомлялось о смерти Н., о пропаже без вести, о том, что JT., спасенный в концлагере, умер после трехкратного вливания бульона.

В Будапеште, в главном комитете по устройству депортированных, сидели пожилые евреи бухгалтерского типа,

скрупулезно опрашивали возвращающихся о судьбах, им известных, о биографиях, закончившихся рядом с ними. Суммировали. Делали выводы. В синих конвертах отсылали смерть во все концы Венгрии.

Я наблюдал мирное соседство коммунистов из политической полиции с реакционными буржуа. Последние гордились первыми, их уверенностью, их револьверами, редкими в разоруженной Венгрии.

Женщины этого круга потеряли национальную резкость красок. Большинство из них только потускнело от этого. Некоторые приобрели удивительное осеннее очарование, незабываемую и грустную красоту. Молодые мужчины с толком говорили мне, что они не могут жить на родине, которая отталкивает и предает их, и по — чеховски рвались в Москву.

В июле 1945 года в Сомбор вернулось несколько более десяти процентов еврейского населения. Говорили, что соотношение между мужчинами и женщинами составляет один к семи. В лагерях, как правило, выживали женщины. В Белграде после освобождения насчитали тысячу евреев из проживавших там до войны двенадцати тысяч. В Байю из лагерей возвратились: восемь еврейских врачей из десяти, один еврейский адвокат из двенадцати. Думаю, что процент сохранившихся в провинциальной Венгрии евреев близок к двадцати пяти.

В Будапеште, где прятаться было легче, этот процент выше. Говорят, что там сохранилось сто тысяч из трехсот тысяч. Кроме того, к июлю 1945 года около сорока тысяч вернулось из лагерей.

В ноябре, вечером, я зашел в парикмахерскую. Очередь оживленно переругивалась, и я должен был напрягать все внимание, чтобы различить смысл чужого языка. Внезапно вошел партизанский офицер — поручик или подпоручик, молодой, очень бледный, в ладно пригнанной английской униформе.

— Узнаешь меня, дед?

Парикмахер всмотрелся в лицо юноши, не отводившего от него взгляда. Потом он закрыл бритву, бессильно облокотился о кресло и тихо произнес:

— Яша? — Наступила напряженная тишина, и я почувствовал запах трагедии, развязавшейся в короткие сроки.

— Где отец, мать?

Парикмахер ответил почти беззвучно — всех увезли. Офицер хлопнул дверьми.

Когда наши взяли Бор, оттуда на север потянулись сотни несчастных с намазанными желтой масляной краской шестиконечными звездами на груди. Это были рудничные рабы — венгерские евреи, пробиравшиеся на родину. Они шли и падали.

В апреле 1945 года в районе Надьканиша был освобожден еврейский лагерь — пятьсот человек, истощенных так, как могут быть истощены люди, которых хотят заморить голодом и для которых не хватает даже предусмотренных этим планом пайков. Они шли по дороге, иногда падали и гасли в кюветах. Сердобольные шофера подымали их, увозили в тыл.

С чем же возвращались на родину эти несчастные?

Один из немногих мужчин — евреев, вернувшихся в Сомбор, сын богатого купца, передал коммунистической партии Югославии свое имущество. Говорили о том, что его сестра резко протестовала. Этот пример характеризует бытие двух струй в современном еврействе — струи строителей капитализма и струи его низвергателей.

Мой приятель Джорджи, пытливо прислушивавшийся ко всем разговорам о Советском Союзе, особенно о филосемитизме и об антисемитизме русских, суммируя свои впечатления, говорил: «Простые солдаты рассказывали мне, что у вас на передовой нет евреев, евреи — только старшие офицеры». Рассказ Джорджи напоминает отношение к еврейству со стороны радикальных элементов Балкан: принципиально интернационалистическое — и наряду с этим холодок, обусловленный воспоминаниями о буржуазности еврейства, о столетней ориентации на мадьяр и немцев. Для евреев, товарищей по борьбе, делалось понятное и очень горячее исключение.

Много раз зарубежные евреи задавали нашим армейским евреям вопрос: «Как у вас с антисемитизмом?»

Подобно сапожнику, перехваливающему свою родину, чтобы Европе она казалась еще краше, чем ему, евреи армейские привирали, рассказывали о стране без антисемитизма и еврейского вопроса. Это делалось, во — первых, из ощущения реального факта резко лучшего положения евреев в Советском Союзе по сравнению с положением евреев на оккупированных территориях; во — вторых, из стыда «за то, что антисемитизм возможен и у нас»; в — третьих, из человеческого желания прихвастнуть.

Однако настойчивое любопытство зарубежных евреев принесло свои результаты. Вскоре они знали детали, причем в сгущенном виде. Рассказали им об этом, видимо, галицийские евреи, лишенные солидарности советских граждан

Белогвардейцы

До войны в Белграде их было пятнадцать тысяч. Двенадцать тысяч бежали на север, унося с собой отчаявшуюся ностальгию. Три тысячи ожидали нашего прихода. Из них сто двадцать членов Союза Советских Патриотов сделали все, чтобы вернуться в Россию с парадного входа.

Во время боя за город была найдена старуха Дурново, внучка Суворова. Она писала нашим офицерам, умоляя отправить ее в Москву: «Готовить буду, стирать».

Нас дождались два внука Льва Толстого. Бежали Трубецкие, потомки Лермонтова и Тютчева.

Эпиграфом истории раскавшейся части белогвардейщины возьму судьбу Петра Бернгардовича Струве.

Это был человек, проделавший навыворот политическую эволюцию Виктора Гюго, вместилище противоречий всей интеллигенции русской. В 1941 году он, немец, публично предсказывал поражение Германии; монархист, пророчествовал о победе советской власти. Был арестован. Полтора года сидел в концлагере вместе с коммунистами и евреями. Следовательно наивно обвинил его, во — первых, в контакте с Лениным (1890–е годы); во — вторых, в переводе на русский язык трудов Маркса и Энгельса (тогда же); в — третьих, в организации первых марксистских кружков в Петербурге. Ни одно из обвинений не было моложе сорока лет. Весной 1943 года его увезли в Вену — судить. Умный судья посмеялся над обвинительным заключением, но спросил (наверное, он сказал при этом: спрашиваю вас как человек человека): «Ваше мнение о перспективах этой войны?» Струве ответил, что как историк и экономист он предвидит скорое и неминуемое поражение Германии. Его протомили еще шесть месяцев. Потом отпустили в Белград. Несколько недель он ходил по улицам, жестикулировал, нервно тряся (следы тюрьмы), настаивал на своих предсказаниях.

Умер, завершив одну из самых пуганых, оппортунистических, негероических жизней XX столетия римским концом. Стал гордой легендой коммуноидной белогвардейщины.

Белград, Югославия, Балканы приютили наиболее южную группу белых — врангелевских офицеров, киевских и одесских помещиков с семьями, автокефальных батюшек. Удивленные легковесностью Балканской Европы, они подолгу сохраняли русское имперское подданство либо так называемые нансеновские паспорта — беженские аттестации, дававшие

гражданские права и освобождавшие от политических. Такие же паспорта давали турецким армянам. Возможно, они (как и русское подданство) окажутся еще роковыми для их обладателей.

Богатенькие и знатные вскоре уехали в Париж. Осталась армейская голь, положенный процент епископов, повышенный процент украинцев.

Женщины белогвардейцев были исполнены грустного обаяния. В полудеревенском Белграде, тогда еще скорее сербском, чем югославском, их узнавали по походке, по повороту головы, по запаху — тонкому, парижскому, незабываемому. В 1944 году, когда в Белград вошли сталинградцы, их женщин также узнавали по походке, по скрипу и грохоту кирзовых сапог. Сотни эмигранток вышли замуж за сербов, ассимилировались, вырастили расу красивых и сильных ребят. Другие жались друг к другу, основывали «русские матицы» и сокольские клубы, трудно привыкали к физическому труду, к чужому языку.

В Болгарии отношение к белогвардейцам варьировалось у разных правительств (разные степени равнодушия). Сотни гвардейских офицеров перекочевали из голодных трущоб Константинополя в шахты Перника, штрейкбрехерство вал и, конкурировали с болгарскими рудокопами, потом пролетаризировались и смирились.

В Югославии Карагеоргиевичи крепко помнили 1914 год. Офицеры принимались в армию. Охотно брали на службу чиновников, инженеров, учителей. Молодые ушли в университеты, образовали кадры отличных высококультурных специалистов. Киевская, харьковская, одесская профессура облагородила университеты Белграда и Софии. В Болгарии их считали варягами, терпели, пока не выросли свои кадры. В Белграде они крепко выросли в академический быт.

Балканская Европа удивила нас необычными названиями улиц, проспектами Пуанкаре и Вильсона, памятником Франте д'Эспере (в октябре партизаны намалевали на генеральском пьедестале четыре трафаретные красные звезды). Пока был среди этих проспектов не только генерал Черняев, но и Николай II, белогвардейцы крепко ощущали свою автономию. Их русская православная церковь была автономна внутри сербской православной. Им дали гимназию в Белграде, кадетский корпус в Белой Церкви. Был дом для престарелых — немцы четыре года не кормили их. Наши не тронули, прошли мимо самых ненавидящих из своих врагов. Был огромный Русский дом в Белграде. Было сознание своего островного положения, зиждившееся сначала на культурном превосходстве, потом на народной нелюбви. Из Парижа доходили вести о партиях и течениях, о сменовеховцах и

национал — большевиках. Здесь все сосредоточивалось вокруг способов возвращения. Было два пути: с немцами и их предшественниками либо через консульства (ССП). Позже второй путь был окрашен кровью Союза Советских Патриотов. И вот в Белграде оказалось сто двадцать бургомистров, сто двадцать героев.

Когда началась война, белые резко противопоставили себя сербам, навсегда устранив возможность повторения в Югославии любой антисоветской эмиграции. Не случайно именно здесь формировался Русский охранный корпус из ротмистров всей Европы, с полным окладом и офицерской уважительностью в обращении, корпус, из которого партизаны не брали пленных — расстреливали всех поголовно, как банатских эсэсовцев. Не случайно именно здешние юнцы из кадетского корпуса лезли на наши пулеметы на дунайских переправах.

Генерал Краснов писал об одном из своих героев, что он говорил настолько по — русски, что всегда можно было разобрать, где «е», а где «ять». Патриотизм старого поколения эмиграции носил именно ятевидный характер. Все эмигранты, оставшиеся в Белграде, от души умилялись Красной Армией. Но их чувства сосредоточивались на погонах, на орденах Суворова и Кутузова, на заветном слове «подполковник». В общем, это был немецкий вариант возвращения на родину — с заветным словом «статский советник».

Это была не нация и не класс — существовала бездна между пролетаризированными врангелевцами в Пернике и двором вдовствующей императрицы в Копенгагене. Это было сословие, объединяемое главным образом сословными предрассудками. Мятеж ССП напоминал внутрисословный бунт декабристов против Простаковых.

ССП не хотел представлять эмиграцию. Он резко отмежевывался от нее, противопоставлял себя ей, вплоть до организации своей контрразведки, работавшей специально против белогвардейцев. Вплоть до того, что 6 ноября на предпраздничном собрании решили выставить «своих» автоматчиков у входа в Русский дом и не пропускать туда ни одного эмигранта.

В Разграде я разговаривал со стариком — врангелевцем, уважаемым во всей округе детским врачом. Удостоверившись в моей интеллигентности, он спросил: «Что вы будете с нами делать?»

Этот вопрос белогвардейцы задавали очень часто. В те дни им отчетливо вспоминались все их грехи перед российскими рабочими и крестьянами — от казни Стеньки Разина до Русского

охранного корпуса. Тряслись ограничившиеся нансеновскими паспортами^[3]. Дрожали гордецы, сохранившие императорские документы. Счастливые обладатели болгарского подданства чувствовали себя очень беспокойно — слишком несуверенно капитулировала муравиевская Болгария, слишком грозно шумели танковые корпуса под их занавешенными окнами.

Рядом с доктором сидела его жена. Внимательно слушала, иногда потряхивала торжественными, царственно рыжими волосами. Внезапно, после сотни вопросов о Советской России, она спросила: «А правда ли, что у вас всем заправляют... евреи?» И смотрела мне в глаза злобно, чуть насмешливо.

Я вежливо ответил: «Ваши сведения, мадам, безусловно преувеличены».

Двадцать пять лет эмиграция дышала преувеличенными сведениями. В этих условиях противоположное течение казалось невозможным. Тем не менее оно возникло. Были старики со школьным представлением о патриотизме, исключавшим сговор с интервентами. Были молодые инженеры, твердо верившие в индустриализацию СССР. Были инородцы — евреи, кавказцы. Были девушки из старых семей. Были врангелевские офицеры, предпочитавшие петроградские академии всем иным. К партизанам ушли Махин, знаменитый Саблин, левый эсер времен московского восстания, начальник ВОСО Тито. Среди рядовых партизан был граф Ефимовский. В каждой бригаде был свой белый — обычно в штабе, а не в русской роте — культурнейший, проверенный офицер.

Ощущался политический раскол: «Отцы и дети». Впрочем, процент детей был не выше того, что у нигилистов.

В 1941 году в Белграде на правах секции одного из подпольных райкомов компартии организовался Союз Советских Патриотов. Его возглавил доктор Лебедев — милый человек, твердый руководитель. В Центральном Комитете Союза были профессор Алексеев Н. Н., юрист, автор «Истории русского бесправия», старик со счастливыми и молодыми глазами, еврей Тумим, литературный критик, шеф контрразведки.

Подробной картины деятельности ССП у меня нет. Кажется, они принимали участие в переводе и печатании шестисот экземпляров «Краткого курса истории ВКП(б)». Перепрыгивали бежавших из лагерей красноармейцев, доставляли их в партизанские отряды. Кажется, собирали деньги, медикаменты, литературу, табак, печатали листовки. Вся работа шла под контролем сербов, по их заданиям.

ССП резко отделял себя от эмигрантской массы. Его члены считали себя советскими гражданами. Свою работу —

заслуживанием паспортов. ССП противопоставлялся, до известной степени, и партизанам. На Русском доме написали: «Собственность СССР». На демонстрацию хотели выйти своей колонной под советскими государственными флагами. Впрочем, когда стали собирать заявки на приглашение на вечер, в списках знакомых оказалась вся партийная и военная знать сербского Белграда.

Быть может, интереснейшей фигурой ССП был внучатый племянник фельдмаршала граф Илья Николаевич Кутузов. Ему было сорок лет. Из России он выехал юношей, с гувернером. Учился в Сорбонне. Знал шесть языков. Доцент французской филологии, читал ее в Белграде. Написал несколько книг интересных стихов. В Белграде возглавлял кружок поэтов, который считался одним из двух центров молодой поэтической эмиграции. Второй — в Париже. Ладинский, Довид Кнут. Кутузов очень обаятелен старомодным, устоявшимся обаянием, чем напоминает Кульчицкого. В тридцатых писал рецензии с налетом наивной антисоветчины, бытовой для эмиграции. Он говорил мне: «Теперь я все понял. Раньше мы думали: “ЭНКАВЕДЕ!” А сейчас: “Пойду работать для НКВД”». Современную русскую поэзию знал плохо, о Пастернаке и Сельвинском помнил, что у них талантливые рифмы, но веровал, что в Москве займет свое место.

За всю войну только с ним и пришлось по — московски побродить по улицам, почитать стихи. Нас встречали аккуратнейшие партизанские патрули. Окликали: «Едан напред, остальные стоят». Я отвечал: «Майор Црвеной Армии». Нас немедленно с почетом пропускали «напред». Осенью 1941 года, бежав из лагеря, Кутузов попал к Коста Надю, в главный штаб Воеводины. Три года работал в пропагандном отделе на второстепенных должностях. В 1944 году Надь получил орден Кутузова. Весь штаб был поражен, узнав, что содержит в себе родственника такого человека.

В октябре его назначили комиссаром белогвардейской колонии. Вечером он пришел в Русский дом с двумя автоматчиками. Старички из правления встретили его приветливо. В Белграде все знали графа Илью Николаевича. Граф, облеченный в английскую униформу, чувствовал себя скверно. Он в первый раз производил аресты. Ордера не было. «Господа, — сказал Кутузов, — я вынужден вас арестовать». Старики покорились. Только один из них стал отходить в сторону, к двери: < Я Шевченко, я из украинской секции».

Кутузов вспомнил старые дразги между русской и украинской частями эмиграции, взаимные доносы и с торжеством арестовал

Шевченко.

По графскому приглашению я побывал на первом легальном собрании ССП. Оно было посвящено участию в октябрьской демонстрации и организации праздничного вечера. Собирались понемногу. Кучка людей — пятьдесят — шестьдесят человек — терялась в коридорах Русского дома.

В зале шел поспешный пересмотр портретов. Без прений выбросили Николая II Александровича, его отца и прадеда. Помешкали над Александром II Освободителем и Александром I Благословенным. В конце концов уцелели Петр, Суворов, Ермолов. На стенах остались огромные прямоугольные пролежни, странно напоминавшие 1937 год.

Группа художников во главе с Завгороднюком заканчивала портреты Ленина, Сталина и Тито. Завгороднюк — лауреат «Салона», и его работы в жанре клеточной школы живописи — по 25 рублей за штуку — были возведением этой школы в степень идеала.

Постепенно сходились союзники — скромно одетые женщины, молодые и пожилые мужчины, в праздничных, «единственных» костюмах, подобных тем, какие надевали венгерские рабочие по случаю заседания обкома партии.

Эти люди не напомнили мне ни один из вариантов интеллигентских сборищ в Советской России. Сдержанность, ощущение старой культуры заставляли отвергнуть и сопоставление со сходками народовольцев. Скорее всего, это были декабристы, декабристы XX века. Преобладание дворянского, присутствие офицерских элементов усиливали впечатление.

Около восьми часов доктор Лебедев поднял руку, открывая собрание. Все встали без приглашения.

— Прежде всего я хочу представить вам нашего дорогого гостя Бориса Слуцкого, майора гвардии. — Я поклонился, отвечая на аплодисменты. — Хочу рассказать ему о нашей борьбе, о наших мучениках.

На глазах у Лебедева выступили слезы. В зале неутешно зарыдали. В упор на меня смотрела Маша Дуракова, вдова врангелевского офицера, поэта, партизана — пулеметчика...

Однако начальство, разрешая мне присутствовать в любом месте, строго — настрого запретило официально представлять кого-либо. И я проглотил хорошие слова, которые очень хотелось сказать, и молча пожал руку Лебедева, сильную руку хирурга. Говорят, что у хирургов руки — вторые по мускулистости после продольных пилыщиков.

Начали обсуждать программу вечера. Трудности заключались

только в отборе. Балерины императорских театров, певицы — профессионалы, высоколобые обеих столиц хотели провести вечер как в рабочем клубе, причем эта эстетическая лояльность была вполне искренней. Были с возмущением отвергнуты все балетные номера — как барство. Руководитель хора с торжеством заявил, что он подготовил «Гимн Советского Союза». Если бы кто-нибудь предложил этому хору спеть «Славься!» из «Сусанина», это было бы принято с удивлением. Ускоренно проходя все двадцать пять лет нашей истории, они еще не дошли до «новых веяний». И в программу были включены не только старые песенки Дунаевского, но и авиамарш и даже пьески со словом «красный» в названии. Союзники приняли и гордо подняли все то, что третировалось и отвергалось эмиграцией как советчина и большевизм.

Тускло светили лампы — городская электростанция еще не работала на полную мощность. По старинному серебру кубков, огражденному бемским стеклом, ходили блики лунной тусклизны.

Шестьдесят человек, переживших двадцать пять лет изоляции, три года ужаса, со светлыми, пасхальными лицами готовились броситься в новую жизнь, переняв весь радикализм и всю решительность тех, кто некогда выбросил их из России

Девушки европы

Итак, мы перешли границу. Впереди были большие богатые города — Констанца, Браилов, Бухарест. Ровно год, со времени великого дневного пожара Харькова, крушения гигантских корпусов, наблюдавшегося из арбузных бахчей, мы острили по поводу внеурбанистичности наших маршрутов. Армия именovala себя «проселочной», «деревенской», «сельскохозяйственной». Завидовали соседям, бравшим Полтаву или Кременчуг. Даже штабные офицеры по шесть месяцев не стучали каблуками по асфальту.

Внезапная, почти столкнутая в море, открывается Констанца. Она почти совпадает со средней мечтой о счастье и о «после войны». Рестораны. Ванные. Кровати с чистым бельем. Лавки с рептильными продавцами. И женщины, нарядные городские женщины — девушки Европы — первая дань, взятая нами с побежденных.

В сентябре 1941 года я вышел из госпиталя и прошел по улицам Свердловска. После двух месяцев горя, после халатного однообразия санитарок ударила и оглушила столичная толпа, шляпки и шелковые чулки. Это было похоже на запах крепких духов. Стало страшно смотреть в глаза молодым женщинам — взгляды могли показаться им слишком откровенными.

Раздвиньте масштабы ожидания — с двух месяцев до войны, то есть до целой жизни. Увеличьте неожиданность и своеобычность обстановки стремительностью этого последнего военного лета, чуждостью расы, морем, миром. Уберите боязнь испугать женщину открытостью желания. Где-то здесь лежит разница между Свердловском и Констанцей.

Мы подходили к ним прямо на улицах, днем, среди толпы. Козыряли. Спрашивали, который час, потом сразу же, не дожидаясь ответа: «Говорите ли вы по — русски?» Через неделю женщины научились узнавать нас на подходе, по учащенности шага. И, чуя погоню, они убыстряли, а иногда замедляли свой шаг. На больших стоянках я начинаю здороваться с самыми красивыми. Почти все отвечали со второго, улыбались с третьего, с четвертого раза.

Мы подходили к ним вплотную, почти заграждая дорогу. Спрашивали, как зовут, и поясняли: Елена, Мария, Ольга, — припоминая лучшие из домашних имен. Почти никогда не ошибались. Позже, в Венгрии, Сербии, мы услышали неслыханные: Гизелла, Илона, Маргит, Иованка.

Миллионы европейнок были досуха выжаты этой войной. В

1939, 1940, 1941 годах они отдавались своим стыдливым возлюбленным — чтоб врагу не досталось. Так грешили тысячи москвичек на окопных работах в октябре, когда немцы бросали мастерски сделанные листовки:

Девушки и дамочки,
Не ройте ваши ямочки —
Приедут наши таночки,
Зароют ваши ямочки.

И небритые окруженцы с усталым удивлением смотрели на сырые противотанковые рвы.

Потом пришли немцы. Не всех тех, кто в 1944 и 1945 годах душил в сортирах белесых ребенчков, кто перестригался под крестьяночку, кто с ужасом слушал: «Немцам давала, а своим не хочешь!» — можно со спокойной душой обвинить в предательстве. Помимо шелковых чулок с похабными стрелками, помимо всех и всяческих шоколадов сексуальная измена родине имела этические и эстетические причины.

Двадцать лет наглядная пропаганда наша внушала девушкам идеал мужчины — голубоглазого, статного, с белесыми северными волосами. Эсэсовские блондины были предвосхищены наивными плакатами. И наряду с народным восприятием немца — рыжего, неопрятного, противного — жила светлая девичья дума о желанном женихе.

Помимо этого слабые умы были потрясены основательностью, с которой устраивались немцы. Под корень вырубались целые народы — еврейский, цыганский.

С другой стороны, с броской беспечностью были публично прощены пассивизировавшие себя коммунисты. Зимой 1941 года, в недели жесточайших поражений, немецкий комендант Барановичей давал командирским женам пропуск до Горького, до Урала: «Пока дойдете — там уже будут наши танки». Я видел одну из этих женщин. Пешком, с младенцем в заплечном мешке она прошла вдоль великой магистрали этой войны — Минского шоссе от Барановичей до Кубинки. Комендантские патрули двух армий пропускали ее беспрепятственно, с почтительным удивлением.

В январе, восточнее Можайска, перешла фронт. Ребенок умер за неделю до этого, и пустой мешок, забытый, бил ее по спине.

Ширилась вера в долговечность немцев — от газет, где печатали Зинаиду Гиппиус, от измен председателей горсоветов, от неслыханного по своей пропагандной значимости перевода

всех советских железнодорожных путей на европейскую колею.

В ноябре 1941-го в Казани или Ленинграде — по сю сторону фронта с нами были не только вера, но и знание, не только фанатизм, но и расчет. В это же время русофилы и патриоты оккупированного Смоленска неизбежно вербовались из числа идеалистов, чуть прекраснотушных. Недаром среди них было столько сельских учителей. Не случайно подпольным Харьковом руководил простой рабочий, старый участник событий 1905 и 1917 годов.

Потом пришла Красная Армия. Девушка — сербиянка, обнимая нашего офицера, шептала ему: «Я — савезница». Давали из патриотизма, от радости, от избытка чувств. И наряду с этим был мерзкий шепоток неудачников: «Немцам давала, а своим не даешь!»

Известно, что через полтора года после обнародования любой хорошей песни в России появляется ее похабный вариант. Война отстраняла привычные мотивы их миноризацией. И девушки России сочинили о русской девушке песню, в которой пели:

Молодого летчика, девушка, любила ты
И за пайку хлеба немцу продалась!

В Европе женщины сдались, изменили раньше всех.

Адвокат Голда, умный человек, суммируя устную русскую Капошвару, говорил: «Очень хорошо, что русские так любят детей. Очень плохо, что они так любят женщин». Он не учитывал, что женщины — венгерки тоже любили русских, что наряду с темным страхом, раздвигавшим колени матрон и матерей семейств, были ласковость девушек и отчаянная нежность солдаток, отдававшихся убийцам своих мужей.

Меня всегда потрясала, сбивала с толку, дезориентировала легкость, позорная легкость любовных отношений. Порядочные женщины, безусловно бескорыстные, походили на проститутку — торопливой доступностью, стремлением избежать промежуточные этапы, неинтересом к мотивам, толкающим мужчину на сближение с ними.

Подобно людям, из всего лексикона любовной лирики узнавшим три похабных слова, они сводили все дело к нескольким телодвижениям, вызывая обиду и презрение у самых желторотых из наших офицеров. Конечно, знание языка способствовало ловеласам, так же как и нахальство, умение вовремя пригрозить, напугать. Но были люди абсолютно бессловесные, к тому же девственники, которые развратились в заграничном походе, не выучив и десяти слов на иностранном

языке.

Не будем, однако, бросать камень в огород европейских магдалин.

Во всеобщей свистопляске оккупации, правительств, личных знакомств и перемен девственность казалась слабой ниткой, привязывающей к довоенной устойчивости, к категорическому императиву, морали, семье. И многие рвали ниточку. Сдерживающими побуждениями служили совсем не этика, а боязнь заразиться, страх перед оглаской, перед беременностью.

Однако так называемый жизненный опыт вскоре разуверил европейнок в фашистской легенде о поголовной зараженности красноармейцев. Боялись, пока в газетах печатались документы, подобные акту «о большевистских зверствах, выявленных при отвоевании Фельдбаха». Огромными буквами, черным по красному, свидетели (один профессор, один епископ, один рабочий, один английский военнопленный) утверждали: все взрослые жительницы Фельдбаха, уцелевшие от убийств, заражены сифилисом и триппером.

Но минули две недели оккупации. Городская лечебница Граца закончила обследование изнасилованных в городе и окрестностях, и мне странным тоном, успокоительным тоном, было заявлено, что, к счастью, из ста семидесяти четырех пострадавших только семь заболели триппером.

Так был сокращен тезис о зараженности. Болезнь огласки была устойчивее. Устранить ее было довольно трудно.

Однако существовали физические условия, способствовавшие свободной международной любви.

Это были: право постоя, вселившее в каждую семью молодого офицера, независимо от того, были ли в этой семье мужчины и пожилые женщины или нет. Таким физическим фактором, затруднявшим огласку, была и специфика европейских квартирных условий, полная изоляция жилья одной семьи, отсутствие общих ванн, кухонь, коридоров.

Наряду с физическими были и моральные условия, срывавшие огласку. Постепенно факт завоевания развратил творившие общественное мнение верхи.

Тот же самый епископский канцлер (доктор Штайнер, заместитель Павликовского, князя — епископа Штирии), который в апреле громогласно, черным по красному, обвинял нас в семи смертных грехах, в мае подписывал публичные акты Комиссии по расследованию гестаповских зверств. Нельзя сказать, чтобы последние украшались этой подписью, но акты черно — красные были окончательно скомпрометированы, а вместе с ними и Штайнер как один из творцов «общественного мнения о

прелюбодеянии».

Вышесказанное вполне применимо к еще одному разряду «высоких свидетелей» — профессуре. Они тоже подписывали и наши, и фашистские акты.

Третья категория «высоких свидетелей» — рабочие — поспешно ушла в лояльнейшую социал — демократию.

Наконец, четвертая категория — английские и американские военнопленные — толпились в комендатурах, готовые лизать руку, которая выписала бы им пропуск в союзническую зону.

Всеобщая развращенность покрыла и скрыла особенную женскую развращенность, сделала ее невидной и нестыдной.

Так была бита по пунктам порождавшая боязнь огласки черно — красная афиша.

Оставалась боязнь беременности.

Однако в сороковых годах XX века европейская биохимия и европейская фармакология поставили беременность в разряд процессов, вполне поддающихся управлению. Половина лирических сюжетов подлежит атрофированию в эпоху вагиноля и контрауситина. То же можно сказать о мотивации многих дамских самоубийств и детоубийств.

Оставалась небольшая категория женщин, не умевших или не хотевших вытравить плод. Они-то и составляли проблему, особенно в Австрии, стране, где всеобщая религиозность и всеобщая лояльность перед законом восставали против аборт.

В Штирии дело дошло до того, что обком обсуждал меры, как помочь женщинам, забеременевшим от русских. Решили организовать травление тайно. Здесь кончается проблема легкости любовных отношений и начинается проблема прочности этих отношений. Уже в августе — сентябре 1944 года румынки пытались применить прием, изобретенный еще римскими матронами во времена Алариха и вандалов. Весь 3-й Украинский фронт смеялся тогда над приказом, живописующим свадьбу капитана, Героя Советского Союза, командира стрелкового батальона на помещицкой дочке. Рассказывали о приданом — 30 миллионах (тогда еще весьма калорийных) лей, лошадях, какой-то посуде. Проспавшись после свадьбы, капитан расписался на приказе и поехал дальше. Так окончился этот, может быть первый, «европейский» брак наших офицеров.

В начале 1945 года даже самые глупые венгерские крестьяночки не верили нашим обещаниям. Европейки уже были осведомлены о том, что нам запрещают жениться на иностранках, и подозревали, что имеется аналогичный приказ также и о совместном появлении в ресторане, кино и т. п.

Это не мешало им любить наших ловеласов, но придавало

этой любви сугубо «оуайдумный» характер.

Еще в Румынии, в августе 1944-го, профессия переводчика стала выгоднейшей. В Венгрии переводчикам русского языка платили министерские оклады.

Вице — губернатор Шомоди Штефайч Паль пожаловался коменданту Капошвара, что переводчик комендатуры Николай получает на шестьсот пенго больше вице — губернаторского жалованья. Захаров, не опровергая по существу, указал, что колбасник комендатуры получает три тысячи пенго в месяц.

Полнее всего дефицитность русского языка удостоверяла вывеска: «Нужно пощадить. Вишневский» — на воротах частного дома.

Комендантом Надьканижи тогда был майор Вишневский, который рассматривал эти вывески как замену охраны.

Там же на социал — демократическом партдоме висела вывеска: «Заведение социал — демократической партии».

Я сам выдавал венгерским попам шпаргалки: «Дом священника — под охраной комендатуры». Попы дули на непросохшие чернила и укладывали бумажонки в недра шелковых, парадных ряс.

Митра Митрович перевела на сербский «Непокоренные» Горбатова, не зная русского языка. Перевод был издан. Факт, говорящий не только об эластичности стиля Митрович, но и о податливости стиля Горбатова.

Партизанские генералы, комиссары, министры, объяснявшиеся по — русски необычайно уверенно, зачастую не знали ничего. Нешкович и Тодорович, завидя меня, кричали обидно — приветливо: «До свиданья!» Впрочем, «здравствуйте» при прощании с русскими говорила вся Балканская Европа. В подполье изучали более «Антидюринг» в подлиннике. Русское исходило от многочисленных белогвардейцев и имело одиозный привкус.

Переводчики вербовались:

А. Повсюду — из белогвардейцев. В Субботице целое поколение белогвардейской молодежи ушло в переводчики к пограничникам. Дети. Отцы уходили в охранный корпус. В комендатуре Граца работала мышиноного цвета старушонка. Говорила со смольным акцентом. Оплачивалась обедами из солдатской столовой. У нее нашли револьвер, пропавший у дежурного офицера. Позже я видел ее за решеткой комендантской каталажки.

Б. В Румынии — из бессарабцев. Их было очень много. В

Крайове русскую речь можно было слышать на улице. Бродили бородатые, унылые, беглые попы — близнецы сельских батюшек. В 1940-м они репатриировались из Аккермана или Бендер. Бедствовали. Шептали. В Румынии переводчики были дешевые более, чем где-либо.

В. В Румынии — из придунайских некрасовцев, удивительного народа, сохранившего пыточную, староверческую свежесть языка раскольнического списка в Тульче и детскую верность России. Когда формировались добровольческие коммунарные дивизии «Тудор Владимиреску», некрасовцы шли туда толпами. Я встречал их, возвращавшихся с фронта, в выцветших красноармейских гимнастерках третьего срока, в пилотках, белых от стирки; частенько оборванных, ощущавших свое «заодно» с красноармейцами, бурлившими на станциях. На вопрос о планах и перспективах они отвечали: «бить румынских буржуев».

Если Россия захочет соединиться с Болгарией, они составят костяк черноморского коридора.

Г. В Венгрии — из военнопленных, не возвратившихся в Россию. Двадцать лет разрыва посольских сношений способствовали ассимиляции крестьянского большинства пленных. В Россию пробрались — через Чехословакию, Францию — немногие интеллигенты. В каждом большом селе был свой русский, в городе пять — шесть. Обычно пастухи, батраки, работники, они занимали последнюю ступень социальной лестницы. От традиционной парадной нелюбви их охраняла аполитичность к власти. Местного языка многие так и не изучили. Русский полузабыли. Дети их выглядели совершенными мадьярчатами — с неожиданными тульскими льняными волосиками. Когда пришли свои, пленные ушли переводчиками, осведомителями, наводчиками; были жестоки — втихомолку; собирались остаться на новой родине, мстили за второсортность, за подозрение, объединяли себя с Россией. В 1940 году некоторые из них пытались вернуться с помощью открывшегося в Будапеште посольства. Война оборвала их хлопоты, надежно устроив их под надзор полиции. Эта прослойка встречалась и в Австрии. Меньше было русских женщин, вывезенных мадьярами из плена.

Д. В Венгрии — из карпато — украинцев, довольно, впрочем, немногочисленных. Среди них было много евреев. Украинцы, исконные русофилы, монархисты либо коммунисты. Я с удивлением узнал о существовании карпато — русской фашистской партии во главе с церковным регентом Фенчиком. Направленность — прогермано — русская и антивенгерско — украинская. Русский язык украинцы знают плохо. Фразу

начинают и кончают: «Пожалуйста». Хорти, по — церковному, склоняют Хортий. В лагерях для военнопленных были переводчиками и отчасти высшим сословием.

Е. Коммунисты. В Венгрии в каждом обкоме был специалист по русским делам, сидевший на переговорах. Обычно он пять — пятнадцать лет служил где-нибудь в Ростокинском районе, главбухом или пропагандистом. Русский язык знал основательно. Стремился вернуться в Москву. К товарищам по партии относился несколько свысока — с высоты русского, умудренного, антинаивного стиля партработы. Работать с такими было легко. В Болгарии была еще одна прослойка, неплохо говорившая по — русски, — традиционное русофильское меньшинство офицерской интеллигенции — академическая, полковничья знать. Отсюда вышла группа «Звено», характеризуемая нашими брошюрами как республиканско — фашистская. Многолетняя ориентация на Милютина и Драгомирова связала их с коммунистами. 9 сентября они вывели на софийские улицы танковый полк. Они же дали Болгарии премьера и главнокомандующих. Среди них немало связанных кровным родством с русскими, воспитывавших детей в софийской белой гимназии.

В Венгрии среди коммунистов попадались люди с удивительными биографиями. Шинкович, пленный Первой мировой войны, политрук роты Красной Армии, комендант города Челябинска в 1919 году. Посланный в 1921 году на работу в Венгрию, был многократно бит в полиции, отпустили — двадцать лет работал парикмахерским подмастерьем. Когда пришли наши, его взяли переводчиком на бойню. Месяц он исполнял там свой партийный долг, после чего был взят в обком первым секретарем. Он был плохим первым секретарем. Но как он воспрял в обкоме. Никогда не забуду народных, единственных костюмов коммунистов — рабочих, надеваемых ими при исполнении партийных обязанностей. Служба в русской Красной Армии — это была марка в стране, где тысячи людей служили в венгерской Красной Армии. Такой анкетный плюс весьма помогал в партийной карьере.

Интеллигенты. Таких почти не было. Вспоминается переводчик в Надьканиже Морвал. Он пришел в комендатуру со стопкой золототисненых романов — собственных — и списков опасныхлюдей, который упорно мне навязывал. Русский язык знал плохо, учил его в чешской учительской семинарии. Тем не менее с рекламным шумом был приглашен в Печ, в университет, профессором русского языка.

В Балатоогларе вскочивших на рысях мотоциклистов встретило серое двухэтажное здание католической плебании, на нем висел плакат: «Под покровительством римского папы». Ниже была приколотая записка, уведомлявшая, что папский нунций в Будапеште просит Красную Армию оказать содействие и покровительство. Датировано сентябрем 1944 года. Нунциева предосторожность остановила, кажется, первую линию, на которую русский язык, по редкости, оказывал магическое действие. Вступившие в Боглар разведчики выгнали попов и заняли плебанию. Две недели я жил под покровительством римского папы (плакат оставили) и ел орехи, обнаруженные на католическом чердаке.

Первое же знакомство с русскими привело к установлению мнения, что с ними можно договориться.

Отсюда — дороговизна переводчиков и возникновение словарной индустрии. В каждом крупном городе Венгрии продавался свой словарь на пятьсот, тысячу, три тысячи слов.

Сначала было много недоразумений с отбором слов. Новейшие лексикографы отнюдь не полагали, что их труд должен быть вторым после Геркулесова.

Поляки и чехи, сербы, исходившие из того, что славянского братства достаточно для познания русского языка, бывшие пленные широко использовали при составлении словарей мадьярские карманные справочники для солдат оккупационной армии.

Такие словари носили наступательный характер, до смешного неуместный. Мы много смеялись над фразами типа «Немедленно предоставьте квартиру для мадьярского офицера» или «Принесите масла, сала, яиц, молока, три литра вина!»

Когда мы ехали через Венгрию в июне 1945-го, там уже были изданы не только «Краткий курс» (раскупленный и подчеркиваемый всеми слоями населения), но и «Государство и революция» и даже антология русской лирики от Державина до Клычкова и Мандельштама.

Коммунисты создавали курсы по изучению русского языка. Подыскивали преподавателей русского языка для начальных школ. В Крайове местный поэтический журнал, который в городе считали футуристическим, хотя там сидели неоклассики, напечатал переводы Маяковского и Есенина и даже «Волга впадает в Каспийское море» Бориса Пильняка.

В Венгрии, да и не только в Венгрии, полагали, что украинцы лучше русских, добрее, мягче. Их рассматривали как этическую, а не как национальную категорию. Интересно, что сербы считали (и может быть, не без основания), что украинский язык намного

ближе к сербскому, чем русский.

С зимы 1944/45 года в армии появилось новое словечко: «Махнем!» Махали обычно часы «ход на ход», а также «не глядя». Европейцы приняли словечко в лингвистический серьез, и в Байе моя знакомая говорила мне: «Мы сделали «Махнем!» с нашим капитаном. Он мне приемник — я ему ручные часы». Ей — выгодней, ему — транспортабельней.

Где-то в Румынии я впервые услышал, как выговаривает Европа русское слово «товарищ». Это слово — одно из важнейших завоеваний революции, демократический коэффициент, властно оговаривающий и ограничивающий самодержавие титулов «генерал», «директор», «начальник». Однако здесь его произносят точь — в-точь как «господин» или даже как «ваше высокоблагородие». Не всегда эта неточность объясняется незнанием смысла слова.

На мадьяр знание их языка русским солдатом производило потрясающее впечатление. Обеспечивало успех по всем линиям.

В окрестностях Граца располагалась школа шпионов, готовившая «русские» кадры. Все курсанты при нашем приближении удрали в английскую зону. О масштабах подготовки дает представление брошенная немцами библиотека. Здесь — комплекты всех центральных газет с 1917 года, вагоны и вагоны журналов, многотиражек, районных и областных изданий.

По грифам и экслибрисам можно установить, что сюда свозились целые книжные магазины (например русский магазин Перского в Вене), целые районные библиотеки. Хорошо представлена вся досоветская, антисоветская, советская и секретно — советская литература (в том числе бюллетени партийных съездов). Впрочем, мне никогда не встречались шпионы, о которых можно было бы сказать, что они читатели этой библиотеки.

Летом 1941 года на смоленский участок фронта были направлены десятки людей с одной и той же легендой: «Мы из Сумской области». Сумских стали расстреливать без долгих разговоров.

Тогда же в июле, перед переходом свежей 252-й дивизии через Западную Двину, над ее колоннами покругился самолет, сбросил множество листовок, где авторы, призывая «русских спасти Россию», все же писали последнюю через одно «с»

С католической церковью у нас установились странные отношения.

Сначала мы были взаимно напуганы друг другом.

Мы знали религиозность мадьяр и австрийцев, авторитет их попов. Приходилось учитывать, что отпускник нарушает, правда, заповедь насчет жены ближнего, но аккуратно сознается в этом на исповеди. Запретить проповедь было невозможно, контроль ее был бы не эффективен. Нужно было считаться с существованием авторитетного и бесконтрольного (единственного бесконтрольного) жанра пропаганды. На основании всего этого мы взирали на пасторов с некоторой опаской.

Что же касается пасторов, то, клевета еженедельно о наших атеистических зверствах, они отчасти уверовали в них сами, а более боялись ответственности за клевету.

Просто игнорировать друг друга было невозможно. По мудрому приказанию Вселукавейшего римского престола, попы повсеместно уклонялись от принудительной эвакуации и остались с паствой.

Итак, разделившись с государственной частью своей деятельности в Надьканиже, я вызвал к себе в комендатуру католического викария с замом, а также евангелического и лютеранского пасторов. Я забыл предупредить на входе, и часовой долго не пускал их вовнутрь.

Наконец они вошли, расселись в коридоре, старенькие, толстенькие, с неприятными старушечье — женственными физиономиями.

Со страхом ожидали викария (его я вызвал первым). Однако, едва он просительно просунулся в дверь, я встал и самолично усадил его в кресло. Мы были обоюдно сладкими — сладкими. Я называл его «святой отец» и даже «ваше святейшество». Барбье получил приказ переводить поживее.

Викарий обращался ко мне не иначе как «достопочтенный господин майор».

Прошло полтора месяца, и епископ Штирии возвел меня в «ваше высочордие». Тогда же это было для меня внове.

У господина викария не было никаких претензий к Красной Армии. Он охотно прощал ее бойцам отдельные эксцессы типа кражи двух свиней и одной поношенной шелковой рясы во Францисканском монастыре.

Здесь же я отметил, что уже укоренилось мнение, что красноармеец способен только на «имущественный ущерб

церкви», но никогда не посягнет на личность священнослужителя и тем более не совершит кощунства.

По тем временам это было вполне приемлемое мнение.

В итоге викарий признался мне, что он благодарит Бога за приход Красной Армии. Мотивация благодарности была, правда, несколько неожиданной. Викария радовало, что наконец хоть какой ни есть мир установился.

Все же я присоветовал ему огласить эту благодарность в воскресных проповедях, во всех двенадцати церквях города.

На этом мы и разошлись, весьма довольные друг другом.

Зато в это же утро мне попался преотвратительный лютеранский попишка. Недаром половина его прихожан — немцы — сбежала из города. Он совсем осмелел, узнав от викария о моем благодушии, и сразу же начал жаловаться — все на тот же «имущественный ущерб».

При этом он необдуманно допустил ехидство, сказав: «К счастью, ваши солдаты воспитаны в неведении лютеранского обряда. Поэтому, проникнув в мою церковь, они не обратились к ларцу с драгоценными сосудами, но сорвали и унесли две милостинные кружки. В одной было полтора килограмма медных денег, в другой — не более восьмисот граммов».

Я съел, но ответил ему, что христианам предписано прощать своих обидчиков, особенно если обида измеряется такой мизерной цифрой, как «не более восьмисот граммов меди».

И отпустил его с миром.

Позже мы неоднократно встречались с викарием и начинали кланяться друг другу за двадцать шагов.

Совсем иной характер носили мои отношения с Павликовским, фюрстбишофом Штирии. Этот сам искал встречи со мной и явственно был уверен, что при любом обороте дел я его в каталажку не посажу.

Павликовский — мужчина пятидесяти лет или немногим больше, толстощекий, молодцеватый, с некоторой офицерской игривостью. Да он и был офицером — полевым епископом австрийской армии.

Он, либерал и оппортунист в политике, в частной жизни — любитель закусить и, кажется, бабник.

Поставили мы у его квартиры двухсменный пост — двух молодых сержантов. Через неделю Павликовский просит отозвать караул — сержанты ночуют у его молодой горничной.

В письме чувствуется обида не только принципиальная, но и личная.

Он осведомлен о наших церковных делах и оценивает их правильно.

Я спрашиваю его о служебной подчиненности.

— По вопросам каноническим я получаю указания от архиепископа Зальцбургского, по всем вообще вопросам — от святого Престола. Фактически же — мне некому подчиняться, так как уже семь лет между Штирией и Римом нет никакой связи.

При этом он вздыхает, и его толстая рожа преисполняется смирением. Я спрашиваю его о размерах его влияния.

— У меня около миллиона прихожан — девяносто пять процентов всего населения Штирии (я точно знаю, что не более девяноста). Четыреста с лишком церквей, двадцать два монастыря. Фашисты арестовали сто семьдесят из моих подчиненных. Но все же у меня достаточно людей, чтобы служить.

Он забывает сказать, что в его руках «народная» христианско — социалистическая партия, «черные» — треть избирателей, которую мы вынуждены легализировать и которая четыре года диктовала в Австрии.

Его требования велики и определены.

В условиях полновластия безбожной Красной Армии и атеистического, «красного» социал — демократического правительства он наступает по всему фронту.

— Монастырские здания, захваченные фашистами, должны быть возвращены монахам. И монахов собирают по домам, водворяют в монастыри.

— Народная партия должна получить портфели, здания, место под солнцем.

— В школах должно быть восстановлено преподавание Закона Божьего.

И социал — демократы, в свое время нажившиеся на просвещенческом радикализме, вводят Закон Божий — правда, только для детей верующих родителей. У Павликовского два довода: оборонительный — сто семьдесят интернированных нацистами католических священников, и наступательный — миллион католиков в Штирии.

С ним приходится церемониться более, чем с кем-либо из «местных».

Государству, широко популяризовавшему в свое время песенку:

Долой, долой монахов!
Долой, долой попов!
Мы на небо залезем,
Разгоним всех богов! —

в качестве официального отношения к религии, ныне приходится быть более роялистом, чем король (т. е. чем союзники).

И в то время, как неумудренные в политике солдаты дважды обчищают князь — епископские кладовые, мы, начальство, идем на важные уступки. И потихоньку насаждаем профессорскую христианско — идеалистическую оппозицию в народной партии.

— У вас польская фамилия, господин майор, — это Павликовский деликатно осведомляется о моей национальности.

Узнав, что я полуполяк — полурусский, он обрадованно объявляет о своем полупольском — полунемецком происхождении. И мы обрадованно улыбаемся друг другу. Далее выясняется легкий игривый антисемитизм господина епископа — офицерского, кают — компанейского типа. Впрочем, он быстро умолкает — из почтения к моим погонам интернационалистической армии.

Моя первая и единственная встреча с мусульманскими попами относится к сентябрю 1944 года.

Мусульмане — наиболее темные и бедные — десять процентов болгарского населения. Потомки завоевателей, они не усвоили реваншистского пантюркизма их крымских или казанских сородичей. В городе — это парикмахеры, на селе — бедняки, в армии — саперы и пехотинцы.

Свирепость школьных учебников поглощается национальным добродушием болгар и создает для мусульман сносный режим, конечно, при условии полной аполитичности. Даже рабочая партия не имела среди них никакого влияния.

Я узнал, что в Плевне проживает муфтий Северной Болгарии — духовный вождь ста тысяч верующих, — и предупредил его о своем желании встретиться с ним.

Меня ожидал весь Духовный Совет муфтиата. Сам муфтий оказался совсем молодым человеком в бухгалтерском пиджачишке в елочку, без галстука и воротника, страдальчески краснел, он угощал меня кофе с паточными подушечками. Здесь они намного дешевле сахара.

Две тысячи лет тому назад разгромленный еврейский народ создал церковь мести и реванша — обруч, скрепивший нацию и раздавивший инакомыслящих.

Здесь, в убежище другой разгромленной религии, я не нашел ни пророков, ни фанатиков. Унылые ремесленники, изрядно безграмотные, потихоньку жаловались на зажим, на безденежье, хвалили усердие в вере своих нищих прихожан.

В Красной Армии нашелся элемент, чрезвычайно для них приемлемый. Еще в Руцук в городскую комендатуру пришел

пастух из дальнего черкесского села. Он пригласил на начинающийся рамазан сто красноармейцев, обязательно из мусульманских народностей. Если найдется тысяча, все равно, пусть приходят все — мы обратимся к соседям и примем всех как положено.

Старички в фесках, мирные цирюльники с злодейскими лицами, затаив дыхание, слушали о наших знатных татарах, о шести мусульманских республиках, о генералах и комиссарах. Мне было обещано, что сто тысяч верующих будут молить Аллаха за Красную Армию. На этом мы расстались

Разложение войск противника

Последнее вещание

В конце апреля в воздухе повеяло капитуляцией. Мы так устали ждать победу, что умышленно отвергали возможность увидеть ее ранее, чем через многие месяцы. Давным — давно была забыта легковерная зима под Москвой, когда весь фронт точно знал, что 1 марта мы перейдем старую границу, и в ротах митинговали в честь взятия шести городов: Орла, Курска, Одессы и еще чего-то.

Противник вел себя так же, как и полтора года назад.

Тем не менее, победа предчувствовалась во всем — в потрясающем ландшафте австрийских Альп, в письмах из дома, в позывных радиостанций, во внезапной осторожности, с которой стали ходить по передовой очень храбрые люди. 7 мая в Реймсе были получены подписи немецких уполномоченных под соглашением о капитуляции. В ту же ночь Военный Совет получил шифровку Толбухина — обращение к командованию и солдатам противника.

Это был приказ, прямой приказ — кладите оружие!

Он еще опирался на немецкие документы, на слова Денница, на тексты соглашения. Но сама определенность тона свидетельствовала, что отсюда, из этих жестких слов, выйдут регламенты лагерей для военнопленных, распоряжения о льготах за превышение нормы поведения, требование ста лет насильственной демилитаризации Германии. Шифровку настрого засекретили — от всех, включая командиров дивизий. В ее действенность почти верили, но яснее ясного была необходимость удержать войска от преждевременных радостей, от всякого чмоданства и сепаратного (каждый для себя) заканчивания войны.

Утром 8 мая мне вручили текст и инструкции. Поехали в левофланговую дивизию — 104-ю, занимавшую Радкерсбург.

Вещать было приказано с 16.00. Это была верная смерть — чрезвычайно обидная — смерть в последний день войны.

До этого мне пришлось единожды вещать днем. Это было в Белграде — во время боя за Королевский дворец. Но тот бой походил на карнавал. Нашей работе аплодировали тысячи горожан. В рупоре торчал огромный букет. Десять человек вышли из толпы, когда я вызывал добровольного диктора, знающего сербский язык.

И мы все были как пьяные от осеннего солнца, от запаха бензина и асфальта, от восхищения девушек, от бесспорной опасности — издали, усыпанная цветами, она походила на победу.

Сейчас я не чувствовал ничего, кроме тупой усталости. В Радкерсбург собрался ехать именно потому, что его каменные дома представляли укрытие, шанс, убежище.

Еще на подъезде к городу меня поразило странное молчание. Молчал весь немецкий берег. Молчал трехэтажный каменный дом на холме, с крыши которого немцы различали масть всякого куренка, преследуемого нашим солдатом.

Комдив полковник Обыденкин с торжеством сообщил мне, что немец удрал еще утром и разведчики не достигли еще немецких хвостов.

Я развернулся и поехал к правому соседу. Это была 73-я дивизия. Машина медленно ползла по крутым склонам. Огромная, тупорылая, с белым бивнем рупора, покачивающимся впереди, она напоминала мастодонта, захиревшего в цивилизации, но сохранившего грузный голос и странную легкость движений. На НП Щербенко, комдива 73-й, происходили необычайные события. Два часа тому назад сюда приезжала машина с капитаном, адъютантом командующего 2-й танковой армией де Ангелиса. Де Ангелис запрашивал условия капитуляции и просил прекратить стрельбу на участке армии. Это был конец войны. Стрельбу прекратили, адъютанта накормили обедом и отпустили с почетом.

В ожидании варягов и их золотых кольчуг на горку начало собираться начальство — дивизионное и корпусное. Приехал комкор Кравцов и его начальник политотдела <...> Грибов.

Предстояло вещать с позиции, находящейся на равном расстоянии от обеих аудиторий — немецкого переднего края и горки с нашими генералами.

Был день, белый день. Единственным выходом было свалиться под откос, сломать оси и ноги. Но об этом не думалось.

Я плавно съехал с горки, развернулся, стал за домом. Пока грелись лампы, механически чистил сапоги валявшейся здесь же черной щеткой.

В радиусе трех километров в обе стороны два передних края видели нас. Видели и готовились — слушать. Экипаж, бледный и решительный, стоял у подвала. Я взмахнул рукой. Рупор откашлялся по — профессорски и заревел: «Война кончена».

Чтение приказа занимало девять с половиной минут. Добавьте паузы. Через три чтения я израсходовал половину заряда аккумуляторов. Мы выключили рупор и собрались ехать в

другую дивизию. Казалось, война заканчивалась и для нас. Второе вещание могло начаться не ранее двенадцати часов — в темноте и относительной безопасности.

Не тут-то было.

Ко мне прибежал адъютант и передал приказание Кравцова: выдвинуться на пятьсот метров вперед, вещать текст еще два раза.

Пятьсот метров вперед означало четыреста метров от противника, открытая дорога, открытая местность.

Мой техник, хороший семьянин, осторожный человек, взбунтовался. Я укротил его злым взглядом. Поехали.

Было светло, совсем светло. Когда начали вещать, в сторону немцев была дана провокационная пулеметная очередь. Мы ждали. Я слышал, как осекся голос Барбье в кабине. С четырехсот метров нас достала бы и револьверная пуля. Но немцы молчали, слушали; казалось, что лес, скрывавший их передовую, дышал напряженным вниманием.

Тогда, отвечав приказ предписанные два раза, я озорно отпраздновал свое окончание войны — вальсом Штрауса, исконной музыкой разлагателей. Развернулся и медленно пополз в 214-й полк. Здесь должны были состояться последние вещания.

В штабе у приемника, топыря уши, сгрудились 23-летний полковник Давиденко, храбрец и умница, его майоры и капитаны. Слушали Белград. Из его плохо понимаемых передач родилось большинство слухов последних дней войны.

Около часа ночи в машине включили динамики, а я сошел в подвал, прилечь на полчаса. От пяти бессонных ночей, от физически ощутимого риска ныли кости, как от длительной перебежки под огнем.

Телефонист возбужденно передал мне трубку. Замполит полка майор Филюшкин, собрав у трех телефонов своих батальонных работников, читал им сообщение об окончании войны. Словно в телевизоре, вырисовывалась смятая бумажка, его четырехклассные, запинаящиеся буквы. Но когда заместители, не сговариваясь, заорали «ура!», я не выдержал и крикнул вместе с ними.

Война была окончена.

В этот миг раздались взрывы — семь, десять, двенадцать. Было ясно, что они производятся образцово — одновременно, по приказу. Только разница в расстояниях производила впечатление некоторой последовательности взрывов.

Ровно в полночь армия де Ангелиса, обманувшая нашу бдительность симуляцией покорности, помчалась на запад, к добрым англичанам, сдаваться им в плен.

Прикрывающие отход саперы в назначенный срок взорвали

мосты.

К моменту взрыва между нами и ними было пятнадцать километров, испорченная дорога, их страх, наша пьяная, усталая радость — радость окончания войны.

Через час мы сидели у Давиденко. Его комендант разбился в лепешку, собирая этот стол. Парами стояли большие, одинаковые бутылки — спирт, вода, спирт, вода.

Вкусно пахли дары благодарного населения — жаренные гуси. Они были приготовлены настолько основательно, что всем стало ясно: комендант врет, оправдываясь импровизацией. Он знал о празднестве по крайней мере сутки тому назад.

Спирт разлился по самым отдаленным закоулкам тела. Над столом поднялся раскрасневшийся Давиденко, «наш Чапаев», как его называли в дивизии.

Он сказал: «Мы очень много слышали про немца за последнее время. Сначала нам говорили: разбить зверя; потом: добить зверя; потом: добить зверя в его собственной берлоге. И вот мы забрались в берлогу. Слышим: до победы остались месяцы; потом: недели; потом: немногие дни. И когда мы спорили, остаются часы или минуты, война окончилась. Взяла и окончилась. Ее больше нет, товарищи, и если завтра придется драться с фрицем, то об этом не напишут в сводках. И за это не дадут орденов». Так сказал Давиденко.

Наутро мы бросились догонять фрицев.

Себастиан Барбье

Пленного немца, Конрада Каневского, который трудился на меня в 1944 году, солдаты называли Кондрат. Его заместитель Себастиан Барбье, революционный эсэсовец, был соответственно перекрещен в Севастьяны.

Барбье был типичным немцем ближайшего будущего. Еще в 1943 году он понял, что, собственно говоря, все кончено. Полвека необъявленных войн изжили себя. Им на смену шли пятьдесят лет широко рекламируемого возмездия.

Внезапно немцы убедились, что они маленький народ, бедный народ. И афоризмы морали господ были быстро вытеснены краткими правилами: бьют — утрись и улыбнись, теснят — отходи в сторону. Когда бы доктрина христианства была впервые провозглашена в 1945 году, она нашла бы преданных adeptов в лейтенантах баденских и гессенских дивизий.

Барбье рано продумал свои пятьдесят лет смирения. Перебегать к партизанам было нецелесообразно — они убивали всех немцев без исключения. Зато он перебежал к нам в первом

же бою.

Позже он рассказывал: «Я знал, что самое главное — пройти передний край. Со штаба батальона начинается порядок, а на передовой — обязательно побьют, может быть сильно». С удовлетворением отмечал, что его побили несильно.

Он происходил из Баната — края кулаков, двести лет подряд выписывавших сельскохозяйственные журналы и не читавших газет.

Здесь под черепичными крышами, за каменными, вечной кладки заборами, притрушенными песком, идет жизнь — медленная и густая, как отличное банатское масло. Здесь традиционно голосуют за список номер один — правительственной партии — и не отягощают себя чтением ее программ.

Здесь совершенно отсутствует элемент присутствия безумцев и идеологов. Может быть, поэтому в Банате нет ни искусства, ни культуры, ни политики и его люди говорят на швабском диалекте — воспоминании о языке Клопштока и Гердера.

С 1933 года банатцы начали получать посылки из Германии. Приезжие агитаторы искусно возбуждали уснувшее национальное чувство. Двести лет здесь говорили: «Мы банатцы» или реже: «Мы швабы!» Сейчас они узнали, что они немцы!

И желание бодливости, которое вытолкнуло рога из черепов робких оленей, овладело банатцами.

В 1941 году они дали двадцать тысяч юношей в дивизию СС «Принц Евгений». Перестали здороваться с православными односельчанами. Разделили имущество окрестных евреев. Так погиб Банат — родина Барбье.

Барбье утверждает, что Германии предстоит пятьдесят лет банатского периода. Отсидиваться от сильных врагов. Подставлять ляжки, закрывать голову. Торговаться по — хорошему. Не мечтать, не восстанавливать даже — латать черепичные крыши, расплесканные минометным огнем. В этой исторической перспективе он утром чистит свои сапоги, а вечером ведет со мной длинные разговоры о судьбе народов, империй, религий.

Барбье хорошо знает «своих».

В Австрии его пришлось одергивать: переводчика господина майора боялись больше, чем самого господина майора. Губернатору он говорил: «Выражайтесь пояснее»; епископу: «Мы не интересуемся переживаниями»; секретарю обкома социал — демократической партии: «Пришлите председателя, он, кажется, потолковее, чем вы». И приносил мне не докладные, а суммы формулировок — ясные, точные, краткие.

Презирал немецкую исполнительность, дисциплинированность, доверчивость. Знал: это все, что осталось у Германии, с этим придется латать черепичную крышу.

Воспитание его началось в старой Югославии, где дюжина наций грызла друг друга, и продолжалось в эсэсовской дивизии, которая жгла сербские деревни и сокрушала столбы с их названиями, чтобы не оставалось имени поверженного врага. Узнав наших солдат, он изумился. И ошибся, приняв их интернационализм за особую, чисто русскую отходчивость. Он знал, что не найдет ни семьи, ни земли, вдумчиво расспрашивал, как живут единичные немцы, допущенные партизанами к существованию. Примеряя себя к этой жизни, иногда жаловался мне: «Плохо быть немцем». В Венгрии называл себя сербом, в Австрии — мадьяром. Так чувствовали себя евреи в начале великого рассеяния.

Был красив. Штабные девушки засматривались на его русые волосы, на печальные глаза святого отрока, послушника из бедного монастыря.

Грешил с немками, венгерками, словенками. Смотрел на них просто и спокойно, так же, как и наши солдаты.

У него было самоощущение человека без предков, без рода. В деревню он хотел прийти без тяготы вещей, в штанах и рубахе. Отказывался от даров. Подаренный мною полушубок подержал в руках и сказал, что продаст за динары на югославской территории.

С алчным и завистливым недоверием слушал рассказы о советской стране — государстве без шовинизма и шовинистов.

Не знаю, считал ли он нашу доктрину самой справедливой, но безусловно — самой сильной, и старательно штудировал «Войну и мир» и «Краткий курс», сопрягая непохожие формулы этих книг.

С холодным вниманием выслушивал жалобы своих компатриотов, горькие стоны изнасилованных, жадные вопли ограбленных. У него было хорошее отдаление от событий, перспектива, включающая и боснийскую хижину, сожженную им в 1942–м, и концлагерь, куда в 1945–м посадили его стариков.

У него был закал историка, Иосифа Флавия, шагающего по сожженной Палестине, считающего страдания и определяющего их закономерность, оправдывающего их закономерность, думающего не о прошлом, а о будущем.

С чем сравнить беспутное наслаждение, охватывавшее меня, когда, поворочавшись в десяти выбоинах, МГУ выползала на горку и судорожно скрипела, разворачивалась в сторону противника.

Подобно гаммельнским крысам, немцы любили музыку. И я, как старый флейтист из Гаммельна, обычно начинал вещание со штраусовского вальса «Тысяча и одна ночь». Вокруг слоями напластывалась тишина — молчание ночного переднего края на спокойствие партера.

Из соседних ОП прибегали сержанты и молили перевести машину в другое место — сегодня уже убило двоих из расчета. Пехотные командиры завлекательно обещали провести на горочку — и ближе, и безопаснее. Фрицы, мечтательные фрицы, выползали из блиндажей — топырили уши, сбрасывали каски. А я вещал «Тысячу и одну ночь», будя ностальгию, тоску по родине, самую изменническую из всех страстей человеческих.

Командиры стрелковых взводов боялись моей работы. Задолго до выезда по всем штабам проносилась молва о «Черном вороне», о «Зеленом августе», машине, извлекающей огонь. И только солдаты по обе стороны линии ликовали, насвистывали, басили во тьму: «Еще, еще».

Предполагаемая сентиментальность фрицев определяла репертуар. На многих машинах ездили девушки — немочки из московских и эмигрантских семейств. Одна из них выдала себя за еврейку. Другая, более смелая, называла себя «фричихой». Были голоса, известные десяткам тысяч немцев, как позывные мировых радиостанций. Восемнадцатилетнюю Ганну Бауэр посадили в оборудованный для вещания «У-2», и две передовые, затаив дыхание, слушали ее детски пронзительный голосок, доносившийся из-под ближних облаков.

Иногда МГУ была гаммельнской флейтой не только в переносном смысле. На Донце взвод разведчиков переправился под музыку через Донец, около часа орудовал на том берегу, возвратился обратно. Сыграно было двадцать пластинок. Комбаты уговаривали молодых инструкторов выманить фрицев из-под земли и жестоко били в упор меломанов и мечтателей — последние ошметки моцартовской, добродушной, выдуманной Германии. Немцы заползали в блиндажи. Минометы плашмя ощупывали окрестность. В дикторской кабине все ходило ходуном от взрывной волны. Я стоял у машины и с тревожным восторгом решал: «Прекратить? Нет, поиграть еще»

О Других и о себе

Знакомство с Осипом Максимовичем Бриком

Первая настоящая книга стихов, которую я прочел по — настоящему, то есть выучил наизусть, была красноватый кирпичик Маяковского. Первым в моей жизни настоящим писателем был О. М. Брик.

Однако все это требует пояснений.

Нашему литературному отрочеству — в Харькове тридцатых годов, — моему, отрочеству Кульчицкого и нескольких людей, забытых более основательно, чем Кульчицкий, полагались свои богатырские сказания, свой эпос. Этим эпосом была история российского футуризма, его старшие и младшие богатыри, его киевский и новгородский циклы.

Не то чтобы мы не интересовались другими поэтами. Интересовались. Впервые в жизни глаза заболели у меня после целосуточного переписывания Есенина с полученной на одни сутки книги. И многое другое переписывалось, зналось наизусть, обговаривалось — тогда это слово еще не начало путешествия из украинского в русский язык.

Однако все остальное было географией зарубежных стран, а футуристы — родиной, отечеством. Родную страну мы изучали основательно.

Сначала стихи Маяковского; потом его остроты — по Кассилю; потом рассказы о нем — по Катаняну; потом мемуарные книги Шкловского и устные сказания.

По городу, прямо на наших глазах, бродил в костюме, сшитом из красного сукна, Дмитрий Петровский. На нашей Сабурке в харьковском доме умалишенных сидел Хлебников. В Харькове не так давно жили сестры Синяковы. В Харькове же выступал Маяковский. Рассказывали, что украинский лирик Сосюра, обязавшийся перед начальством выступить против Маяковского на диспуте, сказал с эстрады:

— Нэ можу.

Камни бросали в столичные воды. Но круги доходили до Харькова. Мы это понимали. Нам это нравилось.

Осенью 1937 года я поступил в МЮИ — Московский юридический институт.

Из трех букв его названия меня интересовала только первая. В Москву ехала девушка, которую я тайно любил весь девятый класс. Меня не слишком интересовало, чему учиться. Важно было жить в Москве, не слишком далеко от этой самой Н.

В Московском юридическом институте был литературный кружок. Им руководил О. М. Брик. Я пробыл в кружке без малого два года. Не помню, как часто мы собирались, однако несколько десятков раз я слушал О. М., и несколько раз он слушал меня.

Московский юридический институт только что потерял имя Стучки, догадавшегося помереть лет за пять до этого, притом в своей постели. Многие преподаватели — целыми кафедрами — и многие студенты — исчезли. Исчезли и целые науки, целые права, например хозяйственное право, разработанное, если не ошибаюсь, Пашуканисом. Науки исчезали вместе со всей людской услугой. Незапланированный смех в большом зале (имени Вышинского) вгонял лектора в холодный пот. Он означал оговорку. Оговорка не означала ничего хорошего.

По пятницам в большом зале (имени Вышинского!) собирались комсомольские собрания и мы исключали детей врагов народа — сына Эйсмонта, племянницу Карахана, племянника Мартова. Исключаемого заслушивали. Изредка он защищался. Тогда в зале имени Вышинского становилось жарко — молодые почитатели Вышинского (это был Суворов института, пример для подражания) выходили на трибуну упражнять красноречие, показывать свежеприобретенные знания.

В таком-то институте О. М. пришлось вести литературный кружок.

Кому кружок был нужен?

Многим.

Тем, кто тренировал ораторские способности на собраниях.

Тем, кто попал в институт случайно, как в самый легкий из гуманитарных — потому что не давалась математика, потому что тайно пописывал и явно почитывал стихи.

Но кружок был нужен и мне. И Дудинцеву — он учился старше меня на курс. И еще трем или четверем, которые вскоре сбежали из гуманитарной юриспруденции в театроведение, в журналистику, в психиатрическую больницу или в привокзальные носильщики.

На лекциях было скучно. На кружке было интересно. Ходило человек 15–20.

В 1938 году О. М. было, наверно, около пятидесяти. Я не помню, как он входил в кабинет, где обычно собирался кружок. Помню его сидящим. Сверху вниз: лысина, проторенная среди тщательно постриженных волос, просторный лоб, очки, за ними серьезные глаза, плотные плечи, хороший костюм, свежая рубашка, тщательный галстук. Он, работавший с самыми буйными и талантливыми головушками русской поэзии, сохранил осанку, повадки, педагогику и в кружке, сплошь состоявшем из

посредственностей. Однако на этот раз резец обтачивал воздух.

Обычно бывало так: молодое дарование читало стихи (прозу писали один или два человека). Потом высказывались — кто умышленно, в порядке тренировки красноречия, кто неумышленно, искренне.

Иногда я встречаю бывших кружковцев. Козушина — он теперь юрисконсульт, а тогда писал стихи, из которых запомнились строки:

Поезд отходит в девять двадцать.
Надо прощаться. Надо прощаться.
Надо на цыпочки тихо привстать,
Близким и дальним «Прощайте!» сказать.

Козушин помнит о кружке много больше моего. То была золотая пора его стихописания.

Встречаю Андрея Коробова. Сейчас он заместитель председателя Инюрколлегии, высуживает у иноземных держав завещанные советским родственникам наследства.

Встречаю Симеса. Он адвокат, специализировался по авторскому праву.

Коробов и Симес были интеллигентными юношами. В кружок они ходили отчасти с тем, чтобы повеселиться. Веселились чаще всего над Кобановым. Михаил Кобанов, толстый и мрачный, писал басни с не вытекающей из текста моралью. Кобанов казался дурачком, а потом выяснилось, что он подлинный сумасшедший со справкой.

Помню еще Лаврентьева Леню. Сейчас он военный следователь, полковник, а тогда был знаменит в институте строчками:

Я понял все и не люблю тебя.
Забыть тебя мне ничего не стоит.
И только изредка, в волнение теребя,
Я слабость рук не в силах успокоить.

Был Женя Прянишников, ныне адвокат, очень добрый человек. И у него было знаменитое стихотворение «Почему я счастлив» — на рождение ребенка. Счастлив Прянишников был потому, что

Кроме мужа
Я счастливым стал отцом.

Знаменитую радиопередачу «С добрым утром!» возглавляет Виталий Аленин, тоже бывший поэт, бриковский литкружковец.

Все они зачитывали стихи. Потом они высказывались. Потом Брик резюмировал: вежливо, серьезно, но окончательно.

Он не выделял среди нас никого. Ни на кого из нас не возлагал надежд, со всеми был ровен и внимателен.

Зачем он ходил на кружок, почему не бросил его? Не знаю. Может быть, нужны были деньги, небольшое почасовое вознаграждение. Впрочем, Лиля Юрьевна напомнила мне записанный когда-то Бриком афоризм: «Всю жизнь я делал то, что мне хотелось. Когда за это платили, я говорил “спасибо”».

Стало быть, хотелось Брику возиться с нами, грешными.

В те годы он много занимался Тургеневым, о котором, кажется, ничего не написал. Смутно помню о какой-то работе для кино, кажется, о лечении чьих-то безнадежных сценариев.

Публиковаться Брик тогда совсем перестал. После двух десятилетий работы с большими умами и большими безумиями Осип Максимович возился с посредственностями.

Я был среди тех кружковцев, кто высказывался и веселился. Отпирался, что пишу стихи, и впервые прочел их только осенью 1939 года на третьем году хождения к Брику. Но это тоже требует дополнительных пояснений.

Серьезно читать стихи я начал рано, лет в 10–12. Seriously писать — поздно, лет в 18, под влиянием все той же любви, которая вытолкнула меня в Москву. Я писал и понимал, что пишу плохо. Не обольщался, не искал слушателей, почти единственным моим читателем года три подряд был Миша Кульчицкий, разделявавший меня на все корки.

Хорошо я жил в те годы — 37-й, 38-й, 39-й! Стипендия 120 рублей плюс 50 из дому. Обедал раз или два в месяц — питался булками, тогда еще именовавшимися французскими. И беконом, разрезанным столь тонко, что хватало надолго. Чай — без заварки, но с карамелью. Температура в общежитии — не выше 9 градусов всю зиму. От общежития до института — 23 трамвайные остановки. Первые десять остановок кондукторша не решаете требовать у студентов покупки билетов. В институте бледные профессора читают бледные курсы наук. Я почти сразу понял, что юриспруденция мне ни к чему. Н. разонравилась, как только я присмотрелся к московским девушкам. Бронхиты, плевриты, воспаления надкостницы. Процессы в легких. Процессы в газетах.

В 37-м, 38-м, 39-м годах у меня не было ничего, кроме заплатанного ватного одеяла и стихов, которые я писал все время:

в трамвае — все 23 остановки, в институте — все лекции, в общежитии — ночью, в коридоре, чтобы не мешать пятерым соседям по комнате.

Я писал стихи и показывал их Кульчицкому — в Харькове на каникулах.

Брику я стихов не показывал — стыдился. Тогда я уже хорошо знал, кто такой Брик!

Его статьи я прочел много позже. Его «Болотников» мне не нравился. И тем не менее я хорошо понимал, кто такой Брик.

В стене литературы книги — кирпичи. Но стена не встанет без цемента, скрепляющего кирпичи, и без архитектора, придумавшего стену.

Брик был цементом и был архитектором. Я это хорошо знал. И все, знавшие Брика (точнее, все, кто поумнее), знали, что он цемент и архитектор.

К лету 1939-го у меня было два с небольшим года литературного стажа и двадцать с небольшим стихотворений, аккуратно переписанных в небольшую книжку в черном кожаном переплете. Эту-то книжку я стыдился показывать О. М. и не показал бы, если бы не Кульчицкий.

Слушая привозимые мной из Москвы стишки, Кульчицкий мрачнел от каникул к каникулам, снисходительность его блекла, и однажды он сказал, что в Москве, наверно, другой воздух, потому что настолько менее, чем он, даровитый поэт пишет настолько более интересные, чем у него, стихи.

Кульчицкий был самолюбив, но свое будущее он любил больше своего настоящего.

В самом конце августа 1939 года мы выписывали с ним из московской телефонной книги адреса знаменитых поэтов — в алфавитном порядке. В Литературный институт, куда Кульчицкий решил переводиться, нужна была рекомендация.

Сперва мы пошли к Асееву. Его не было дома.

Алтаузен — табличку мы прочли в том же подъезде — открыл дверь на наш звонок (помню, совершенно голый и черноволосатый) и сказал нам, что он работает. Потом мы пошли к Антокольскому. Он выслушал Кульчицкого, изругал его и охотно дал рекомендацию. Потом попросил почитать меня — сопровождающее лицо. Восхвалил и дал рекомендацию. Через сутки я был принят в Литературный институт и целый год подряд гордился тем, что получаю две стипендии — писательскую и юридическую.

В сентябре 39-го года кружок МЮИ заслушивал меня — торжественно и многолюдно, поскольку способности мои были удостоверены государством. Я не помню, что сказал

О. М. Наверное, стихи ему не понравились. Конечно, ничего обидного. Конечно, был вежлив. Интересно Брик говорил о том, что его интересовало.

Я перестал быть литкружковцем Брика. Три или четыре месяца спустя наши встречи возобновились на территории Лили Юрьевны.

В этих мемуарах, пожалуй, слишком мало про Брика и слишком много обо мне. Но я помню некоторые разговоры с О. М.

Однажды я вычитал у кого-то из формалистов (наверное, у Шкловского), что новый поэт обязательно оспаривает и разрушает формы старого поэта и канонизирует младшие линии. Значит, нам с товарищами придется разрушать форму Маяковского. Это умозаключение я решил проверить у Брика. Он ответил, что литературные революции бывают редко и моим товарищам предстоит осваивать завоеванные футуристами территории, а не захватывать новые. Это нам не понравилось. Мы хотели захватывать.

Рассказ Брика о Безыменском — тот прослышал, что стихи «Горе от ума» стали пословицами, и решил навдумывать побольше пословиц, а потом приписать к ним комедию («Выстрел»).

Рассказ о Луначарском, о его творческом методе: целый день трудиться в Наркомпросе, а пьесы писать по ночам, когда мозги не варят. Брика (и, по его словам, Маяковского) очень веселили пьесы, написанные неварящими мозгами.

Сцена, коей я был случайный свидетель.

Лестница Литературного института, большая перемена. Встречаются О. М. и Сельвинский. Оба держат в руках только что вышедшую книгу стихов Эренбурга. Взаимно ухмыляются. Открывают книги, каждый свою. Показывают друг другу рифмы Эренбурга. Расходятся.

Битвы с конструктивистами тогда еще были свежи в памяти. Однажды, провожая Сельвинского домой, я спросил его (видимо, в слишком общей форме):

— Какой был Маяковский?

Сельвинский ответил:

— Маяковский был нахал.

За столом у Лили Юрьевны я из тех же человековедческих интересов после многих иных тостов поднял рюмку за Сельвинского. Произошло недоумение, но Лилиа Юрьевна выпила со мною и Кульчицким, сказав: «А что же, Сельвинский талантливый поэт», — и что они дружат.

Брик очень ценил Кульчицкого, выделял его из нашей компании. На семинаре, который он вел, Кульчицкому было

устроено особое чтение и обсуждение. Брик особенно хвалил строку из стихотворения о Пастернаке: «Стыд рожденья звезд» — и высказывался в таком духе, что Кульчицкий гораздо лучше Слуцкого.

О. М. рассказывал, что Булгаков читал во МХАТе пьесу «Заговор». В первом действии заговорщики сговаривались. Во втором они убивали Сталина. В третьем рабочие московских заводов отбивали у них Кремль. В четвертом действии был апофеоз. Труппа молчала, бледная. Секретарь парткома позвонил. Булгакова забрали — здесь же, в театре, — но скоро выпустили.

Это был один из очень редких разговоров на политические темы с человеком другого поколения.

Как себя чувствовали эти поколения тогда, в 37-м, 38-м, 39-м? О чем думали, чего боялись? С нами об этом разговоров не велось. Впрочем, был еще один рассказ О. М. — о слухах, что Балтрушайтис выслан из Москвы за то, что пытался помочь Бабелю и Мейерхольду уйти в Литву.

На войне, в самом ее конце, я получил письмо от Лили Юрьевны о том, что Брик умер. К тому времени у меня уже выработалась привычка к смертям, ежедневным и массовым.

Однако очень жалко мне стало Осипа Максимовича — что-то отломилось от меня самого

Как я описывал имущество у Бабеля

В 1938 году, осенью, я описывал имущество у писателя Бабеля Исаака Эммануиловича.

Это звучит ужасно. Тридцать без малого лет спустя я рассказывал эту историю старшей дочери Бабеля и она слушала меня, выкатив глаза от ужаса, а не от чего-нибудь иного.

На самом же деле все происходило весело и безобидно.

Осенью 1938 года я был студентом второго курса Московского юридического института. На втором курсе у юристов первая практика, ознакомительная. Нас рассовали по районным прокуратурам. На протяжении месяца пришлось попристутствовать и в суде, и на следствии, и в нотариальной конторе, и у адвоката — все это в первый раз в жизни. В самом конце месяца мы — трое или четверо студентов — достались судебному исполнителю, старичку лет пятидесяти. Утром он сказал:

— Сегодня иду описывать имущество жулика. Выдает себя за писателя. Заключил договоры со всеми киностудиями, а сценариев не пишет. Кто хочет пойти со мной?

— Как фамилия жулика? — спросил я.

Исполнитель полез в портфель, покопался в бумажках и сказал:

— Бабель, Исаак Эммануилович.

Мы вдвоем пошли описывать жулика.

К тому времени, к сентябрю 1938 года, я перечел нетолстый томик Бабеля уже десятый или четырнадцатый раз. К тому времени я уже второй год жил в Москве и ни разу не был ни в единой московской квартире. 23 трамвайные остановки отделяли Алексеевский студенческий городок от улицы Герцена и Московского юридического института. Кроме общежитий, аудиторий, бани раз в неделю и театра раз в месяц, я не бывал ни в каких московских помещениях.

Бабель жил недалеко от прокуратуры и недалеко от Яузы, в захолустном переулке. По дороге старик объяснил мне, что можно и что нельзя описывать у писателя.

— Средства производства запрещено. У певца, скажем, рояль нельзя описывать, даже самый дорогой. А письменный стол и машинку — можно. Он и без них поет.

У писателя нельзя было описывать как раз именно письменный стол и машинку, а также, кажется, книги. Нельзя было описывать кровать, стол обеденный, стулья: это полагалось писателю не как писателю, а как человеку.

В квартире не было ни Бабеля, ни его жены. Дверь открыла домработница. Она же показывала нам имущество.

Много лет спустя я снова побывал в этой квартире и запомнил ее — длинную, узкую, сумрачную.

В сентябре 1938 года в квартире Бабеля стояли: письменный стол, пишущая машинка, кровать, стол обеденный, стулья и, кажется, книги. Жулик знал действующее законодательство. Примерно в этих словах сформулировал положение судебный исполнитель.

Мы ходили по комнатам. Сколько их было? Две или три — не помню. В комнатах было чисто и так пусто, как будто все имущество, кроме не подлежащего описи, вывезли накануне. Старик был недоволен, а я кипел от дурацкого восторга, от соприкосновенности к Бабелю Исааку Эммануиловичу, не выполняющему договора и укрывающему от описи имущество.

Вдруг старик ухмыльнулся и вздел очки на лоб.

— Картина! Подлежит описи. Художественную ценность имеет? Ты в этом понимаешь?

— Не имеет никакой художественной ценности, — радостно ответил я, покуда перед моими глазами замоталось что-то зеленое и белое, а может быть, и черное. Какие картины могли нравиться Бабелю? Какие художники? Наверное, он понимал в этом деле, как и во многих других делах. А я не понимал в живописи. Судебный исполнитель тоже не понимал. Картина осталась висеть на стене, а мы с пустыми руками возвратились в Молотовскую районную прокуратуру города Москвы.

Это было в 1938 году, в самом конце сентября. Тридцать седьмому году шел уже двадцать первый месяц, и еще по крайней мере семь — восемь месяцев осталось у Бабеля — ходить по московским улицам, заключать договора с киностудиями, укрывать от описи свое имущество.

Какая-то невидимая черта, неизвестно кем проведенная, но прочная и надежная, как линия фронта после полугодовой обороны, отделила меня от тридцать седьмого года. Бабель оказался по ту сторону черты

На следующую войну я буду собираться умнее.

Но 13 июля 1941 года, когда я городским транспортом (употребление такси нам было мало известно; брали его только в складчину на четверых, когда опаздывали в институт в серьезные, послеуказные дни 1939, если не ошибаюсь, года — за любое опоздание газеты грозили судом) поехал на Курский вокзал, в моем чемодане были только вещи ненужные, непонадобившиеся. А именно:

Однотомник Блока в очень твердом домашнем переплете. Всю жизнь я собирался прочесть «Стихи о Прекрасной Даме» и думал, что на войне выберу для этого время и настроение. Не выбрал (как, впрочем, и после войны).

Однотомник Хлебникова в твердом издательском переплете. Хотел прочитать его «как следует». На войне не успел, а после войны — успел.

Эти два толстых и твердых, как железо, переплета почти обесценили мой вещмешок (куда вскоре перекочевали вещи) как подушку. Проще оказалось подкладывать под голову полено.

Две прекрасные капиталистические рубашки, привезенные мне за год до этого Петей Гореликом из Западной Украины. До войны я их не носил, жалел. А на войну взял с собой. Это было едва ли не самое нравящееся мне имущество.

Вещмешок достался через несколько дней противнику. Книжки мои выбросили, а рубашки поддевал под китель какой-нибудь немец. И похваливал.

Так мне и надо было. За глупость.

После войны

Потомки разберутся, если у них будет время, желание, досуг и, как теперь говорят, бумага.

А пока нужно и самому про себя сказать.

«Ты про себя скажи!» — кричали на партийных собраниях в ЦК профсоюза коммунальников. Я там состоял на учете лет шесть после войны как направленный райкомом инвалид войны. Сначала как инвалид, потом просто как нигде не служащий, не состоящий.

Где я только не состоял!

И как долго не состоял нигде!

В 1950 году познакомился я с Наташей, и она, придя домой, рассказала своей интеллигентной матушке, что встретила интересного человека.

— А кто он такой?

— Никто.

— А где он работает?

— Нигде.

— А где живет?

— Нигде.

И так было десять лет — с демобилизации до 1956-го, когда получил первую в жизни комнату тридцати семи лет от роду и впервые пошел покупать мебель — шесть стульев, до 1957-го, когда приняли меня в Союз писателей.

Никто. Нигде. Нигде.

Может быть, хоть потомки учтут при оценке моих мотивов?

Мемуаристы не учитывают. Вчера Дезик читал мне свой мемуар со всем жаром отвергнутой любви, со всем холодом более правильно прожитой жизни.

Не учитывая.

Сколько у меня шансов было — это я сам знаю. Больше никто. Сколько козырей, сколько возможностей. Хотел распорядиться ими получше.

Как уж вышло.

Об интересных человеках.

— С кем ты сейчас дружишь? — спросил меня Зейда в 1948 году.

— Да есть интересные люди.

— Ты учти, интересными людьми многие инстанции интересуются.

Осенью 1952 года вызывают меня в райком. Третий секретарь — Прозорова. Лицо приятное, усталое. Сорокалетняя женщина,

вроде директрисы средней московской школы.

— Как это вы столько лет не работаете?

Посмотрел. У нее на столе — радиопрограмма.

Говорю:

— Вот во вторник моя радиокomпозиция идет по первой программе. Фамилия там напечатана. А в субботу — радиоочерк.

Проверила. Отпустила.

Фамилию мою в радиопрограмме печатали редко — раза через три. А на этот раз так случилось. В одной программе — дважды.

Отпустила.

Тучи несколько раз сгущались прямо над головой. И гром гремел. И молния была. Но неточно. По соседству.

Интересовались мной разные интересные люди. Вызывали других интересных людей. Спрашивали.

Особенно интересовались моими рассказами о Югославии. Время было такое. Разрыв с Тито. Но о Югославии я рассказывал объективно. Не обобщал. Только факты.

Вообще я старался рассказывать объективно. Только факты. Слушали меня с удовольствием. Девушки говорили: ты хорошо истории рассказываешь! И в самом деле, это были истории по Геродоту. Без вранья, но с литературной отделкой.

Когда истории рассказываешь по многу раз, они меняются, становятся впечатляющей, отточенной. В худшую сторону меняются.

Я это заметил и рассказывать перестал. И так, в некоторых случаях, не помню, что видел сам, а что рассказалось.

Мемуарист должен быть страстен и несправедлив. Чтобы не скатиться к объективизму.

Я от природы не слишком страстен и сравнительно справедлив. К объективизму качусь с удовольствием.

Прочитав книгу Надежды Яковлевны, долго высказывал ей претензии по линии мандельштамоцентризма и несправедливости к той среде, которая много лет эту семью питала в прямом смысле. Не без риска. Надежда Яковлевна слушала со злобной сдержанностью.

Еще ораторствуя, я понял, что кругом не прав. Ведь мемуары не история, а эпос, только без ритма. Разве эпос может быть справедливым?

Мне пришлось, довелось переводить сначала албанский эпос, а потом сербский. Одни и те же события, излагаемые с мусульманской точки зрения и с православной.

Я буду, конечно, все излагать со своей точки зрения. Но постараюсь, чтобы пылу было поменьше.

Еще один подход к мемуарам у Эренбурга. Он говорил, что хочет вспоминать только о хороших людях. Это уже сознательная деформация мира.

Н. А. Заболоцкий говорил не то о Пастернаке, не то о Шкловском, не то о них обоих:

— Люди это замечательные, но когда кончают рассуждать, я прошу, чтоб повторили по порядку.

По какому порядку?

Я предпочитаю порядок «Столбцов» порядку «Горийской симфонии».

Тот же Н. А. как-то сказал:

— Я долго относился к вам с подозрением, потому что вам слишком нравятся «Столбцы».

Да, слишком. И ему самому они всю жизнь слишком нравились. А к тем, кому они нравились мало, он относился не подозрительно, а плохо.

Эти годы, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчлененной массой. Точнее, двумя комками: 1946–1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948–1953, когда я постепенно оживал.

Сначала я был инвалидом Отечественной войны. Потом был непечатающимся поэтом. Очень разные положения.

Рубеж: осень 1948 года, когда путем полного напряжения я за месяц сочинил четыре стихотворные строки, рифмованные. Где они теперь?

Потом еще за долгие недели — первое с осени 1945 года нескладное стихотворение «Солдаты шли».

Стихи меня и столкнули с дивана, вытолкнули из положения инвалида Отечественной войны второй группы, из положения, в котором есть свои удобства.

Как инвалид Отечественной войны второй группы я получал 810 рублей в месяц и две карточки. В Харькове можно было бы прожить, в Москве — нет. Но у меня с войны еще оставались деньги.

Я старался не жить в Харькове. В Харькове был диван, на котором я лежал круглые сутки, читал, скажем, Тургенева. Прочитав страниц 60 хорошо известного мне романа, скажем «Дым», я понимал, что забыл начало. Так болела голова.

Гудзенко незадолго до смерти повстречался мне на улице — на Театральной площади — и сказал:

— Раньше я тебе никогда не верил, что у тебя все время болит голова. А теперь верю.

Это было в 1952 году. Голова у меня в ту пору болела уже меньше.

Вообще Харьков был диван со своими удобствами. Там я мог залежаться окончательно. Жил бы дома, питался бы, как тогда говорили, с родителями, ходил бы на книжные развалы, прирабатывал бы в областных газетах и, скорей всего, в 1949 году разделил бы судьбу своих преуспевавших товарищей, тогда космополитизированных.

В Харькове можно было почти не думать о хлебе насущном.

В Москве «натура, нужда и враги» гнали меня, как Державина, на Геликон. И загнали.

У моих московских товарищей были московские квартиры и московские родители — у Дезика, у Наровчатова. Я снимал комнаты 11 лет. Комната стоила, как правило, 400 рублей в месяц. Я зарабатывал — почти исключительно на радио — в среднем 1500 рублей.

Собственно, не в среднем, а 1500 — сколько бы ни работал. Какая-то невидимая рука держала меня вблизи от этой цифры, много ли я работал или мало. И я стал работать мало. Для заработка.

Стихи я тоже писал мало. Весь мой запас, накопленный в 1948–1952 годах, — два или три десятка главным образом баллад с концовками. Я их знал наизусть, от строчки до строчки, и читал часто с удовольствием.

Все написанное до середины примерно 1956 года я знал наизусть. А потом стал писать много, стал записывать не только выхоженное по многим улицам, стократно проговоренное вслух, но и пробы, эскизы, этюды, наброски и стал помнить выборочно, что получше. Потом, когда перестал читать в компаниях и не стал читать на эстрадах (почти), запоминал очень небольшое — одно или два стихотворения в год.

В компаниях мои стихи впечатляли (тоже термин времени), с эстрады — не впечатляли. Я относился к той редкой категории, которую на вечерах встречали лучше, чем провожали. Встречали за репутацию, а это было время моей наибольшей известности. Провожали за только что услышанное с недоумением, что оно понравилось меньше, чем ожидали.

Твардовский в Париже спросил у меня, знаю ли я наизусть свои стихи, и с гордостью сказал:

— А я знаю все четыре тома, и стихи, и прозу.

Впрочем, на вечере в «Мютюалите» он был единственным из нас, читавшим стихи по книжке. Волновался.

Моя поэтическая известность была первой по времени в послесталинский период новой известностью.

Потом было несколько слав, куда больших, но первой была моя глухая слава.

До меня все лавры были фондированные, их бросали сверху. Мои лавры читатели вырастили на собственных приусадебных участках.

Ахматова сказала мне о стихотворении «Бог»:

— Я не знаю дома, где бы не было этого.

А она все время думала про славу, свою и чужую, и понимала в ней толк. Она хотела сказать мне приятное: слишком много приятного говорил ей я. Но кроме того, она ревновала. И мне было сладко на душе.

И посейчас люди, которым в 1956 году было 18, 20, 25 лет, говорят мне:

— Как мы вас любили. Как мы вас читали.

Всегда в прошедшем времени.

С конца 1948 года по конец 1952-го главные деньги я зарабатывал в Радиокomitee, в отделе вещания для детей и юношества. Радиокomпозициями.

В огромной комнате на Путинках сидело за столами двадцать, а может быть, тридцать женщин в возрасте от 20 до 60 лет — редактрисы.

У каждой свой стол. Когда приходил интересный автор, соседние столы утихали — послушать.

В Москве тех лет, где было мало журналов, мало издательств, где в год выходило 10–12 поэтических сборников, а переводных романов столько, что все интеллигентные читатели читали все переводные романы, в Москве тех лет в Радиокomitee можно было получить работу. Здесь меньше платили, но меньше и присматривались к автору, меньше было анкет и проверок.

Я пришел на радио едва ли не с улицы, с какой-то легчайшей рекомендацией, вроде звонка Жоры Рублева, и первые шесть заказанных мне статей не пошли, как потом объяснили — ко мне присматривались.

Седьмая статья пошла. Надо бы вспомнить, о чем именно.

Сначала я писал для иностранных редакций — венгерской, финской, иранской, корейской. Темы иногда выдумывал сам. Например, вычитал где-то, что иллюстратор Руставели Зичи был венгерским графом. Пошел в библиотеку Третьяковки, прочел что-то, написал четыре или пять страниц — «Зичи в Третьяковке». Пошло. Заплатили 400 или 500 рублей, четверть моего месячного бюджета. Чаще статьи заказывались. Я писал о социальном обеспечении, народном образовании, здравоохранении — и об иных ведомствах, в списках Совета Министров занимавших места поближе к концу.

Нашел я себя (тоже термин той поры) на радио в детском отделе.

Там уже подвизалось несколько знакомых литераторов из тех, кого, подобно волку и мне, кормили ноги. Там была знакомая редактриса — Вика Мальт, знакомая еще по дому Павла Когана.

Вика заказала первую композицию и представила другим редактрисам.

Принцип жанра радиокomпозиции тот же, что и жанра окрошки.

Имеется тема: например, рассказы советских людей о зарубежье. Производятся разыскания в газетах, центральных и местных, в немногих выходивших тогда книгах, как теперь бы сказали, Географгиза. Кое-что сокращается, кое-что переписывается. Подыскиваются музыкальные прокладки. Например, после рассказа о Сингапуре следовало употребить малайскую песню, естественно, грустную. Однажды песню я написал сам и композитор Григорий Фрид положил ее на музыку. Она называлась «Матросы возвращаются домой», была вставлена в композицию и оплачена отдельно в размере четверти месячного бюджета.

Квас в этой окрошке — всякие связи, переходы, требующие некоторой литературности, — сочинял я сам.

Платили за композицию — она длилась около часа и слушали ее десятки миллионов — от полутора до двух тысяч тогдашних легких рублей.

Это и был мой месячный бюджет. Постепенно выяснилось, что делаю я одну композицию в месяц или две, деньги платят примерно одни и те же. Выписывал деньги начальник отдела Иван Андреевич Андреев, известный, между прочим, тем, что, прочитав статью Привса о Сталине, глубокомысленно сказал: «А кто он такой, чтобы писать о великом Сталине?» — и зарезал статью. Обо мне Андреев, по — видимому, думал, что такой должен получать полторы — две тысячи рублей в месяц. Не больше и не меньше. И выписывал мне именно эту сумму.

Сделанное мною финансовое открытие привело к тому, что я сократил усилия до минимума. Творческий дар напрягать приходилось мало, а техническую работу делал Исай Кузнецов — будущий драматург и бывший актер арбузовской студии, мой постоянный соавтор.

С деньгами обстояло именно так, а славы композиции не давали. Собственно, фамилия моя в эфир проходила аккуратно: автор композиции такой-то. Но ее почему-то забывали. Сработав за четыре года примерно сотню вещей, я к ноябрю 1952 года обнаружил, что все это не считается, что никто меня не знает и никому я не нужен.

В ноябре 1952-го, вернувшись из Харькова, куда ездил

недели на три — подкормиться на домашних хлебах, я был отозван несколькими редактрисами — работодательницами, отношения с которыми уже давно приняли приятельский характер. Мне доверительно сообщили, что на очередной летучке Андреев зачитал список авторов с фамилиями вроде моей и сказал, что их привлекают слишком часто.

Редактрисы кулуарно пытались выяснить у Андреева, можно ли привлекать названных реже.

— И реже не надо.

— А иногда?.

— Никогда не надо.

В списке было человек двадцать, среди них Иорданский и еще кто-то, влетевший туда потому, что культуры антисемитизма у проверявшей отдел комиссии не было.

Я перестал работать для радио и примерно на полгода лишился всяких заработков. Дело было в ноябре 1952-го, и врачи — убийцы уже были близки к поимке.

Однако вернемся к тем четырем годам, когда от двух до четырех раз в неделю я проводил от двух до четырех часов на Путанках.

Время было глухое, нервное, опасное. Однажды, не помню уже, как и почему, я провел два часа в кабинете председателя Комитета Лузина. Видимо, ожидал утверждения композиции.

Пузин и его приближенные слушали у приемника трансляцию футбольного матча СССР — Югославия. Дело было, наверное, в 1950 или 1951 году. За качество трансляции отвечали они. Сам матч был очень символичен для наших отношений с Тито.

В футбол мы проиграли, и, хотя говорилось тогда в кабинете очень мало, мрачность, подавленность была очевидна.

Композиции тем не менее приходилось делать мажорные.

Главная моя тема была: сторонники мира. Почему? Может быть, сказался небольшой мой международный опыт, может быть, пошел я по этой стезе потому, что промышленность или сельское хозяйство знал куда хуже, может быть, тема казалась мне чистой.

Народы действительно хотели мира. Я хотел мира. Весь мир хотел мира.

Впрочем, что говорить, не принимал я близко к сердцу эту тему и все свои радиозаботки:

Работа в оттепель и заморозки,
работа не сходя со стула.
Все остальное просто заработки,
по — русски говоря, халтура.

Я за нее не отвечаю,
все это не моя забота.
Я просто деньги получаю
за заработки на работу.

Написано это, судя по слову «оттепель» с его четкой временной меткой, позже. К четырем радиогодам относится полностью.

Я и к 70-летию Сталина сделал заказанную мне (или мне с Кузнецовым) композицию. Доверяли, значит, если заказали такую тему, по которой и материалов-то почти никаких, как выяснилось в ходе работы, не было. То есть о любви к Сталину материалов было предостаточно, а о предмете любви — почти ничего. В композиции (она своевременно прошла в эфир и принесла мне 1500–2000 рублей) было много про любовь и мало про Сталина.

Любил ли я тогда Сталина?

А судьбу — любят? Рок, необходимость — любят?

Лучше, удобнее для души — любить. Говорят, осознанная необходимость становится свободой. Полюбленная необходимость тоже становится чем-то приемлемым и даже приятным.

Ценил, уважал, признавал значение, не видел ему альтернативы и, признаться, не искал альтернативы. С годами понимал его поступки все меньше (а во время войны, как мне казалось, понимал их полностью). Но старался понять, объяснить, оправдать. Точного, единственного слова для определения отношения к Сталину я, как видите, не нашел.

Все это относится к концу сороковых годов. С начала пятидесятых годов я стал все труднее, все меньше, все неохотнее сначала оправдывать его поступки, потом объяснять и наконец перестал их понимать.

Недавно, то есть лет через двадцать после всего вышеописанного, Лида Б. рассказывала, каким я казался тогда на радио: подтянутым, веселым, таинственным.

— Мы думали, что вы разведчик и скоро уедете за границу, а к нам приходите так, от делать нечего.

Между тем в баню я ходил тогда только в высший десятирублевый разряд, потому что и в Сандунах, и в Центральной по приемлемым ценам гладили костюм и стирали белье во всем его многообразии, что составляло немалую экономию...

К истории моих стихотворений

Начну с «ЛОШАДЕЙ В ОКЕАНЕ».

Написаны в 1951 (?) году летом в большую жару. Я снимал тогда комнату близ Даниловского рынка у интеллигентного переплетчика Терушкина, купившего часть дома, в котором жили Фрейдины. Иными словами, жил по месту прописки — единственный раз за 11 лет. Обычно, когда участковый приходил к Фрейдиным и спрашивал: «А где Слуцкий? Что-то я его не вижу», — один из сыновей назывался Слуцким, и тем дело кончалось.

Итак, я жил по месту прописки, но комната была жаркая, а на кровати лежал матрас со стальными пружинами особой конструкции, такими, что спать было невозможно. Рядом учил уроки Анри Терушкин, мальчик, сын хозяина.

Я уходил из дому и подолгу бродил в окрестностях, где тоже было жарко, но ни Анри, ни матраса, который надо было разлежать собственной спиной, не было.

Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике. Жора вычитал это в каком-нибудь тонком международно — политическом журнале вроде «Нового времени», откуда обычно черпал вдохновение.

Я начал писать с самого начала со строк: «Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко» — и очень скоро (а в те годы я писал еще очень медленно) написал все. Правил после мало.

Это почти единственное мое стихотворение, написанное без знания предмета. Почти. В открытое море я попал впервые лет 15 спустя. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную речку.

Это сентиментальное, небрежное стихотворение до сих пор — самое у меня известное.

Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне (в Париже, в 1965–м), что он эти стихи приметил:

— Но рыжие и гнедые — разные масти.

Даже Смеляков, рассуждая о том, как составлять циклы для антологии советской поэзии, в числе других примеров привел:

— Ну, у Слуцкого надо взять «Лошадей в океане», «Физиков и лириков», еще что-нибудь.

Стихи так нравились Эренбургу, что я их ему посвятил.

Когда я, познакомившись с Марьей Степановной Волошиной, читал ей и Анчутке о лошадях, она сказала, что это настоящее христианское стихотворение.

Когда (наверное, в 1952 году) читал стихи Н. С. Тихонову, он сказал, что печатать ничего нельзя, разве «Лошадей»:

— Знаете, как у Бунина о раненом олене: «Красоту на рогах уносил»?

Напечатал «Лошадей» Сарнов в «Пионере» (в 1956 году, наверное) как детское стихотворение о животных. Это обстоятельство тогда веселило моих знакомых. Вскоре Вадим Соколов и Атаров (последний с большими идеологическими сомнениями) перепечатали «Лошадей» в «Москве», и потом их перепечатывали десятки раз.

Я знаю четыре польских перевода, несколько итальянских. На «Лошадей» написано несколько музык. Говорят, нищие пели их в электричках.

На вечерах первые строки иногда встречались хохотком публики, медленно привыкавшей к нешуточному повороту дела.

Мне до сих пор понятны только внешние причины успеха — сюжетность, трогательность, присутствие символов и подтекстов. Это никак не объясняет успеха стихотворения у квалифицированного читателя.

«Лошади» — самое отделившееся от меня, вычленившееся, выломавшееся из меня стихотворение.

Р. С. Умер Аркадий Васильев, интересовавшийся всем на свете, в том числе и поэтами. После первого инсульта (а умер он, кажется, от третьего) у него отнялся дар речи, столь ему необходимый. Врачи посоветовали ему повторять до бесконечности какое-нибудь хорошо ему известное стихотворение.

— Я, знаешь, твоих «Лошадей» наизусть помню. И вот начал я их твердить, сначала медленно, потом все быстрее.

Рассказывал мне это Васильев еще заплетающимся языком. Позднее дар речи вернулся к нему почти полностью, и он широко им пользовался.

Беляев, вызвавший меня к себе по непростому делу, предварил сложный разговор рассказом о том, как его дочь читала «Лошадей в океане» на выпускном вечере и как всему его семейству эти лошади нравятся.

Поговорив о лошадях и о дочерях (я, помнится, не посоветовал отдавать дочь в Литинститут), мы приступили к делу.

Последуем совету Смелякова и «возьмем». «ФИЗИКИ И ЛИРИКИ» тоже не совсем мое, тоже отделившееся от меня стихотворение. Написано летом 1960 (?) года в лодке на Оке близ Тарусы, где мы с Таней мучились от жары и мух.

Катали на лодке нас Андрей Волконский с женой Галей Арбузовой. Волконский говорил без передышки, желчно, как космополит из «Крокодила», ругал литературу своих тестей, Арбузова и Паустовского, а потом, разошедшись, до Л. Толстого включительно. Говорил о своем происхождении, о том, что «Таруса была наша», и т. п.

Я сперва прислушивался, спорил, жалел Галю, а потом под шум мотора и Волконского написал стихотворение и очень опасался, что забуду его до берега, не запишу. Потом все жарили рыбу, а я быстро записал в блокноте.

Проблема была животрепещущей, как эта же рыба. Только что в «Комсомолке» технари Полетаев и Ляпунов резко спорили об этом же с Эренбургом.

М. А. Суслов, принимая Илью Григорьевича, сказал ему между прочим: «Спасибо, что защитили ветку сирени». Мнения разошлись едва ли не в глобальных масштабах, и я поддержал в споре не Илью Григорьевича, а его противников. Он отнесся к этому со сдержанным недоумением.

Товарищи по ремеслу сперва отнесли к «Физикам и лирикам» как к оскорблению профессии. Миша Дудин, когда ему сказали, что стихи шуточные, сказал: «А мы шуток не понимаем». Смеляков, когда его попросили выступить в печати, сказал примерно так, что с этим нужно бороться, но стихами.

Защищали «Физиков и лириков» лениво, похоже, что больше отстаивали право на мнение, пусть неправильное, чем само стихотворение. Ругали горячо, зло.

Между тем не слишком политический шум этой дискуссии, поднятый в слишком политическое время, был безобиден и даже полезен.

Постепенно к «Физикам и лирикам» привыкли. Пьеса с тем же названием до сих пор идет в Москве, и на премьеру меня не позвали. Ашукины включили название стихотворения в свой сборник «крылатых слов», и это единственный мой оборот, удостоенный такой чести.

Напечатал стихи С. С. Смирнов в «Литгазете» с двумя довольно плохими стихотворениями о космосе, данными мной для подверстки и прикрытия.

В академической «Истории советской литературы» всему этому посвящен абзац или два, но библиография вопроса насчитывает сотни названий.

В разгар спора академик В. В. Шулейкин, специалист по физике моря (говорят, не очень большой специалист), прислал мне длинное рифмованное утешение: не так, мол, уж плохи дела у вашего брата, поэтов.

Сейчас, в 1972 году, летом в большую жару, в ивантеевской гостинице, я продолжаю думать, что дела у нашего брата достаточно плохи. Сократилась доля общественного внимания, получаемая нашим братом, да и распределяется эта доля хуже, чем прежде. Основные ломти получают не глубочайшие, а шумнейшие.

Впрочем, как и многое другое, «Физиков и лириков» писал я не столько от себя, сколько от людей примерно моего мнения.

К слову о «Крылатых словах»: Крученых как-то сказал мне (скорее всего, на улице), что в очередном издании книги Ашукиных всего два крылатых оборота современных поэтов:

— Мое — «заумь» и Михалкова — «Союз нерушимый республик свободных...». Мое лучше.

«ГОСПИТАЛЬ» в моей литературной судьбе имеет чрезвычайное, основополагающее значение. На этом стихотворении я, собственно, и выучился писать. Сочиненная примерно за год до этого «Кёльнская яма» тоже стихи, но сочиненные как бы сами по себе, по вдохновению, и притом сразу, в одну ночь. А «Госпиталь» задумывался, выстраивался, писался, переписывался в течение многих месяцев, точнее говоря, лет. На нем понято мною больше, чем на любом другом стихотворении, и долгие годы мне хотелось писать так, как написан «Госпиталь», — «взрыв, сконцентрированный в объеме 40 ± 10 строк». Весь мой лихой набор скоростных баллад пошел именно с «Госпиталя». В «Кёльнской яме» тема (война) уже была, отношение к теме тоже было, но формы не было.

Первый вариант написан осенью 1945 года в румынском городе Крайове, где я на свой лад отдыхал после войны и праздновал ее окончание. Стихов я до этого декабря (а может быть, октября, надо вспомнить) не писал больше года; после этого месяца, когда были написаны еще «Иваны» (сразу, в румынской бане, где вместе мылись наши и местные с похожими шрамами и телесными деформациями) и стихотворение об адвокате Зарудном, которое я не перечитывал, после этого месяца — еще три года.

Летом того же 45-го года я записал две общих тетради заметок, мемуаров, как я их называл, — тоже о войне и о первых послевоенных месяцах.

Самочувствие было удовлетворительное, сносное, настроение хорошее, питание обильное. Окончание войны сразу взяло нас на

все виды довольствия. Делать было почти нечего. Работа, придумываемая начальством, фронтовым или московским, не отягощала. Жизнь кругом была острая, странная. Случались случаи, происходили истории, а сектор обзора был достаточно велик. Читал в то время вволю и Цветаеву, и Ходасевича, и «Конницу» Эйснера. Может быть, отзвуки этого чтения промелькнули и в «Госпитале»?

Место действия стихотворения — полевой госпиталь, поспешно оборудованный в сельском клубе, за несколько лет до этого неспешно оборудованном в сельской церкви, — не выдуманно. В такой именно госпиталь меня привезли вечером 30.7.1941 года с ранением в плечо. Здесь я провел ночь под диаграммами труда, висевшими на незамазанной церковной живописи. Здесь ждал и дождался операции — извлечения осколков. Никаких пленных немцев в то время в госпитале не было. Вообще пленный немец (кроме сбитых летчиков) в ту пору был большой редкостью. Зато я их видел позднее, когда немецких раненых часто помещали вместе с нашими.

Рассказ об умирающем офицере, требовавшем, чтобы умирающий немец не умирал рядом с ним, я слышал от лектора политотдела нашей армии майора Головки, потрясенного этим происшествием, задолго, за год или за два.

О чем, собственно, стихотворение? О взаимном ожесточении, мало свойственном мне, как и большинству людей, но охватившем обе воюющие армии уже к концу 1941 года. Недаром вшей тогда у нас называли «немецкими автоматчиками», а у немцев «die Partisanen».

Трофейных лошадей скорее жалели, хотя однажды я видел, как повозочный бил огромных немецких битюгов именно за то, что они немецкие. Но к людям по эту сторону фронта относились хуже, чем к лошадям, — как ко вшам.

Впрочем, больше на словах. На деле даже тогда большинство пленных немцев сталкивалось скорее с национальной жалостливостью, чем с национальной ожесточенностью.

В «Госпитале» были строки:

Сожженные на собственных бутылках,
обгрызанные, как мышью калачи,
вторично раненные на носилках,
молчим.

По лесу автоматчики скользят.
Кричать нельзя.

Мне они тогда нравились, а первая и третья строки нравятся

и сейчас. Грустно было с ними расставаться, но пришлось — они затягивали действие.

Так я тогда учился немаловажному искусству вычеркивания, искусству, дающемуся так редко. Поэты куда получше меня — скажем Маяковский — его так и не освоили. Жизнь, которую я жил четыре года, была жестокой, трагичной, и мне казалось, что писать о ней нужно трагедии, а поскольку настоящих трагедий я писать не мог, писал сокращенные, скомканные, сжатые трагедии — баллады.

Позже я додумался до того, что жестокими могут быть не только трагедии, но и романсы. Еще позже, что о жестоких вещах можно писать и нежестоким слогом.

До сих пор в «Госпитале» мне нравится отношение к религии, понимание непростоты, неполноты, неокончателности ее упразднения.

Итак, многие месяцы я ходил по рано пустевшим улицам Крайовы (а впоследствии — по харьковским и московским улицам) и, как Демосфен камешки, перекатывал во рту «Госпиталь», изредка меняя что-нибудь.

К тому времени, когда я стал читать «Госпиталь» товарищам — поэтам, мною вполне овладела гордыня — пропорционально трудовым затратам. Товарищам казалось, что стихи «в ряду». Мне — что стихи «из ряду вон». Товарищам казалось, что стихи хорошие, мне — что стихи новые. Добавилось еще одно обстоятельство. Товарищи продолжали писать Я бросил — на три года. Болел я так активно и целеустремленно, что часто думал — писать больше не придется и «Госпиталь» — единственное мое стихотворение, которое нравится мне самому. Если совсем нехорошо быть автором единственной пятиактной пьесы, то единственное стихотворение — это уж совсем шинель Акакия Акакиевича, сомневаться в которой сослуживцам не подобает. Не сомневаясь в шинели, я начал сомневаться в сослуживцах.

Так или иначе — хорошее это было время и вспоминать о нем — радостно.

«ДАВАЙТЕ ПОСЛЕ ДРАКИ...»

Оказывается, стихи, как народы в старинных историографиях, бывают исторические и неисторические. Даже в таких небольших историях, как моя собственная.

С этим стихотворением никаких историй не происходило, разговоры о нем, скорее, впрочем, доброжелательные, были очень негромкими, и тем не менее вряд ли мне удалось когда-нибудь

написать что-нибудь лучшее.

В собственных стихах мне нравится не средний или среднехороший уровень, а немногочисленные над ним взлеты, не их реалистически — натуралистическое правило, а реалистически- символические исключения.

Прыгнуть выше самого себя удастся редко. В этом случае я, наверное, прыгнул. Есть еще такой признак: волнение, которое я испытываю, читая это стихотворение вслух. Видимо, есть причины для этого волнения.

Только очень немного вызывает у меня примерно то же чувство. Что именно? Конечно, «Старуха в окне», в свое время «Госпиталь», «Хозяин». (Остаток страницы не дописываю. Может быть, вспомню еще что-нибудь.)

«Давайте после драки...» было написано осенью 1952-го в глухом углу времени — моего личного и исторического. До первого сообщения о врачах — убийцах оставалось месяц- два, но дело явно шло — не обязательно к этому, а к чему-то решительно изменяющему судьбу. Такое же ощущение — близкой перемены судьбы — было и весной 1941 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что никакого твоего участия не требовало. Делать же должны были со мной и надо мной.

Повторяю: ничего особенного еще не произошло ни со мной, ни со временем. Но дело шло к тому, что нечто значительное и очень скверное произойдет — скоро и неминуемо.

Надежд не было. И не только близких, что было понятно, но и отдаленных. О светлом будущем не думалось. Предполагалось, что будущего у меня и у людей моего круга не будет никакого. Примерно в это же время я читал стихи Илье Григорьевичу Эренбургу, и он сказал: «Ну, это будет напечатано через двести лет». Именно так и сказал: «через двести лет», а не лет через двести. А ведь он был человеком точного ума, в политике разбирался и на моей памяти неоднократно угадывал даже распределение мандатов на каких-нибудь западноевропейских парламентских выборах.

И вот Эренбург, не прорицатель, а прогнозист, спрогнозировал для моих стихов (для «Давайте после драки...» в том числе) такую, мягко говоря, посмертную публикацию.

Я ему не возражал. <...>

Той же осенью, провожая знакомую, я сказал ей: «Я строю на песке», — и вскоре написал об этом стихотворение.

Итак, без надежд и перспектив я выстроил на песке «Давайте после драки...» и сразу же начал читать по компаниям — у Тоома,

Тимофеева, Шахбазова. Позднее я объявил это стихотворение посмертным монологом Кульчицкого и назвал «Голос друга». Позднее, через год — два, у меня уже не было оснований для автопохорон. Драка продолжалась. Но осенью 1952 года ощущение было именно такое: после драки.

При переезде с квартиры на квартиру все мое имущество тогда умещалось в одном чемодане. Единственным достоянием, настоящими пожитками были четыре года войны. Они создавали какие-то права — пусть непризнаваемые. Я-то сам отказываться от этих прав не собирался.

Фанерные (или просто деревянные) обелиски, установленные на могильном холмике и увенчанные пятиконечной, жестяной, вырезанной из консервной банки звездой, устанавливались на солдатских могилах сразу после похорон.

Много лет спустя их заменяли бетонными обелисками же, еще позднее — каменными.

Почему обелиск был единственной фигурой, которую буквально вся армия признала достойной своих мертвецов? Кто знает. Если и была по этому поводу какая-либо инструкция, она только оформила задним числом это всеобщее пристрастие.

Да и можно ли назвать обелиском эту небольшую, иногда полуметровую пирамидку с усеченной верхушкой?

Стихотворения о голых людях «ИВАНЫ», «БАНЯ», «ПЛЯЖИ 46-го ГОДА». Еще в детстве мне запомнилось рассуждение бродяги из «Янки при дворе короля Артура» о том, что в тюрьму он попал за высказанное публично мнение о голых людях — герцог в бане неотличим-де от слуги.

Это неправильное рассуждение. В особенности после больших войн тела человеческие выглядят очень различно.

Осенью 1945 года в бане румынского города Крайовы, довольно, впрочем, грязной и тесной, я от нечего делать сначала разделял моющихся на наших и румын, а потом примысливал к их шрамам возможные биографии. Там же, на выходе из бани, я сочинил «Иванов», а потом торопливо их записал, чтобы не забыть.

Иваны — всеобщее самоназвание наших солдат (да и офицеров) в военные годы. Откуда оно пошло? От немецкого ли «Рус — Иван» или просто потому, что имя традиционно связывалось с простым народом?

Другие самоназвания: славяне (связано с одной из главных тем нашей пропаганды), елдаши (от тюркского «товарищ») — так иногда обращались к офицерам, а может быть, и друг к другу солдаты среднеазиатского происхождения.

В словах «Иваны» и «славяне» гордости было больше, чем

иронии.

В стихотворении — ни слова о голых людях, но, по —
видимому, бесстрашно парившиеся солдаты...

Н. Н. Асеев и вожди

О Демьяне Бедном Асеев говорил не без почтения:

— Жил в Кремле. Хотел — ходил к Ленину, хотел — ходил к Сталину. Узнавал все из первых рук.

После этого он риторически воскликнул:

— А Сурков что?

У Николая Николаевича был интерес к вождям, но опасливый, риторический. Впрочем, было у него несколько автобиографических сказаний.

В 1941 году праздновали столетний юбилей Лермонтова. Председателем юбилейного комитета был К. Е. Ворошилов, заместителями — Асеев и О. Ю. Шмидт. Оба они тогда были в фаворе, в случае: Николай Николаевич даже временно исполнял что-то вроде должности первого поэта земли русской — в промежутке между Маяковским и Твардовским.

Комитет собрался на пленарное заседание, и Климент Ефремович — в прекрасном расположении духа — предложил программу чествования:

— Соберемся в Большом театре, будет доклад, а потом послушаем оперу «Демон» на сюжет Лермонтова.

В Асееве нечто разыграло, и он сказал:

— Лермонтов был известен не тем, что пел и танцевал. Поэтому соберемся лучше в Театре имени Моссовета, послушаем доклад, а потом посмотрим пьесу самого Лермонтова «Маскарад».

Ворошилов огорчился и обиделся, однако план Асеева был куда резоннее, и члены комитета решительно его поддержали.

Прощаясь после заседания, Климент Ефремович сказал Асееву:

— Все-таки не любите вы нас, Николай Николаевич.

— Я? Кого? Вас?

— Вождей.

Не помню, как открестился Николай Николаевич от этого обвинения, но историю рассказывал неоднократно и с удовольствием.

Перед самой войной был прием писателей у Сталина, и Асеева так ласкали, что, когда Иосиф Виссарионович жестоко обрушился на Авдеенко, виновного в излишнем восторге перед витринами западноукраинских магазинов, которым недавно подали руку помощи, тот взмолился:

— Да заступитесь хоть вы за меня, Николай Николаевич!

Обласканный и ублаженный Асеев попытался содействовать родной словесности малую пользу, объяснив Сталину, что Ванда

Василевская пишет плохо и поднимать ее не следует. На что ему было отвечено, чтоб не лез не в свои дела.

Началась война, и Асеев эвакуировался в маленький, тесный и голодный Чистополь.

— Вот там я и понял, что такое настоящая жизнь, за хлебом по карточкам весь город выстраивался в 4 утра, и зимой тоже. Пишут номера на спине мелом, у кого мел осыплется, того в очередь не пустят.

— Так кой же годок вам тогда шел, Николай Николаевич?

— 51-й миновал.

— А раньше не понимали, что такое настоящая жизнь?

— Недопонимал.

В Чистополе он написал поэму «Городок на Каме» со строками (цитирую по памяти):

Вот народ, что работает ловко и ладно,
А живет хладно и гладно.

И еще:

Вот он мечется, мочится, мучится.

Добрые люди послушали и стукнули куда следует. Асеев предстал перед чьими-то светлейшими очами.

Докладывал и вообще командовал А. С. Щербаков, еще недавно друг — приятель по Оргкомитету Союза писателей, а сейчас генерал, тучный, сырой, тяжело ступающий, с большими правами насчет продления или непродления жизни и смерти.

Щербаков топал по залу заседания и орал:

— Зачем вы так написали?

— Так это же правда, Александр Сергеевич.

— Кому нужна ваша правда?

И Асеев, столь поздно узнавший, что такое настоящая жизнь, выпал из Комитета по Сталинским премиям, а также из других писательских обоем.

Еще раз, много позднее, он переведался с вождями. Дело было в 1954, если не ошибаюсь, году, и писатели были вновь приглашены к руководству. Писателям дали выговориться. Асеев говорил о том, что крупноталантливых людей нельзя посылать на фронт, что вот послали Кульчицкого, а его убили.

Вообще говоря, в Асееве до смерти жил запал пацифиста двадцатых годов, ненависть ко всякой войне, кем бы и за что бы она ни велась. Мне он говорил:

— Я вам ваших военных стихов не прощу. <...>

Когда Асееву не дали Ленинской премии, заголосовали на Комитете, он позвонил мне и долго, открытым текстом ругал всех державцев и милостивцев. Очень ему хотелось премии, и деньги уже были распределены.

Я (Асееву):

— А ведь они не виноваты, Николай Николаевич. Они хотели, чтобы у вас была премия.

— Так в чем же дело?

— А посчитайте: Ермилова вы обложили в поэме, Грибачева — в статье, о МХАТе написали:

И красное знамя серенькой чайкой
На мхатовском занавесе заменено.

А ведь у МХАТа голоса три в Комитете. Так вот и набираются отрицательные голоса.

Асеев эту непремию, о которой раззвонили во всех газетах, так и не простил — ни Комитету, ни всему человечеству.

Иногда я встречал у Асеева А. Е. Крученых. Странная и в своем роде единственная судьба у этого человека.

Весь российский авангард постоянно оглядывался на смысл, на содержание. Гневное восклицание Ходасевича «Нет, я умен, а не заумен!» — могли бы повторить и Хлебников, и Маяковский, и Цветаева. Все они были умны, очень умны. Все стремились к ясности выражения, а если не всегда ее достигали, то вспомните, какие Галактики пытался осмыслить хотя бы Хлебников.

Крученых ни к чему не стремился. Изобретая слово «заумь» (оно, как и слово «бездарь», сначала произносилось с ударением на втором слоге), Крученых действовал за умом, не очень далеко от ума, но все же не на его территории.

Полтора десятилетия дадаизма и сюрреализма, труд полу-поколения талантов Франции, Германии, Италии, Югославии был выполнен в России одним человеком. Современники наблюдали его усилия с любопытством, иногда — сочувственным, чаще — жестоким. Крученых был отвлекающей операцией нашего авангарда, экспериментом, заведомо обреченным на неудачу.

Ко времени нашего знакомства Крученых был на самом дне. Давным — давно выброшенный из печатной литературы в литографированные издания, давным — давно лишенный и литографии, он был забыт. Не знали даже, жив ли он.

Между тем он был жив и нуждался в одеянии и пропитании. Пусть самых приблизительных.

У Асеева его всегда угощали курой.

Помню некоторые из его разговоров.

— У нас, футуристов, у всех были двойные имена: Владимир Владимирович, Николай Николаевич, Давид Давидович (Бурлюк), Василий Васильевич (Каменский).

— А вы?

— У меня тоже почти двойное. Я называл себя не Алексеем Елисеевичем, а Алексеем Алексеевичем. <... >

Когда Крученых стукнуло восемьдесят, была организована складчина (по пятерке) и обед в одной из комнат Союза писателей. Речи на обеде произносили, естественно, юбилейные. Внесший свою пятерку и немедленно напившийся Смеляков восстанавливал правду и поправлял ораторов:

— Значительный поэт Крученых? Нет, ничего себе.

— Крупный вклад в литературу? Нет, ничего особенного.

Рядом со мной сидел Кудинов, которому Литфонд поручил отдать Крученых 300 рублей вспомоществования. Угнетенный

собственной интеллигентностью, он мучился и не знал, как это сделать, чтобы не обидеть юбиляра.

Я ему посоветовал отдать просто, без затей.

После одной из речей Кудинов вскочил и сказал:

— А это вам на костюм, от Литфонда.

— Сколько? — спросил Крученых деловито.

— Триста.

Крученых нетерпеливо утихомирил очередного оратора, пересчитал мелкие купюры, а потом снова стал слушать речь о своем большом вкладе в русскую поэзию

Второй раз я увиделся с Эренбургом в 1949 году. Я начал писать стихи — после многолетнего перерыва. Когда написались первая дюжина и когда я почувствовал, что они могут интересовать не меня одного, я набросал краткий список писателей, мнение которых меня интересовало. Эренбург возглавил этот список. Я позвонил ему; он меня вспомнил. Я пришел к нему на улицу Горького.

Тщательно осведомившись о моих жизненных и литературных делах, Эренбург как-то неловко усмехнулся, протянул мне лист бумаги и сказал:

— А теперь напишем десяток любимых поэтов.

Это была игра московских студентов, очень обычная. Писали десяток (редко дюжину) лучших поэтов мира, или России, или советских, или десяток лучших молодых. В последнем случае десятка иногда не набиралось.

Иногда писали десяток не лучших, а любимых.

Однажды писали даже десяток худших. Потом листочки сравнивались, любовь подсчитывалась, выводились общие оценки. Под вкус подводилась математическая (скажем точнее, арифметическая) база. Некоторые методы современных социологических опросов были найдены и применены двадцатилетними студентами Московского института Союза писателей.

Оказалось, что Эренбург, которому в то время было около шестидесяти, продолжал играть в эту игру. Я взял бумагу, подумал, начал писать, снова подумал.

Мои дела, жизненные и литературные, были достаточно серьезными. С жизнью было проще, определеннее. Устойчивое положение инвалида Отечественной войны 2-й группы давало мне не только все необходимые справки, но и право жить в Москве и малую толику пенсии (810 рублей). Сложнее было со стихами. На войне я почти не писал по самой простой и уважительной причине — был занят войной. По нашу сторону фронта не было, как известно, ни выходных дней, ни солдатских отпусков. После войны, в Румынии, когда все дела кончились, а новые еще не начались, написал несколько баллад. Потом начались годы болезненные и бесплодные. Я ступал на поэтическую сцену как моряк, вернувшийся из восьмилетнего плавания; что и говорить, земля ходила у меня под ногами.

Таковы были мои дела, жизненные и литературные. Я писал список десяти любимых, поглядывал на Эренбурга и понимал, что

то, чем мы сейчас с ним занимаемся, тоже дело, очень важное. По сути, мы фиксировали в лицах, именах свои эстетики. Сравнивали их. Наверное, многое в наших отношениях определила похожесть двух списков.

Надо сказать, что мы играли в эту игру еще многие десятки раз.

Имена в наших списках ни разу не совпадали полностью. Но некоторые поэты переходили из одного списка в другой. Николай Алексеевич Заболоцкий, долгие годы фигурировавший только на моих листках, перекочевал на эренбурговские и уже навсегда остался там и в его сердце. А с его листков на мои так же перекочевал Осип Мандельштам.

Попробую припомнить список, скажем, самых значительных поэтов века — не свой, а эренбургский. Такой список мы писали чаще всего. Может быть, в огромном хозяйстве, именуемом архивом И. Г. Э. и ныне хранящемся в фондах ЦГАЛИ, иные из этих листков хранятся до сих пор. Итак, десятка лучших, значительнейших поэтов двадцатого века.

Конечно, там были Блок, Маяковский, Пастернак, Цветаева, Мандельштам, Есенин. Эти шестеро — всегда и бесспорно. Но были также Ахматова, Хлебников, позднее стал появляться Заболоцкий, здравствующих современников мы не писали или писали отдельно.

Не было Белого, Асеева, Сельвинского, Волошина, Ходасевича, Сологуба. Это несмотря на очень прочные отношения, дружеские или литературные, связывавшие И. Г. со многими из них.

Он вообще твердо разделял понятия: хороший человек и хороший поэт, любимый друг и любимый поэт.

Во время последней нашей встречи, состоявшейся за сутки до его смерти, мы не писали списков, но разговор о поэзии и поэтах возник снова. Я хорошо помню, как И. Г. сказал:

— Для меня лишь Марина и Мандельштам. Хотя я понимаю, что значение Пастернака больше. — Кажется, он сказал: конечно, больше. Разговор шел о любимых современных поэтах.

И. Г. говаривал:

— Поэзия — это то, что не может быть выражено другими искусствами.

Этот афоризм фундировал отрицание, например, поэмы как формы поэтического повествования. Так называемая лирическая поэма, то есть длинное лирическое стихотворение или цикл лирических стихотворений, не отрицалась. Сдержанно относился И. Г. к поэмам Сельвинского и Твардовского. Вл. Корнилов, читавший ему свои большие вещи, не показался. Впрочем,

исключений было много. Поэмы Мартынова, например, в которых элемент повествования был настойчивее, чем у Твардовского, — очень нравились.

Точно так же, при яростном отрицании повествовательной, литературной живописи, первым мастером века считался литературнейший Пикассо.

В этом видится важная особенность мышления И. Г. — он более всего почитал факты. Любил теоретизировать, но факты ценил больше теорий. Когда его эстетические афоризмы начинали конфликтовать с фактами, он легко уступал.

Не так уж много читал И. Г. из современной прозы, следя за десятком — двумя литераторов.

В отношении современной музыки был достаточно беззаботен. Спрашивал: — А кто такой Соловьев — Седой? Хрущев сказал: вот послушаю с утра Соловьева — Седого, и весь день легко на душе.

Но текущую русскую поэзию знал основательно — и любимое, и нелюбимое.

Попробую припомнить некоторые его мнения.

Об Алигер говорил: она поэт, средний, но поэт. Не плохой, а именно средний. Ценил мужество Алигер, активность, доверял ей, часто с ней виделся.

Часто говорил, что наши молодые писатели талантливее наших молодых художников, но что художники — порядочнее, честнее. Это была одна из любимейших его поговорок.

Однажды сказанная, она стала влиять на его конкретные мнения. Очень интересовался молодыми поэтами — без раздражения, свойственного, скажем, Ахматовой или Маршаку, с доброжелательной иронией, в которой доброжелательства было больше, чем иронии.

Стихи Евтушенко не любил, но под некоторым нажимом признавал его подлинную талантливость. Рассказывал, что в Италии какой-то журналист так пристал к нему с расспросами о Евтушенко, что он раздраженно сказал:

— Да у нас десять таких поэтов, как Евтушенко.

— Десять Этусенко! Великая страна, — заявил взволнованный итальянец.

История нравилась И. Г., и масштабы зарубежной славы Евтушенко не вызывали у него обычного писательского злословия.

Еще одна излюбленная эренбургская история об «Евтушенко».

Пикассо рассказывал И. Г., что Евтушенко явился к нему без приглашения, но с фотографиями. Пикассо это не понравилось.

Фотографов он мог бы пригласить и сам, и он сказал Евтушенко:

— Бывал у меня один русский поэт, тоже высокого роста — Маяковский. Но тот шел впереди толпы, а вы шагаете в толпе.

Интересно, что о Вознесенском Пикассо говорил добродушнее.

— Кажется, похож на Реверди, — говорил он И. Г. По — русски Пикассо не понимает.

Сам Евтушенко рассказывал мне, что, видя его, Эренбург начинал улыбаться еще издали, как будто ему показывали что-то очень смешное. Был в серьезной претензии, когда на правительственном приеме Евтушенко начал оспаривать правомерность термина «оттепель», утверждая, что на политическом дворе не оттепель, а настоящая весна. Не без восхищения рассказывал о том, как смело Евтушенко возражал Хрущеву на каком-то другом приеме.

В общем, деятельность Евтушенко его интересовала, а поэтическая деятельность чаще всего раздражала.

Были люди, о которых он всегда говорил с «но» и «однако», — Кирсанов, Асеев, Сельвинский. Их стихи — не нравились. Место в поэзии для них отводилось только в подсобке.

Выше всего в поэзии Эренбург ценил «содержание», смысл и «что-то» неопределимое, верленовскую музыку, магию. У Кирсанова же музыка и магия были определяемыми.

Во время своей последней болезни И. Г. не то чтобы не хотел умирать, а не собирался умирать. Он и думать на эту тему не хотел. За несколько дней до конца, в последней неделе августа, он спросил у меня:

— Как вы думаете, сколько меня еще будут заставлять лежать?

— Недель шесть, наверное.

— Что вы, я не вынесу. Они сами говорят: недели три.

Очень ему хотелось встать, выздороветь, съездить в Швецию.

Он был почти счастливый человек. Жил как хотел (почти). Делал что хотел (почти). Писал что хотел (почти). Говорил — это уже без почти — что хотел. Сделал и написал очень много. КПД его, по нынешним литературным временам, очень велик.

Его «почти» — было доброе «почти». Оно не примешивалось к счастью, не приправляло его, не отравляло, а скапливалось в отдельные, цельнонесчастливые периоды. Тогда Эренбург был и угрюм, и бездеятелен. Угрюмство и нежелание работать у него совпадали.

На последнем или предпоследнем юбилее он сказал — с трибуны Большого зала Дома писателей:

— За прошлый год я тринадцать раз ездил за границу и

написал двадцать шесть глав в свою книгу воспоминаний. — В этот миг он был счастлив. И в тот «прошлый» год он тоже был счастлив.

Довольно долго угрюмый период длился в 1963 году — после «мартовских ид», как И. Г. именовал мартовские встречи Хрущева с писателями. Основательно обруганный уже в первый день встречи, И. Г. не пошел на второй, сидел дома, нервничал, тосковал и ждал вестей. Помню звонки самые странные. Звонила, например, никогда прежде не звонившая, по сути дела незнакомая, Ш., сказавшая:

— Вам будут говорить много неверного о словах Никиты Сергеевича, но вас очень любят, и все будет хорошо.

Звонил корреспондент, если не ошибаюсь, «Рейтер». Трубку взял И. Г. Послушал и сказал:

— Говорит: все знают, что вы смелый человек. Скажите же, наконец, что вы обо всем этом думаете.

К вечеру пришли Каверин и Паустовский с новостями очень скверного свойства. Поучительно было наблюдать мрачного, подавленного Эренбурга, мрачного, возбужденного Паустовского и улыбающегося Каверина, который сказал:

— А я, знаете, так устроен, что уверен, что все обойдется. Просто не могу поверить, что будет плохо.

На него немедленно обрушились, недвусмысленно объясняя его оптимизм крайней молодостью и неопытностью. А Каверину тогда уже было за шестьдесят.

Правя мемуары, я, конечно, иногда разрушал музыку фразы, которая всегда выговаривалась прежде, чем выстукивалась на машинке. Вообще говоря, мемуары читали (до журнальных редакторов) всегда и по главам — Наталья Ивановна (она их перепечатывала), Любовь Михайловна, Ирина Ильинична, я и Савич. Кроме того — так сказать, узкие специалисты. Например, главу о Назыме — Бабаев, которого я пригласил. Главу о Маркише — родственники. Главу о Бабеле — Антонина Николаевна и, наверное, Мунблит. Мелкие справки наводились по малому «Ляруссу» и Большой Советской Энциклопедии (2-е издание). В случае надобности читалась всякая дополнительная литература. Эренбург слушал замечания, даже требовал их, спорил, часто соглашался. Один из важнейших законов, которые он выработал для мемуарной книги, — не писать о плохих людях (кажется, почти никто из них не удостоен отдельной главы) и не писать плохого о хороших людях. Эренбурга обвиняли в очернительстве, а закон, оказывается, толкал на лакировку.

Эренбургу плохо давались описания внешности героев мемуаров, манеры их поведения.

Я как-то спросил у него:

— Почему обо всех ваших героях вы пишете «застенчивый»?

И он не смог это объяснить.

Зато когда надо было объяснить, куда тот или другой герой гнул, Эренбург был на высоте.

Очень долго писалась глава о Сталине. Несколько лет Сталин был одной из главных тем разговоров и размышлений (конечно, не у одного И. Г.). И. Г. пытался определить, выявить закономерность сталинского отношения к людям — особенно в 1937 году — и пришел к мысли, что случайности было куда больше, чем закономерности. Однажды я спросил у И. Г., почему Сталин любил его книги. Ответчено было в том смысле, что ценились их политическая полезность и международный охват. Вообще говоря, Сталин, смысл Сталина был орешком, в твердости которого И. Г. неоднократно признавался.

Дачные книги — особенно Чехова — заложены не только листьями, цветами и листьями травы, но и землей. Земляные закладки. Работал в оранжерее — и читал.

Две сестры, персонажи без речей в этой семейной пьесе, привезенные из — кажется — Франции после войны и поселенные на даче, наверху Я с ними несколько раз сидел за общим дачным обеденным столом. Я ничего о них не знаю. И. Г. говорил, что барышнями они выписывали из Франции (кажется) газеты. Они были седые, худощавые, с одинаковыми лицами. Обе всегда в одинаковых черных платьях. Вопросов за столом им не задавали. Л. М. смотрела на них дисциплинирующим взглядом.

Приехала команда из больницы, и медсестра, крепенькая, сорокалетняя, шепнула мне: «Документы проверьте». Я проверил. Показали без обиды. Потом ловко, сноровисто вмиг отбросили простыни, сняли белье, и я увидел то, что никогда не видел до этого: матово — белое, без желтизны, худое, с еле намеченным старческим животом, бедное — бедное тело.

Так же ловко, ладно, сноровисто, но без всякой уважительности его стащили на носилки, обернули, накрыли, унесли.

Илья Григорьевич, которого все — даже Незвал в поэме и Шолохов в речах — называли именно так: Илья Григорьевич, — в последний раз уехал из дому, из которого он так любил уезжать.

Почти ничего

В XX веке разговоров не записывают, особенно доверительных — в благодарность за доверие.

Запоминают разговоры плохо — вся память растаскана впечатлениями бытия.

Так что я почти ничего не запомнил из разговоров с Заболоцким.

Их было много. Не могло не быть. Три недели мы провели вместе, зачастую наедине — в купе международных поездов Москва — Вена — Рим и Рим — Вена — Москва и в итальянских отелях. Были и еще разговоры: немногие и недолгие до поезда, многие и продолжительные — после.

Однажды, уже в 1958 году, летом, я приехал к нему в Тарусу, и мы провели вместе несколько часов. Все это было в 1956–1958 годах, в последние два с половиной года его жизни.

Что было пережито вместе? Италия. По телевидению впервые выступали вместе. В Сикстинской капелле вдвоем час задирали головы. Теплый, не остывший еще труп Н. А. я (с Бажаном и Бесо Жгенти) поднимал с пола и укладывал на письменный стол. И т. д., и пр. А что запомнилось? Почти ничего. В особенности из разговоров. Одно могу сказать в утешение: больше говорил я. Н. А. больше слушал, усмехаясь и поблескивая стеклами очков. Только когда сильно выпивали — так случалось несколько раз, — Н. А. говорил помногу: обдуманное, веское, почти докторальное.

Здесь — без хронологии — запишу то, что из этих разговоров, а точнее, из его высказываний помню.

Рано утром просыпаемся в Равенне, в гостинице. После тяжелого дня — с могилой Данте, с могилой Теодориха, с поездкой в загородные церкви, где Прокофьев, обычно безучастный, с изумлением обнаруживает в византийской мозаике нечто православное, а ученый монах справляется о здоровье академика Лазарева, с официальными обедами и многими речами. Здесь мощное общество итало — советской дружбы. В этот ли день нас возили в итальянский колхоз, где в правлении под стеклом переводы советских брошюр о кукурузе? В этот, наверное. В этот ли день мы побывали в городке Альфонсино, где все население, минус два — три человека, голосует за коммунистов? Альфонсинские матери протягивали нам младенцев для благословения. Был митинг. Мы говорили речи. Нас награждали огромными, в ладонь, медными медалями в память самоосвобождения Альфонсино от фашистов. Может быть, в этот день мы побывали в Альфонсино, или на мызе, где

скрывался Гарибальди, или в приморском городке, где у рыбачьих лодок — флаги с ликами святых. Был долгий тяжелый день, наполненный словами и делами, а наутро мы проснулись и пошли погулять. Равенна — маленький городишко, белый, чистый, каменный, похожий, как многое в Италии, на Крым, только без гор и без моря. Очень скоро мы вышли в поле и пошли по неширокой дороге, обсаженной деревьями, кажется пиниями — итальянскими соснами.

И Заболоцкий сказал фразу, которую я запомнил точно:

— Здесь мне хорошо дышится.

Вообще в Италии ему дышалось хорошо. Больной (год оставался до смерти), тучный, по всем статьям идеальная противоположность типу глобтроттера, он легко переносил и жару, и многочасовые поездки в автобусах и сверхскоростных поездах (непривычных для него и Мартынова в большей степени, чем для других участников поездки), напряжение митингов, банкетов, интервьюирования и особенно частых изъяснений с итальянцами на волапюке из смеси малознакомых нам иностранных языков. Странное дело! Мартынов со своей полусотней латинских и полудужиной итальянских слов радостно бросался в диспуты любой сложности. Заболоцкий, лингвистически столь же подкованный, помалкивал.

Мы никогда или почти никогда не говорили с Н. А. о его темницах. Он не рассказывал, я не расспрашивал. Однажды только — к слову пришлось — я спросил, встречал ли он кого-нибудь в ленинградском Большом доме? Заболоцкий ответил, что однажды в коридоре по недосмотру надзирателей он столкнулся с Диким и тот успел сказать:

— Чтобы я на них когда-нибудь стал работать!

— А потом вышел, — добавил Н. А., — и сыграл Сталина в кино.

Однажды в Тарусе, когда я провожал Н. А. на дачу Оттена, где нас ждали Паустовский и Семьинин, мы проходили мимо недостроенного дома. Может быть, это был не дом, а котлован. Заболоцкий сказал:

— А ведь я все строительные профессии знаю. И землекопом был, и каменщиком, и плотником, и прорабом большого участка.

В другой раз на общий чересчур вопрос о шести лагерных годах: «Ну, как там было?» — он ответил не распространяясь:

— И плохо было, и очень плохо, и очень даже хорошо.

Кажется, за все шесть лет он написал одно только стихотворение (не «Слепой» ли?). Но знаю это не от него, а от кого-то из близких ему. «Где-то в поле возле Магадана» написано поздно.

Несколько раз я приносил Заболоцкому книги — из нововышедших, и почти всегда он с улыбкой отказывался, делая жест в сторону книжных полок:

— Что же мне, Тютчева и Баратынского выбросить, а это поставить?

Полк было мало, и книг было мало. Этого — текущей литературы — не было, кажется, вовсе, кроме неотвязного минимума дареных книг с надписями. Недавно я осмотрел у Екатерины Васильевны библиотеку Заболоцкого.

Тютчев — в издании Маркса. Баратынский — двухтомное предреволюционное издание. Русские классики — в том числе марксовские же Достоевский и Куприн. Неполный (три тома) словарь церковнославянского языка и очень редкий «Библейский словарь» архимандрита Никифора. Книги, связанные с Грузией. Языка Н. А. не учил, даже, кажется, не пробовал, но историю, этнографию старался освоить. Н. А. не был ни книгоцеем, ни библиоманом. В отличие от Мартынова, он не странствовал по букинистическим магазинам, покупал редко и только самое нужное. Много ли он читал? Не знаю. Может быть, и много, но немногие книги, самонужнейшие. Точно так же, как, штудирова «Слово», он обращался прямо к Лихачеву, а размышляя о судьбах Вселенной — прямо к Циолковскому, минуя популяризаторов, добирался до первоисточников сведений, он и в выборе книг, подобно Рахметову, полагал, что все необходимое есть в нескольких главных книгах, что их-то и нужно знать, а читать все остальное не обязательно.

В разговоре Н. А. был прост. Факты, им сообщаемые, были, как правило, не книжного, а жизненного происхождения. Любил и умел слушать. Я, очень поздний знакомый Н. А., почти не наблюдал веселящегося, шутиwego Н. А., о котором сохранилось множество рассказов.

О Мартынове он говорил сначала ласково:

— Как поживает милейший Леонид Николаевич?

Потом раздраженно:

— Что же это печатает ваш Мартынов?

Чтил Мандельштама и с доброй улыбкой рассказывал, как тот разделявал под орех его стихи.

Высоко чтит Хлебникова.

О Пастернаке говорил как-то сверху вниз. Впрочем, оговаривался, что близок ему поздний Пастернак — с 1941 года. <...>

Об уме Сельвинского отзывался без уважительности.

Раза два с ухмылкой говаривал, что женщина стихи писать не может. Исключений из этого правила не делал ни для кого.

Я хорошо помню свою первую встречу с Заболоцким — благо она происходила на глазах у всего человечества, а точнее — на глазах у всех советских телезрителей.

Дело было, кажется, в 1956 году. Вышел первый номер «Литературной Москвы», и мы оба вместе с Асеевым, Сурковым и еще кем-то были званы выступить на телевидении.

Телевидение было тогда свежайшей новинкой. Я выступал в первый раз. Заболоцкий, наверное, тоже. В студии на Шаболовке стояла чрезвычайная жара — градусов в сорок. Нас мазали, пудрили и долго, вдохновенно рассаживали. Мы оба были подавлены и помалкивали.

Командовал передачей Сурков. По его плану, где-то в самом конце отведенного «Литературной Москве» часа он должен был сказать: «А вот поэты Заболоцкий и Слуцкий. Вы видите, они оживленно разговаривают друг с другом!» После чего мы должны были прекратить разговор, ослабиться и почитать стихи — сначала Н. А., потом я.

Передача шла, до конца было еще далеко, я сидел под юпитером, плавился, расплавлялся и думал о том, что вот рядом со мной помалкивает Заболоцкий. Оба мы помалкивали и думали свои отдельные думы, нимало не контактируя друг с другом.

Когда Сурков сказал запланированную фразу и глазок телекамеры уткнулся в нас двоих, это застало нас врасплох. Очевидцы свидетельствуют, что мы как-то механически дернулись друг к другу, механически ослабились, после чего Н. А. начал читать — как обычно, ясно выговаривая каждое слово, серьезно, вдумчиво, четко отделяя текст от себя, от своего широкого лица, пухлых щек, больших очков в роговой оправе, аккуратистской прически, от всей своей аккуратистской наружности, плохо увязывавшейся с текстом.

Это было первое знакомство с Заболоцким, а первое знакомство с его стихами состоялось лет за двадцать до этого — в Харькове. Заболоцкий впервые предстал предо мною цитатой в ругательной статье о Заболоцком, островком непарели в море петита, стихами, вкрапленными во враждебную им критику.

В России не стоит ругать, цитируя. Одна из главных русских традиций — традиция жалости к поруганному, униженному и оскорбленному. Даже у тех, у кого не было жалости, был интерес. Цитата запоминалась, опровержения забывались, сливались в ровный гул, хорошо оттенявший стихи.

Сам Н. А. относился к ругани иначе. Осенью 1957 года (в октябре) мы сидели в просторной горнице Правления Союза писателей, томились в ожидании машины, которая должна была отвезти нас на вокзал. Мы ехали в Италию, в Рим.

Н. А. томился дополнительно. Он забыл папиросы.

В комнату вошел невысокий обезьяновидный человек. Не вошел, собственно, а только сунулся — искал кого-то.

Н. А. так и кинулся к нему — попросил папиросу, и вошедший с радостной готовностью сказал:

— Пожалуйста, Николай Алексеевич. — И ушел.

Н. А. сел, затянулся раз и другой, а потом, блаженствуя, спросил:

— Интересно, кто же это был — с папиросами?

Я ответил:

— Ермилов.

Н. А. бросил папиросу на пол, растоптал и нахмурился.

Ермилов был петитом статьи, в которой островами плавали двадцать лет назад стихи Заболоцкого.

Немалые (сравнительно) командировочные, которые были у нас в Италии, Заболоцкий тратил занятно. Купил много дорогих лекарств — для сына своего старого друга. Купил очки в золотой оправе — для себя. Очки в золотой оправе ему очень хотелось — наверное, всю жизнь. Он и смущался этого редкостного и барственного желания, и холил его. Так или иначе, разговор о них возникал уже в поезде. А в Риме очки были куплены за немалую сумму, водружены на нос, и лицо Н. А. окончательно вырвалось из всех мировых стандартов поэтического лица.

Рипеллино, впрочем, нежно любивший Заболоцкого, написал, что Заболоцкий похож на бухгалтера или фармацевта.

Это обидело Н. А., и я хорошо помню, как он сказал о Рипеллино:

— Сам-то он похож на парикмахера.

Что было истинной правдой.

У Н. А. было лицо умного и дельного человека, очень сдержанного. Чувства, эмоции на нем отражались редко — чему, кстати, способствовали очки. Никаких наружных знаков вдохновения не было. В одежде, всегда тщательной, причёске, походке — не было ничего рваного, показного, никакого романтизма в смысле темноты и вялости. Молва представляет поэта в виде Владимира Ленского, забывая ироническое отношение Пушкина к своему созданию.

В Николае Заболоцком не было ничего от Владимира Ленского. Что же касается бухгалтеров, то это, как правило, люди дельные и точные. На войне из бухгалтеров выходили превосходные штабисты.

Фармацевты также люди ученые и по самой сути своей профессии — точные и дельные.

Так что Н. А. мог бы и не обижаться на Рипеллино.

Очки и лекарства были куплены, денег осталось довольно много. Я напугал В. М. Инбер, что ей не отчитаться за представительские, которые она держала для всей нашей «северной» тройки поэтов, и Сухофрукт (так Заболоцкий тайно, но упорно именовал Веру Михайловну) выдал нам 30 000 лир.

Тратить эти тысячи надо было почти немедленно, и вот за день до отъезда посольская молодежь повела Твардовского, Заболоцкого и меня к дяде Тому. Так в посольстве перекрестили де Тома, содержателя небольшого оптового склада текстиля, где советским продавали со значительной скидкой.

Здесь помимо всего прочего мы купили по отрезу на костюм — по три метра черной, плотной дорогой шерсти, торжественной и академической даже в куске. Я свой отрез продал несколько месяцев спустя. Твардовский — не знаю, а Н. А. заказал костюм. Портной принес его в окончательном виде вскоре после того, как мы с Бажаном и Жгенти втащили тяжелый, тепловатый труп Н. А. в полосатой спальной пижамке на стол. Кажется, в этом костюме Н. А. и похоронили

«Чудь белоглазая» называл его начитанный в летописях Асеев. И действительно, у Твардовского были совершенно белые глаза. На круглом женском лице, наверное, красивом. Татьяна Алексеевна Паустовская, на которую он был очень, по — братски похож, считалась известной красавицей.

Молодым я его не знал, не видел, а портрет Сары Лебедевой представляет вдумчивого юношу, деревенского отличника.

Росту он был высокого и на моей памяти, т. е. с середины пятидесятых годов, — грузен, болезненно тяжеловесен. Вдвоем с Сурковым глубокой ноябрьской ночью (1965) мы тащим его пьяного по аэродрому; и до этого, быстро напиваясь, он приваливался к моему плечу, так что вес его я хорошо помню. Худея, он быстро хорошел, и темно — серые волосы, очень обильные, шли к загорелому лицу. Таким я его видел в последний раз в Союзе писателей на партсобрании — подтянутым, моложавым, загоревшим.

Первое отчетливое о нем воспоминание — лето 1936, наверное, года. Я иду через весь город в библиотеку, чтобы прочитать в свежей «Красной нови» «Страну Муравию». Поэма мне не понравилась. Коллективизацию я видел близко. Ее волны омывали харьковский Конный базар, на котором мы жили. В поэме не было ни голода, ни ярости, ни ожесточенности ни в той степени, как в жизни, ни в той степени, как в поэмах Павла Васильева или у Шухова и Шолохова. Не понравилась мне и технология, фактура, изобразительная сторона. Выученикам футуристов и Сельвинского все это, естественно, казалось чересчур простеньким.

Много лет спустя Светлов рассказывал, как в каком-то южном санатории Твардовский попросил его прочитать «Страну Муравию».

— Есть в этом дурной деревенский наив, но блага вы получите неисчислимые.

Светлов был прав — и в оценке, и в пророчестве.

Тем не менее поэма не забывалась, и неприятным в ней было что-то новое, не бывшее еще в литературе.

Когда я приехал в Москву, Твардовский гремел в официальных небесах, занимал значительную часть вакуума, образовавшегося после убытия из столицы его талантливых сверстников. Стихи его, иногда печатавшиеся в газетах или той же «Красной нови», не нравились, не интересовали. Худого о нем, однако, слышно не было.

Для кружка моих предвоенных товарищей реальными противниками, которых надо то ли свергать, то ли просто сменить, казались скорее Симонов, Долматовский, Матусовский, Алигер. Они были городские, как и мы. Они учились у тех же учителей. Они выучились не тому, что следовало, и писали не так, как следовало.

Твардовский тоже писал не так, как следовало, но он был других корней и другой темы. Он нас почти не касался.

В войну, когда во фронтовой печати начали появляться главы из «Василия Теркина», они сначала удивили своей непохожестью на жизнь. По мелочам, по деталям все было увидено, подмечено, схвачено. Но жестокое и печальное начало войны не выглядело ни жестоким, ни печальным.

В то же время «Василий Теркин» от главы к главе выглядел все талантливее, все звонче. Он нравился солдатам — куда больше, чем любые другие стихи, и солдаты не требовали от него верности жизни. Дела на фронте быстро улучшались, армия становилась все умелее. Пехота, для которой Василий Теркин первых глав казался недостижимым идеалом, подтянулась, и, как ни одно из произведений военной поэзии, «Книга про бойца» способствовала этому подтягиванию. Тип солдата, казавшийся начисто выдуманным, все чаще попадался на глаза и не скрывал своего литературного — от Василия Теркина — происхождения. Редкий случай в истории поэзии и большая заслуга перед военной историей!

Я читал продолжение «Василия Теркина» без раздражения, даже с удовольствием. Это была несомненная поэзия в отличие от прикладного, утилитарного, полухалтурного Фомы Смыслова. Но только не моя поэзия, хоть и был я в ту пору изрядным эклектиком и нравились мне (как, впрочем, и сейчас) самые различные вещи.

Читал, но не перечитывал, хотя строки «Не зарвемся, так прорвемся» или «Я одну политбеседу повторял: не унывай!» запомнились на всю жизнь.

Первое, что у Твардовского понравилось мне полностью, было «Дом у дороги».

Война кончилась, отменив скидки, допуски на военное положение. Надо было писать о ней всю правду, и, вернувшись с войны, я обнаружил, что у Исаковского во «Враги сожгли родную хату» и у Твардовского в новой поэме эта правда наличествует, а у моих учителей, у Сельвинского в частности, отсутствует.

Хотя столь полное удовлетворение, как от «Дома у дороги», я от больших вещей Твардовского не испытал впоследствии ни разу, разве что от немногих его лирических стихотворений, хотя в

«За далью — даль» он вернулся к своей главной линии — реалистического мифа, современной сказки, тем не менее после «Дома у дороги» стал для меня одним из самых главных современных поэтов.

Надо сказать, что в своем кругу я по этому вопросу был в почти полном одиночестве. Начисто не понимали, не принимали Твардовского Мартынов и Заболоцкий. У Кирсанова и Сельвинского интерес к Твардовскому был, но специальный. Именно его, а не своих официальных оппонентов они считали главным врагом, главной опасностью. Кирсанов сочинил большую статью для «Нового мира», изобиловавшую, как говорят, и политическими обвинениями. Будучи назначен редактором этого журнала, Твардовский обнаружил кирсановскую статью и с краткой сопроводителькой вернул ее автору.

Об эсеровщине, мужиковствовании Твардовского с бешенством говорил мне Сельвинский.

И тот и другой считали, что они правильно отображают линию, а Твардовский — неправильно. Однако и политическое, и литературное руководство было совсем иного мнения. На основании многих разговоров у меня сложилось мнение, что Фадеев, еще в начале тридцатых годов замысливший повернуть нашу поэзию к народности, к национальности, к фольклорности, некоторое время надеялся, что для этого достаточно будет усилий лично ему знакомых и лично ему приятных Луговского и Сельвинского, если на них повлиять. Фадеев влиял, Луговской, Сельвинский (и многие иные той же примерно школы поэты) старались, но у Луговского выходило хоть и народно, но скучно, у Сельвинского — и скучно, и ненародно.

Тогда Фадеев от немалого своего ума разыскал людей, для которых сельская тема, фольклорное оснащение, некрасовские традиции, хорей, понятность, все то, что тогда, в конце тридцатых годов, казалось обязательными атрибутами народности, были результатом не фадеевского влияния или изменения конъюнктуры, но результатом сердечной склонности, воспитания, жизненного опыта.

Так Фадеев пришел к Твардовскому и Исаковскому. Однако одновременно с ним пришли и массовый читатель, и политическое руководство.

И Сельвинскому, и Кирсанову, и Асееву, и многим другим Твардовский действительно не нравился. Они от всей души не считали его поэтом и раздражались, когда я с ними спорил.

Однако эта неприязнь удваивалась, если не удесятерялась, оттого, что этого не поэта и власть, и читатель, и тот же Фадеев считали поэтом не только более нужным, но и более

талантливым, чем они сами.

Кто был благороднее, рыцарственнее в этой распре?

А что такое, собственно, благородство, рыцарственность?

Друзья Заболоцкого (наверное, Алигер и Казакевич) собрали его стихи и в хорошем 1954 году отнесли их Твардовскому. Караганова им помогала.

Твардовский вернул все стихи, сказав, что ничего и никогда напечатано быть не сможет.

— Кроме, пожалуй, парочки вот этих, пейзажных.

— Все будет напечатано через два года, — сказал Заболоцкий и оказался прав.

Разговор был, по — видимому, столь оскорбителен, что до конца дней своих Заболоцкий относился к Твардовскому с полной и исчерпывающей враждебностью.

Понимал Твардовский, что Заболоцкому в том году стихи было нести практически некуда, что отказывает он не от места на страницах «Нового мира», но от литературы вообще?

Должен был понимать.

Вот случай менее крайний.

Сельвинский с бешенством рассказывал, что трагедию «От Полтавы до Гангута» Твардовский возвратил ему с такой мотивировкой:

— Наш журнал называется «Новый мир», а ваша вещь о войне. И о давно прошедших временах.

Одинокая молодость, опоздавшее на несколько лет признание, равнодушие мэтров ожесточили Твардовского.

Состояние поэтической профессии он оценивал иронически, к коллегам (ко всем или почти ко всем) относился плохо.

Правда, по — разному. Писавших похоже на него — презирал. Писавших непохоже — ненавидел. Может быть, это слишком сильное слово. Но «не любил» не выражает отношения даже в малой степени.

В купе международного вагона он сказал мне вполне искренне дословно следующее:

— Каково мне, Б. А., быть единственным парнем на деревне и чувствовать, что вокруг никого.

Продолжение тирады было прервано тихим смехом Заболоцкого.

В том 1957 году Твардовскому не нравилась вся русская поэзия, начиная с Некрасова. Есенин — особенно, но и Маяковский, Блок. О Пастернаке он выразился:

— Конечно, не стал бы за ним с дубиной гоняться. — Это и было пределом его доброжелательства к Пастернаку.

Заболоцкому при мне он продекламировал немалый кусок из

какого-то старого его стихотворения (кажется, из «Цирка») и добродушно сказал:

— Ну и загибали же вы!

Добракачествонность Заболоцкого в ходе совместной поездки уже вполне выяснилась. Твардовский был полон к нему добрых чувств, но отношения к стихам утаить не мог.

Мартынову (и где! в Сицилии!) он сказал:

— Вот итальянцы пишут, что у вас есть интересные поэмы о Сибири. Надо бы познакомиться, потому что стихи-то ваши — невесть что!

Заходеру, принесшему в журнал «От А до Я» — первую свою детскую вещь:

— Вы думаете, мы потому не берем, что у вас фамилия не круглая? Потому что стихи — до двугривенного рубля не хватает.

Умел выбирать убедительные и действенные оскорбления и применял их не без удовольствия.

Однажды (по дороге из Италии) он сказал мечтательно:

— Все хорошее, что было в советской литературе, проскочило случайно. — И начал перечислять: — «Тихий Дон», «Как закалялась сталь» и мой «Теркин». — Список был длинный, и у каждого номера была своя печальная история — запреты, поносная критика, возражения власть имущих, например Горького.

Себя он, конечно, причислял к проскочившим случайно. Но тогда, в 1957 году, не так уж часто оглядывался на непроскочивших. А потом стал оглядываться все чаще и чаще.

В. С. Гроссман с бешенством рассказывал:

— Он на каком-то приеме говорит мне: «Посмотри на Бубеннова, он похож на Чехова».

Дело, понятно, было до 49-го года, и Бубеннов в ту пору был просто молодой, быстро идущий в гору писатель. Но Гроссман никому и ничего не прощал, даже недогадливость. Эту недогадливость он, выражаясь словами Пушкина, вспоминал «со злобной радости».

— Польский союз писателей послал делегацию. А нас несколько человек направили встречать их к границе. Встреча, банкет, гонор. А ночью залезли мы с ними в купе, стали они раздеваться на ночь, и трусишки у них такие драные, такие латаные.

Из всей этой тирады, слышанной тоже в купе в 1957 году, я точно помню только насчет трусишек. И неописуемое выражение презрения на лице. Остальное вспомнано вприглядку — не по слову, а по мысли. В общем же разговоры Твардовского помнятся хорошо, может быть, потому, что там, кроме слова, всегда была

мысль.

Кажется, в ответ на мое случайное замечание, что в украинском фольклоре Твардовский всегда пан, он нервно и настороженно:

— Говорят небось про меня, что я поляк, говорят?

— Нет, не говорят.

По Варшаве мы шли втроем с Твардовским и Заболоцким. Молча смотрели под ноги. Очень хотелось купить газету и узнать новости, накопившиеся за пять дней поездки. А денег — ни злотого. В конце концов злотый нашелся прямо на асфальте, и газета была куплена — без новостей.

Новости начались в Москве на вокзале, когда к каждому из нас подошли по родственнику (ко мне — брат, к Твардовскому — дочь), отвели в сторонку и сепаратно сообщили о снятии Жукова..

Корней Чуковский

Весь русский XX век читал его. Все возрасты были покорны этой любви. Сначала это были старшие возрасты, интересовавшиеся думскими отчетами. К. И. рассказывал мне, когда разговор почему-то зашел о П. Н. Милюкове, что тот выписывал ему едва ли не первый крупный гонорар — сторублевку. Позднее — со времен «Крокодила» — массовой базой Корнея стали самые младшие возрасты, а в советское время все — от пенсионера до пионера.

Формально он был стар, очень стар, старше всех. Древний и расслабленный Маршак многократно подчеркивал, что Чуковский значительно старше его.

Но будучи прям, весел, строен, цветущ, тщателен в одежде, удивительно памятливы, работоспособен, обуреваем страстями и необычайно, остро, сильно, самостоятельно умен, К. И. в заселенном стариками Переделкине и во всей нашей малообновляющейся литературе казался путешественником во времени, путником, отбрасывавшим годы посохом. И умер он не от одной из болезней стариковского набора, а, по сути дела, случайно, как мог бы умереть любой молодой.

Корней рос не как дерево, а как большой завод. Не из случайно брошенного семечка, а по обдуманному плану. Только план он сам обдумывал и сам осуществлял.

Подтверждаю фактами.

Корней — первый детский поэт в истории не только советской, но и русской поэзии. Однако «Крокодилу», написанному в 1917 году, предшествовала статья «Лидия Чарская», короткая и безжалостная расчистка почвы для всего, что было впоследствии сделано в детской литературе.

Вот как эта статья начинается:

«Слава богу: в России опять появился великий писатель, и я тороплюсь поскорее обрадовать этой радостью Россию.

Открыла нового гения маленькая девочка Леля. Несколько лет назад Леля заявила в печати: «Из великих русских писателей я считаю своей любимой писательницей Л. А. Чарскую».

А девочка Ляля подхватила: «У меня два любимых писателя: Пушкин и Чарская».

«Своими любимыми писателями я считаю Лермонтова, Гоголя и Чарскую».

Эти отзывы я прочитал в детском журнале «Задушевное слово», где издавна принято печатать переписку детей, и от души порадовался, что новый гений сразу всеми оценен и признан.

Обычно мы чествуем наших великих людей лишь на кладбище, но Чарская, к счастью, добилась триумфов при жизни. Вся молодая Россия поголовно преклоняется перед нею, все Лилечки, Лялечки и Лелечки».

У Чарской был по крайней мере один компонент великого писателя — великий успех. Корней этот успех сокрушил — веско и безжалостно. Такая победа — великая победа. Не вспоминают о ней разве потому, что она слишком велика — от противника не осталось ни дна, ни покрывки, не осталось даже воспоминания.

После удара, нанесенного Белинским, от Бенедиктова кое-что осталось, например книги в «Библиотеке поэта», выходящие и в наше время.

После расправы с Чарской — ничего: ни рожек, ни ножек.

В той же книге «Лица и маски» есть статья «Некрасов и модернисты» — предтеча всего Чуковского некрасоведения; статья «О детском языке» — набросок книги «От двух до пяти»; статья «Шевченко», предшествовавшая его многолетним работам над литературой советских народов.

Когда это писалось и печаталось, общим местом было обвинение Чуковского в легковесности, в эстрадности. Его ставили рядом с Петром Пильским. От него хотели отшутиться.

А на самом деле вышло, что он один из самых сознательных и последовательных литераторов нашей литературы, что работы, начатые в 25 лет, продолжались и в 75, а в 80 лет — завершились.

На каких людей заносил свое легкое перо Корней! Список его противников, его жертв, его оппонентов — захватывающее чтение. Всякая легкая и ранняя слава настораживала его, заставляла пустить в ход свои контрольно — измерительные инструменты.

Какие люди пытались от него отшутиться!

Оказалось, что с Корнеем шутки плохи.

Проверим — через 60, 50, 40 лет — его оценки, пересмотрим его приговоры.

Разве мы не думаем о прозе Мережковского и о стихах Гиппиус того же, что Чуковский осмелился 60 лет тому назад сказать об этих славных и знаменитых тогда писателях?

ОН БЫЛ ПРАВ. Если Чуковскому — критику будет поставлен отдельный памятник, на нем следовало бы написать именно эти слова. Он был прав, если не всегда, то слишком часто.

Он был прав, когда смеялся над эгофутуристами и когда извлек из забвения Слепцова. За одного Слепцова ему полагается вечная память и вечная благодарность.

Он был прав, когда в маленькой статье «Мы и они» предсказал появление массовой культуры и дал набросок ее теории.

Он был прав.

А ведь я взял едва ли не самую забытую, ни разу не переиздававшуюся, не перепечатанную полностью даже в собрании сочинений книгу Чуковского «Лица и маски». Только одну книгу из сотни его книг

Из письменного стол

Мой друг Миша Кульчицкий

Впоследствии выяснилось, что Мишина мать Дарья Андреевна — одноклассница по Славянской гимназии моей нелюбимой тетки Жени. Моя же мать училась в той же гимназии двумя или тремя классами старше.

Однако в тот вечер (скорее всего зимний или осенний) 1936, а может быть, 1935 года в просторной, кажется, горнице дома, где некогда помещалось, кажется, Дворянское собрание, а потом ВУЦИК, а в тот вечер — харьковский Дворец пионеров, я увидел мальчика, о котором ничего не знал — никогда его прежде не слышал и не видел.

Среди прочих мальчиков — их было, наверное, более дюжины и еще несколько девочек — он выделялся статью, плотью, обильной, крупной, но спортивно не организованной, большими, но покатыми плечами, лицом — большим, с крупными чертами — и костюмом. У всех нас были тогда перешитые — из отцовских — костюмы, но у Миши исходный материал был особенный, не такой, как у всех. Увидь я его сегодняшними глазами — сказал бы: барчук. Тогдашними шестнадцатилетними глазами я этого не увидел, но мальчик показался мне странным и привлекательным.

В тот вечер в литературном кружке Дворца пионеров читались стихи, и будущие партизаны, полицаи, доцент Черновицкого пединститута, референт городской библиотеки имени Короленко, сценаристка и еще люди, ныне живые или мертвые, течение судеб которых мне неизвестно, кричали, шептали, распевали свои ямбы или ударники.

Миша ничего не читал, но по его широкому лицу странствовала неопределенная усмешка. Как выяснилось, такая же усмешка странствовала и по моему лицу — тогда узкому. Нам обоим не нравились стихи литкружка. На этом мы познакомились, на том, что стихи наших сверстников нам не нравились.

Потом (до мартовского, в 1942 году, дня, когда я видел Мишу в последний раз) было шесть или семь лет отношений. Правильнее всего назвать их дружескими.

Мы ссорились или мирились так часто, что однажды решили драться раз в году — летом, в городском парке — без причин, лишь бы амортизировать скопившуюся за год взаимную злость. Мы жили в разных городах, на разных улицах и (однажды) в одной комнате, в общежитии МЮИ, где я тогда учился.

Все это время мы часто думали друг о друге. В наших отношениях было много компонентов подлинной дружбы —

взаимный интерес, готовность помочь по — крупному, готовность посмеяться по мелочам, постоянное соревнование, взаимная надежда на будущее.

Миша часто писал обо мне в открытках, регулярно посылаемых из Москвы домой, в Харьков. Всегда или почти всегда благожелательно. Эти открытки сохранились. Некоторые даже опубликованы.

Я тоже писал о Мише домой, в Харьков. И тоже хорошо. Но открытки не уцелели.

Семья Кульчицких сохранила все Мишино до строчки, потому что сохраняла. А сохраняла потому, что была — семья.

Их было тогда, перед войной, пятеро: папа, мама, бабушка, Миша и Олеся.

Самый интересный был папа.

Я его хорошо помню. Он был мрачный, угрюмый, печальный, суровый, важный, гордый. Еще двадцать эпитетов того же ряда тоже оказались бы подходящими.

Сейчас я впервые в жизни подумал, что он был очень похож на сына, на Мишу: то же широкое, полноватое лицо, та же бродячая усмешка. Только она бродила помедленнее.

Отец Миши был одет в старую, вытертую тужурку. Он всегда молчал. Я не помню ни одного разговора с ним. Было бы удивительно, если б он заговорил. Я бы обязательно запомнил.

Зато Миша об отце говорил часто.

Однажды был длинный рассказ о том, как Деникин послал отца на связь с Колчаком через закаспийские пустыни. Несколько месяцев спустя выяснилось, что история восходит к «Сорок первому» Бориса Лавренева. Будучи пойман, Миша не отрицал. Он усмехался.

Была еще литературная история (из Лескова) с офицерами, картежом, перчатками и дуэлями. Дело было в том, что на отце все эти истории сидели очень удобно и пригнанно.

В справочнике Тарасенкова помечены два сборника стихотворений отца. Но мне помнится, Миша показывал целую пачку книжиц. Среди них были и стихи, и проза — рассуждения об офицерстве, о гвардейской чести, о традициях русского оружия. Позднее, в разгар войны, я с изумлением читал в «Красной звезде» статьи Кривицкого на те же темы, где Кульчицкий — старший цитировался широко. Стихи отца мы читали вдвоем с Мишей. Они не запомнились. Мы тогда ценили в стихах строчку. Нам представлялось, что стихотворение надо свинчивать (Мишино словцо) из строчек. Всего этого у отца не было.

Были еще (я почти уверен, что были) статьи против

Короленко. Спор у отца с Короленко шел о дуэлях. Кульчицкий защищал офицерские дуэли, Короленко клеймил их как варварство, и хотя Короленко отзывался о Кульчицком без церемоний, сам факт печатного спора с ним переполнял наши души гордостью.

Вокруг печального лика отца — офицера старой армии, а на моей памяти — адвоката или, может быть, юрисконсульта, высланного куда-то в Карелию<...>, — вокруг этого сумрачного лика в моей памяти клубятся легенды, творившиеся Мишиной любовью и фантазией...

В Можайске я сел на попутный мотоцикл и часа за полтора домчал до Москвы, испытав новое ощущение — или новое страдание — от быстрой езды против пронзительного мартовского ветра. У меня было два дня или, точнее, дня два в Москве, притом совершенно свободных, — немалое счастье для той войны, когда по эту сторону фронта отпуска были не в заводе. Кроме того, у меня было несколько банок консервов, хлеб и доброе расположение духа.

Москва намерзлась за первую военную зиму, наголодалась и еще не успела привыкнуть ни к холоду, ни к голоду. Все было затемнено, а в марте сумерки начинаются рано. Тьма, без обиды воспринимавшаяся на передовой, в Москве очень впечатляла. Выяснилось, что идти мне в эти два дня не к кому — товарищи разъехались по фронтам, а их родители — по эвакуациям. Был только один адрес — Литинститут, а в нем Кульчицкий.

Я не видел его месяцев пять. Эти месяцы он прожил в Москве, и дались они ему — непросто.

И до войны Миша жил неустроеннее и беднее всех нас, но до войны был большой успех, ежедневное писание, письма из дому, друзья, романы — и все это по нарастающей. В марте 1942-го всего этого не было, и Миша был в унынии.

— Мой отец — раб. Моя мать — рабыня, — сказал он мне об оставшейся в Харькове семье, и видно было, что он думает об этом непрестанно.

Его большое тело требовало много еды, много хлеба и колбасы, которыми он преимущественно питался до войны, а еды было мало. Прежде, встречаясь, мы торопливо обменивались новостями и начинали читать друг другу стихи. Миша больше читал. Я больше слушал. В те два дня Миша не читал вовсе (или почти не читал — я ничего не припоминаю), и это само по себе было важнее всего прочего, потому что стихи были его главным свойством, как зелень у травы.

Директор Литинститута, милейший Гаврила Сергеевич Федосеев, дал мне талон в институтскую столовую. Мы пошли с

Мишей и стали в медленную очередь, которая мне запомнилась своей странностью. Знакомых почти не было. Зато было много молодых женщин. Некоторые были красивы и хорошо одеты. Об одной мне сказали — Ада Тур. Я часто видел ее на киноплакатах и просто на улице Горького, а теперь лицо обозначилось именем и фамилией. Другая, столь же странно красивая — для этой очереди и для всей войны, — была дочь Асмуса. В институт эти светские красавицы, как мне сообщили, поступили ради карточек. В цельноженской очереди, кроме нас с Мишей, возвышалась еще одна мужская фигура — высокий молодой человек в мятом едва ли не фраке, из которого выглядывали грязные манжеты. Это был Л., ставший студентом по тем же соображениям, что и дамы. Судьба столкнула меня с ним еще раз — в августе 1953-го. Именно в его краткой справке о себе я прочел строки: «широко известен в узких литературных кругах». Л. стоял в очереди и ухмылялся, криво и напряженно.

Нам с Мишей выдали по миске баланды — горячей и почти пустой. Я отдал свою порцию Мише, и он схлебал ее с жадностью. Миша вообще плохо скрывал свои чувства, а голод — сильное чувство, едва ли не самое сильное. <...>

Моему другу было плохо — тоскливо, одиноко, голодно. Он понимал, что надо ехать на фронт. Помню, что, глядя на него, я думал о том, что на передовой Миша — не жилец. Наверное, я это объяснил ему в это свидание или в предыдущее.

Разговоров же в это последнее наше свидание я не припомнил. Их легко реконструировать. За многие часы, проведенные вместе, я, конечно, порассказал ему про фронт, а он мне — про тыл. Говорили мы, конечно, и о родителях — его, оставшихся в оккупированном Харькове, и моих — уехавших в Среднюю Азию, в эвакуацию. Говорили, конечно, и о Сельвинском, и о Лиле Юрьевне, и о товарищах — поэтах.

Однако точно припоминается только фраза Миши:

— Мой отец — раб. Моя мать — рабыня.

И унылое, тоскливое нелюбопытство подавленного обстоятельствами человека.

Кого же я повидал еще в те два дня?

И до войны в Москве было не много домов, куда мы с товарищами ходили, а тогда все знакомые телефоны и вовсе перестали отвечать.

Помню только, что зашел к почти, в сущности, незнакомой Любе Трофимовой. Она тогда служила по радиоперехватам, и я с недоумением убедился, что есть еще такая тыловая профессия..

*А в походной сумке — Спички и
табак, Тихонов, Сельвинский,
Пастернак...*

Э. Багрицкий

Я ворочал это тяжелое, еще налитое всеми соками, еще молодое тело. Только сердце отказало ему в услугах, да еще голова стала сдавать. О голове речи не было, а по поводу инфаркта меня вызывали раза два в день, и вместе с кем-нибудь из малеевских жителей мы поправляли матрасы или подушки или попросту переворачивали Сельвинского со спины на бок, с бока на спину.

Сельвинский говорил:

— Всю жизнь провел как спортсмен, а теперь приходится жить лежачим больным.

Несколькими годами позднее на даче в Истре мне точно так же приходилось ворочать старое, выношенное, но тоже тяжелое тело Эренбурга — и тоже по поводу инфаркта. И. Г. не хотел привыкать, подчиняться, он жаловался, качал права у судьбы. Сельвинский — привык.

К тому времени наши с Сельвинским отношения продолжались уже четверть века. А начинались они так.

Мы с Кульчицким были приняты в Литературный институт. Выбрали, ни минуты не колеблясь, из пяти семинаров — Сельвинского. В самом начале сентября 1939 года состоялось первое занятие.

Сельвинский сидел за длинным столом — большой, широкоплечий, широкогрудый, больше и породистее любого из нас. Он перебирал четки, тоже очень крупные, что, как и требовалось, запоминалось сразу.

Сельвинский кратко опрашивал новичков. На вопрос, кого любите из поэтов, кто-то из нас ответил — Пастернака и Сельвинского. На что воспоследовало:

— А не из классиков?

Это тоже запомнилось сразу и на всю жизнь.

Знали ли те старые классики, что они классики? Некоторые, наверно, знали: Толстой, или Горький, или Гончаров.

Сельвинский знал и семинар вел жестко, безапелляционно, с большой дистанцией.

Семинаристы с места в карьер втягивались в полемику, в

литдраки руководителя. А Сельвинский был драчуном.

Один из первых семинаров был посвящен разносу Симонова, совсем недавно окончившего тот же Литературный институт, но позволившего себе какую-то печатную непочтительность. Все должны были высказываться о недостатках этого «молодого человека, не произносящего 20 букв алфавита» (руководитель семинара).

На соседнем семинаре — Кирсанова — целое занятие было посвящено недостаткам Твардовского. Впрочем, у Кирсанова все было попроще. Он приходил оживленный и говорил:

— Какие строчки пришли мне в голову:

Мебель рококо в клубе РККА, —

и два часа отводилось под эти две строчки — не без пользы для дела.

У нас все было основательнее, академичнее. Задавались задания. Выполнение их проверялось. Учились писать. Учились описывать. Например, помнится, серебряную ложечку. Учились стихосложению. Например, сонетной форме. Связного последовательного курса не было. Но учились многому, и кое-кто выучивался.

Сельвинский ориентировал на большую форму, на эпос, на поэму, трагедию, роман в стихах. Эпиков было мало. Им делались скидки. После каждого семинара выставлялись оценки по творчеству по пятибалльной системе. Над ними иронизировали, но, помню, я не без замирания сердца ждал, что мне выставит Сельвинский — стихи мои ему не были близки. Оказалось, пятерку. Платон Воронько, писавший тогда по — русски, получил четверку и десятью годами позже в ходе борьбы с космополитизмом торжествующе говорил на каком-то большом собрании:

— Сельвинский выставил мне четверку, а народ ему сейчас выставляет двойку!

Когда Сельвинский присмотрелся к семинару, мы ему понравились.

Он был прирожденный педагог, руководитель, организатор, вождь, а мы — третье поколение его учеников после ЛЦК и Констромола. Он так и говорил: мои ученики, мои студенты. А мы недоуменно помалкивали. В двадцать лет неохота состоять учеником у кого бы то ни было, кроме Аполлона.

Когда я впервые после войны приехал (в ноябре 1945), я позвонил по телефону Сельвинскому. Берта спросила меня:

— Это студент Слуцкий?

— Нет, это майор Слуцкий, — ответил я надменно.

Но тогда, в 1939-м, он учил, мы учились, он был учителем,

мы — учениками. Ученики нравились учителю.

Он так и сказал кому-то из сверстников:

— Мой семинар — это бизнес (или «это дело»).

Еще он говорил кому-то, что студенты его семинара отличаются красотой.

Иногда мы провожали Сельвинского после семинара. Однажды я спросил его:

— Какой был Маяковский?

— Маяковский был хам, — ответил Сельвинский и, как мне сейчас кажется, потер затылок.

Еще один рассказ его той же тематики (наверное, на семинаре): вечер конструктивистов в Политехническом. На заднем плане зала — фигура Маяковского. После вечера его поклонники окружают конструктивистов, и те становятся плечом к плечу вокруг Инбер, занимают круговую оборону.

Еще одно воспоминание: мы с Кульчицким пьем кофе или обедаем у Л. Ю. (Лили Юрьевны Брик. — *П. Г.*), и я за столом, где сидит человек десять из бывшего лефовского круга, провозглашаю, из озорства, тост за Сельвинского. Всеобщее молчание прерывает умная Л. Ю., говоря:

— Это их друг. Почему бы и не выпить.

Однажды на лестнице Литературного института я наблюдал встретившихся Сельвинского и Брика. У обоих в руках были одинаковые книжечки только что вышедшего «Дерева» Эренбурга. Они что-то показали друг другу — каждый в своей книжечке, осклабились, кто-то сказал: «Рифмы!» — и разошлись.

Чем мы занимались на семинаре Сельвинского? Поэзией и только поэзией. Своим делом. И уж никак не политикой.

Впрочем, тогда, в 1939–1941–м, почти все занимались своим делом. Политика нас касалась, могла коснуться в любое мгновенье. Но мы ее не касались. Из страха, из досрочной мудрости?

Я говорю, конечно, о внутренней политике, особенно о карательной. О политике внешней, которая нас коснуться не могла, говорили больше. Но немного. Я поступил в Литературный институт через несколько дней после заключения С. — Г. (Советско — Германского. — *П. Г.*) пакта и ушел из него на фронт — через несколько дней после его нарушения. Однако разговоров о пакте на семинаре я не помню. Не помню ни единого семинара, когда бы создавалось угрожающее — по политике — положение. Или даже просто двусмысленное. Почти все семинаристы были люди молодые, горячие, нервные, храбрые. Но не пытались перешибить обух плетью. Очень уж категоричен был категорический императив тех лет..

В семинаре Сельвинского изредка появлялся желтолицый, черноволосый, старообразный, высокий, плотный, болезненный Жора Рублев. Он был старше меня на четыре — пять лет, а казалось — на двадцать. Познакомившись с нами, Рублев зазвал нас в гости, и в доме его на Телеграфном переулке мы бывали сравнительно часто с осени 1939-го до самой смерти Жоры, т. е. до 1957-го, 8-го или 9-го года.

Рублев говорил низким, грудным, почти чревовещательным голосом. Он был болен какой-то редкой и неизлечимой болезнью вроде гнилокровия. Отсюда и желтолицесть, и старообразность, и весь образ жизни. Рублев почти всегда лежал. Мы с ним как-то подсчитали — триста дней в году. Однако у Рублева была семья — неработавшая жена и мать — покеристка. Лежа, болея, порой умирая, он работал. Лежа принимал гостей. Гости всегда было очень много. Рублев объяснял это тем, что сам никуда ни ходить, ни ездить не может и гости — его единственный канал познания мира. Звучало это убедительно, но со временем стало подвергаться сомнению.

Станный был человек, странная была семья, и дом был странный.

Стихи он писал сюжетные. Этим пригодился Сельвинскому, все старавшемуся переоборудовать поэзию по своему образу и подобию. Сюжет был одним из китов жесткой и старообразной конструктивистской поэтики, стоявшей, как земля в старинных космологиях, на немногих китах. Ничего, кроме сюжета, в стихах Р. не было, и Сельвинский, понимая это, больших надежд на него не возлагал. Возлагал небольшие.

Сюжеты Р. добывал из тонких журналов, которых в ту пору было немного. «Новое время», не устыдившееся заимствовать название у Суворина, ежемесячные тетрадки сторонников мира и еще что-то. Все это прочитывалось, подчеркивалось, отсеивалось, прорабатывалось. Изредка какой-нибудь факт, замысловатый и трогательный, перелагался довольно звучными и всегда ясными сюжетными стихами. Еще реже эти стихи печатали.

Звездный год рублевской поэтической карьеры — 1949-й, год сталинского семидесятилетия. После многих месяцев подготовки было вычитано и отсортировано более ста фактов о Сталине, а точнее — об отношении к Сталину народов мира.

Большая часть фактов, может быть около ста, была изложена в звучных и ясных сюжетных стихах, которые были предложены известнейшим композиторам страны, начиная с Шостаковича.

Тексты (около 80) — пошли. Со всех эстрад запели песни на слова Р. Я до сих пор помню некоторые — в избранных отрывках, конечно:

Я старая мать из Руана,
Тра — та тра — та — та татата,
Три сына мои партизана
Погибли во время войны,
Но я обращаюсь к Вам, Сталин... —

и далее старая мать из Руана излагала, что ее три сына погибли не напрасно. Факт был несомненно заимствован из тонкого журнала, но амфибрахий, заострение и жар души принадлежали Р.

Была еще песня о Праге:

На улице Сталина в Праге
Каштаны листвою шелестят
О нашей бессмертной отваге,
О мужестве наших солдат.

Было много китайских, вьетнамских и других сюжетов о любви к Сталину. К тому времени, когда песни пошли, семейство Р. было в неоплатном долгу — 80 000 дореформенных рублей. Немалая сумма, если учесть, что ни единой зарплаты в семье не было. Должал Р. преимущественно ростовщикам. Была тогда старуха — вдова членкора Академии медицинских наук, дававшая деньги под заклад из 10 процентов. Я как-то сообщил, что в Древнем Риме при братьях Гракхах проценты были ограничены двенадцать с чем-то годовыми. В другой раз я предложил Р. «прекратить» ростовщицу, обратившись к кому-либо из моих бывших соучеников по юридическому институту. Р. отказался: у ростовщицы был племянник, подполковник, участник «фирмы», и Р. его боялся. Кроме того, деньги могли понадобиться снова, а достать их, кроме как у ростовщицы, было негде. Деньги Р. надобились часто, и причины были уважительные, объективные. Жил он только на редких и дорогих лекарствах вроде антибиотиков, переживавших тогда пору туманной юности. Есть мог только редкое и дорогое. Справедливость не была восстановлена, и ростовщица продолжала беспрепятственно отдавать деньги в рост.

80 песен о Сталине позволили Р. сразу расплатиться до рубля и долгое время не должать. В трудной жизни Жоры это была чуть

ли не единственная удача, но крупная. Закрыв глаза, я в точности представляю себе, как он звонил — сначала композиторам, потом издателям: «Говорит писатель Рублев». Время было такое, руководящим, императивным голосом говорили только те, у кого было на то бесспорное право, или же очень смелые люди.

Р. много болел. Он был сыном крупного инженера — электрика, исчезнувшего в 1937 году. Он жил в ведомственном доме Министерства электростанций, откуда его время от времени пытались вытряхнуть.

Он нигде не работал, не состоял в Союзе писателей, нигде, кажется, не числился. Тем не менее изредка он снимал трубку и командным полноправным голосом произносил: «Говорит писатель Рублев», — и не только каким-нибудь большим литераторам, но и работникам секретариата А. С. Щербакова, который его, кажется, принимал и выслушивал. Позднее поговаривали, что у Р. были особые полномочия. У меня иная теория. Мне кажется, что латинская медь появляется в голосе именно потому, что никакого иного выхода не было: пропадай или нагличай; голодай или требуй.

Чтобы кончить со сталинским циклом песен, укажу, что кроме умысла, расчета и отчаяния его автором двигали еще и восхищение, интерес, всякие иные заменители любви к герою. Нехалтурная была работа, по крайней мере в лучших опусах. От души все это писалось, от всей — крученной, верченной, боязливой, наглой, несчастной души Р. Недаром лучшие композиторы века избрали из многих ворохов именно эти тексты. И музыку написали дельную. И народ это слушал, правда, недолго.

Была у Жоры еще одна узкая специальность — сторонник мира. Все мы были сторонниками мира, и от души, и потому, что в послевоенной литературе не было темы столь трудоемкой, как сторонничество. Лесополосы тоже были темой, но на год — два. Бороться с космополитами решались люди зазорные, да и не всем это разрешалось. А сторонничество было дело чистое.

Так вот, все мы, многие из нас, и я в том числе, были сторонниками мира, но Р. бил в эту точку с особенным упорством. В связи с одновременной публикацией стихотворений Р. и Ашотом Граши с одинаковым названием «Солдаты мира» была даже сложена эпиграмма:

Солдаты мира у буфетной стойки
Так говорили не спеша:
«Ашот Граши, он и рубля не стоит,
Рублев не стоит ни гроша».

(Эпиграммы в ту пору сочинялись многочисленные. Помню еще одну, кажется Шуры Шапиро:

Какие муки терпит слово
От странных опытов над ним
Полубезумного Глазкова
С полубезумным Долгиным.

Талантливо, но несправедливо. Глазков и Долгин были едва ли не самыми независимыми и продуктивными поэтами тех лет.)

Были, конечно, причины и для такого отношения к Жоре, но, как вспомнишь его доброжелательность, его скромность, его разумность, как вспомнишь, что он играл без козырей — ни здоровья, ни молодости, ни крупного таланта, как вспомнишь шумное семейство, где он был единственным добытчиком, как вспомнишь, что у него, уверенного в своей скорой смерти, не было никаких надежд, как подсчитаешь, окажется, что смягчающих обстоятельств было куда больше, чем отягчающих.

Р. не успел вступить в новую эпоху, а ведь он успел порадоваться. И чувство нового у него было, хотя и небезошибочное. Едва ли не последнее опубликованное им стихотворение содержит комплименты Маленкову. Не в Маленкове, конечно, дело, а в надеждах, которые надо было нахлобучить, напаялить на какую-либо персону.

Надеялся-то Р. в хорошую сторону. Причем не для себя, а для всего человечества. Торопливое, боязливое, болезненное чувство нового обязательно заставило бы его лиру издать какие-то неведомые звуки. Может быть, они прозвучали бы громко, но в последние свои годы и в первые годы новой эпохи Р. беспробудно болел.

Итак, был салон, и я туда ходил. За это я тоже признателен Р. Ходить тогда было почти некуда. Достоевский утверждает: у каждого человека должно быть место, куда пойти. У меня — и до войны, и в первые послевоенные годы — таких мест было мало. Если счесть товарищей по юридическому институту и по поэзии, добавить изредка приглашавших мэтров, вряд ли наберется больше дюжины домашних порогов, которые я переступал, домашних очагов, у которых я грелся. И это за четыре долгих предвоенных года. А мне, насельнику общежитий, где всю зиму температура держалась около 8 градусов, погреться очень хотелось. И я звонил Р. Неизменно получал приветливые приглашения, очень часто заставал общество.

Правда, гостей у Р. никогда не кормили, и когда, чуть ли не единственный раз, был подан чай — это запомнилось.

У Р. не пили даже дешевой водки, не ели даже колбасы. За девушками ухаживали мало, хотя две — три подружки хозяйки иногда красиво фигурировали среди гостей. И за ними ухаживали.

У Р. разговаривали.

К чести Жоры — концепций он не любил, предпочитал факты. Постепенно выработался фасон беседы, в которой сообщалось многое, а оценивалось немного. Объекты разговора преобладали над субъектами, и это всех устраивало. Два или три раза в разгар беседы приходило какое-нибудь мелкое начальство — то описывать имущество, то требовать выселения с ведомственной жилплощади. Таковые визиты, естественно, способствовали сдержанности и хозяев, и гостей. Говорили о многом и многое, но не обобщали. Объективничали, без всяких объяснений понимая, что так все будут целее. В итоге все посетители остались целы, и единственное, если не ошибаюсь, исчезновение — Миши Вершинина — произошло уже в новое время и имело свои гласные и объяснимые причины.

Среди частых посетителей помню Эрика и Эдика. Они же были главными женихами для подруг хозяйки. Эрик был молодым талантливым конструктором. Эдик был молодым талантливым нейрохирургом. Вообще подразумевалось, что в дом ходят талантливые люди. Или же интересные, странные. Таких тоже приглашали.

Эрик был маленький, лысенький и молчаливый. Фамилия его была Блох. Р. сокрушенно рассказывал, что его тесть, академик, именовал свою новую родню — «мои блохи».

Молчаливость объяснялась засекреченностью Эрика, и никто не пытался разговорить его касательно рода деятельности.

Эдик был высокий, авантажный, как мастер художественного слова, держался уверенно. О мозгах, которые он резал (среди них был и мозг Гудзенко), рассказывал охотно и интересно. Он в самом деле был талантлив, и вышел из него крупный врач.

Эрик и Эдик были одеты в пиджачные тройки и выглядели нормально питающимися людьми.

Гавронский, которого я видел всего два — три раза, был одет в обноски и никак не обихожен, но он был гипнотизер, кажется даже профессиональный. Он был отпрыск известной московской семьи, как я потом понял — эсеровской. Его приглашали охотно как интересного человека.

Другой странный человек был по роду занятий фотограф, а по сердечной склонности — джиу — джитсер. Была у него еще одна сердечная склонность — молодая и привлекательная женщина, проживавшая в той же коммунальной квартире.

Понизив голос (он это делал часто), Р. рассказывал мне, что однажды, обнаружив, что у него есть соперник, джиу — джитсер уединился с ним в одной из комнат и мучил несколько часов, по правилам своей японской науки, до полной капитуляции.

В квартире на Телеграфном переулке происходило и не такое. И такое тоже происходило там, наверное.

Однако самое время порассказать о хозяйках салона — молодой и старой.

«Я знаю, что вы обо мне говорите, — сообщила мне как-то Софья Израилевна, — что у меня характер, как у Тома Сойера».

Я говорил о ней и похуже, называл ее старуха — шалопай. Но С. И. была незлопамятна.

Вообразите маленькую, пухленькую, неряшливую шестидесятилетнюю [старушку], впоследствии ставшую на моих глазах семидесятилетней, не утратив ни бойкости, ни вздорности.

Лицо у нее было озабоченное, суматошное. С. И. была всегда занята, всегда на ходу, всегда у телефона, считалось, что она дает уроки фортепьяно. Может быть, она давала и уроки. Кроме того, день — деньской С. И. бегала по всяким странным и сомнительным делам. И ежели водится еще «человек воздуха», то она была «старухой воздуха».

«Слуцкий, — позвонила она мне однажды, — есть невеста для вас. Хотите жениться?» — «А площадь у невесты есть?» — справился я, ибо в ту пору (дело было, наверное, в 1952 году) первой ступенью лестницы потребностей была у меня как раз площадь. «Площади нет, но зато ребенок есть. От Героя Советского Союза».

На таком деловом уровне финтила С. И. свои финты — что-то продавала, что-то покупала, что-то устраивала.

Вечерами С. И. играла в покер и, поскольку партнеры ее были умнее ее и опытнее, часто проигрывала, немалые притом суммы.

Возвращаясь домой, старуха придумывала поспешную версию — например, грабитель вынул деньги из сумочки — тут же, только что, в нашем же подъезде, и, заметив недоверие сына и невестки, недоверие с добрым отчаянием, — ложилась на пол и бестолково имитировала истерику...

Вера Инбер

Старухи в Переделкине — их там всегда не менее половины наличного состава — с каждым годом старятся все скорее — на год, на два, на три — за год. Вот они еще бегают по аллеям, как Нора Галь с ее офицерской выправкой. А вот уже семенит, держась за стенку, в франтоватых своих, импортных, стеганых халатиках Инбер Вера Михайловна.

Я с ней встречаюсь редко, раз в десятилетие.

В Италии, в 1957 году, Заболоцкий называл ее Сухофрукт. Была подтянута, стяжательствовала по магазинам. Во Флоренции в галерее Уффици неожиданно прочитала нам лекцию о Боттичелли — о нем писал ее первый муж Инбер (с ударением на втором слог). Лет через пять в Болгарии, куда она поехала сразу же после смерти единственной дочери, тоже скупала кофточки и неоднократно с кокетливой гордостью читала эпиграмму тридцатых годов:

У Инбер нежное сопрано
И робкий жест.
Но эта тихая Диана
И тигра съест.

(Три эпитета я, наверное, напутал.)

Читала с гордостью, а может быть, и с угрозой.

Однако другая старуха, болгарская поэтесса Дора Габе, делившая с ней гостиничный номер во время поездки нашей делегации по стране, рассказывала, что Инбер во сне кричит и плачет.

И вот 1970 год. Август. Инбер 80 лет. Она хвастается телеграммами, но — вяло. Со мной шушукается.

Все спрашивают, не выжила ли она из ума, не поглупела ли.

Я искренне отвечаю, что нет.

Она — в уме, в том уме, не малом и не большом, в котором прожила всю жизнь.

Она спрашивает у меня: «Слуцкий, что вы такой мрачный? У вас все в порядке?»

И, выслушав ответ, убежденно говорит: «У меня все в порядке. У меня всегда все в порядке».

И действительно, у нее все в порядке — как почти всю жизнь. Как у дерева, у которого ветки отсохли раньше, чем корни. Теперь отсохли уже корни. Держится оно... непонятно на чем. Может

быть, на воле? Но на воле долго не держатся..

История моих квартир и квартирохозяек

Историю моих квартирохозяек хочется почему-то начать с почти единственного среди них мужчины — Андрея Гаврилыча Чарского.

Продержался я у него недолго — три летних месяца 1951 года, но отказывала от квартиры мне его жена — энергичная полька, все лето жившая на даче и бывавшая у нас на Серпуховской наездами, с контрольно — инспекторскими целями. Самому же А. Г. я нравился, о чем он мне однажды сказал: «До вас мы тоже сдавали одному журналисту или писателю, но тот был ловкач, все по телефону что-то устраивал, а вы — серьезный партийный».

А. Г. тоже был серьезный партийный. Работал он в Моссовете, заведующим отделом крыш. Называлось это не так, но дело было именно в возглавлении и руководстве всеми кровлями города, и мне иногда представлялось, как А. Г. с некой высоты посматривает на покрытую масляной краской, подведомственную ему верхотуру. Была у А. Г. еще дополнительная нагрузка, спецпоручение — названия московских улиц. Однажды, в пик откровенности и дружелюбия, он открыл мне тайну, которую хранил двадцать лет. Улица, носящая сейчас имя Чехова, была, оказывается, уже однажды переименована — из Малой Дмитровки в улицу Шевченко — весной 1941 года, в шевченковскую годовщину.

Таблички с Шевченко не успели повесить.

Началась война, всем стало не до табличек, а потом подкатил чеховский юбилей.

А. Г. никогда не рассказывал о крышах, то ли с ними было все в порядке, то ли предмет не казался ему стоящим разговора, но двойное дублированное переименование Малой Дмитровки, неправомерное, незакономерное переименование, волновало его, висело на нем.

Едва ли не впервые я соседствовал, сосуществовал с немалым чиновником, близко наблюдал его трудовой распорядок.

Подобно всему начальству, малому и немалому, А. Г. засиживался в Моссовете допоздна, уходил домой только после ухода председателя, тщетно в большинстве случаев ожидая, не позовут ли, не спросят ли о чем-нибудь. Вечерами я его никогда не видел, а по воскресеньям он показывался, усталый, доброжелательный, зажатый между службой и энергичным требовательным семейством. Жили мы, покуда семейство было на даче, вчетвером. Кроме нас с А. Г. летовали еще огромная собака

и старуха мать А. Г. Собака меня почти не признавала, а моих гостей не признавала вовсе, и всевозможные передвижения по квартире осуществлялись только с помощью признаваемой собакой старухи. Старуха охотно откликалась, охотно запирала собаку в комнате. Она вообще все делала охотно. Переехав из смоленской (1951 года!) деревни в большую московскую квартиру, она мучилась от безделья и, спасаясь от него, чуть ли не ежедневно затевала мытье полов и полную уборку.

Надо сказать, что старуха была не простая, а одноногая. По квартире она едва ли не ползала, а полы мыла и впрямь ползком или попросту лежа плашмя.

Не так уж много запомнилось из того лета у Чарских, не так уж много для прозы, но для живописи или для сюрреального кино достаточно: мы с собакой, затворившиеся в разных комнатах, старуха, радостно ползающая по полу коридора, А. Г. со своей тайной.

Еще помню, что окно моей комнаты выходило во двор, асфальтированный, заставленный высокими ф<лигелями?>, и что все лето у меня было полутемно и прохладно.

Позднее приехала хозяйка с двумя рослыми, красивыми и молодыми дочерьми — младшую, помню, звали Брошка, в честь Брониславы из ее польской родни.

Хозяйка быстро разобралась в моем укладе и дневном распорядке. Мне вежливо отказали. То ли гостей ко мне ходило слишком много, то ли площадь понадобилась для Брошки и Брошкиной сестры...

Примечания

До начала девяностых годов Борис Слуцкий не был известен как прозаик.

Только в 1991 году, уже после смерти поэта, читатели могли ознакомиться с его прозой в небольшой книжке «О других и о себе», изданной библиотекой «Огонька». К 55-й годовщине Победы была опубликована наиболее объемная и значительная работа Слуцкого — «Записки о войне». Теперь проза поэта становится известной читателю почти в полном объеме.

«Записки» охватывают боевой путь Б. Слуцкого от сражений под Москвой, где он был тяжело ранен, до поверженной Вены.

А война застала его в Москве студентом двух институтов — Литературного и Юридического. Одним из первых среди своих однокурсников он ушел на фронт, даже не завершив сдачи выпускных экзаменов. Военюрист по военно — учетной специальности, Слуцкий начал службу следователем дивизионной прокуратуры. В сентябрьском письме 1941 года из госпиталя Борис писал мне, впрочем, не без иронии: «Дослужусь до армвоенюриста, буду судить Гитлера и подам голос за смерть». Но в должности дивизионного следователя пробыл недолго. В октябре 1942-го он навсегда оставил военную юриспруденцию. «Я начал службу с начала, — писал он в письме. — Получил гвардии лейтенанта (не юридической службы) и ушел на политработу. Замкомбатствовал. Сейчас инструктор политотдела дивизии».

В конце 1943 года служебное положение Слуцкого изменилось. Его способности и эрудиция, успешная работа в дивизии были замечены — с начала 1944 года он «на руководящей работе в одной экзотической, романтической... одной из самых интересных отраслей» политработы. Несмотря на эзоповский язык письма, не трудно было догадаться, что это работа в 7-м отделении политотдела армии по разложению войск противника. Моя догадка вскоре подтвердилась.

Хотя Слуцкий на новом месте был необходим и полезен для дела, его самого новое положение не удовлетворяло. В письмах он не единожды писал, что предпринимает шаги к тому, чтобы «занять более пехотное положение». Здесь Слуцкий несправедлив к себе: работа на МГУ (фомкоговорящей агитационной установке, смонтированной на автофургоне) была опасна, как всякая деятельность вблизи переднего края.

Сложный и разносторонний опыт войны, от «окопного» до «начальственного», пропущенный через сердце поэта, нашел отражение во всем творчестве Б. Слуцкого, в том числе и в

«Записках о войне», составляющих содержание первой части предлагаемой читателю книги.

«Записки» создавались Слуцким в течение нескольких послевоенных месяцев. Уже осенью 1945-го, в свой первый приезд в Москву в отпуск из армии, он привез несколько гектофафированных экземпляров рукописи. Написанные талантливым пером зоркого наблюдателя и активного участника событий по живым воспоминаниям и неостывшим следам войны, без оглядки на цензуру, «Записки» сохранили не только колорит времени, но и детали, придающие им несомненную достоверность. Слуцкому удалось передать историческую ситуацию через факт, через бытовую деталь, «смотреть на вещи как на явления» (Ю. Тынянов).

В послевоенные годы и вплоть до болезни в конце 1970-х годов Слуцкий не обращался к своим «Запискам», не пытался их публиковать, понимая полную невозможность этого.

В «Записках о войне» он говорит о войне правду, не всегда лицеприятную, но всегда — правду. Он обрел право говорить о войне без прикрас, без лакировки и посчитал это своей обязанностью. В «Записках» есть страницы, способные вызвать гордость и восхищение мужеством нашего солдата, его выносливостью и терпением, справедливостью и отходчивостью, верой в победу в самых отчаянных обстоятельствах. Но немало страниц могут вызвать упреки защитников «чести мундира», особенно тех, кто, по выражению Давида Самойлова, «проливал за Россию не кровь, а чернила».

Борис Слуцкий называл свои «Записки о войне» «деловой прозой». Уверен, что читатель по достоинству оценит не только их документальность, но и художественное мастерство.

Вторую часть книги составляют мемуарные очерки «О других и о себе». Жанровую установку Слуцкий однажды определил парадоксально: мемуарист должен быть страстен и несправедлив. Чтобы не скатиться к объективизму». Ирония очевидна: существовал в советские времена ярлык — «скатиться к объективизму», что считалось (равно как и «скатиться к субъективизму») тяжким грехом. Но была еще одна формулировка, в которой сквозь насмешливость можно разглядеть очертания его принципиальной позиции: «Рассказывать объективно... Только факты... Без вранья, но с литературной отделкой...» Публикуемые тексты Слуцкого — это как раз такие истории без вранья. Написаны они в основном по воспоминаниям после поездки в Италию с группой писателей (Н. Заболоцкий, А. Твардовский,

В. Инбер и др.). Важное место в воспоминаниях занимают

учителя Слуцкого. Читателю ясно, в какое мощное, «ежовое» поле попал будущий поэт, каков был риск утратить самостоятельный голос и свою интонацию, но талант и судьба оказались сильнее «мэтров».

Третья часть книги — «Из письменного стола» — это незаконченные мемуарные наброски Слуцкого, представляющие безусловный читательский интерес.

Впрочем, вся проза поэта — из письменного стола: публиковать ее при жизни он, повторяюсь, не стремился, понимая всю тщету этого.

С. 17.... *«Правда» печатала стихи от Демьяна Бедного до Ахматовой.* — О Демьяне Бедном Слуцкий знал: «Жил в Кремле. Хотел — ходил к Ленину, хотел — ходил к Сталину» (см. его очерк «Н. Н. Асеев и вожди»). Об Ахматовой знал, что нелюбима советской властью и нелюбовь эта взаимна. Увидев эти два имени в «Правде», понял: власть вынуждена изменить свое отношение к Ахматовой (как выяснилось, ненадолго). Стихотворение А. Ахматовой «Мужество» («Мы знаем, что ныне лежит на весах...») было напечатано в «Правде» к женскому празднику 8 Марта 1942 г. Это было единственное стихотворение Ахматовой, опубликованное «Правдой». Д. Бедный был постоянным автором «Правды».

...сущее было слишком разумным... — Чуть измененная цитата из Гегеля: «Все действительное разумно, все разумное действительно».

С. 18. *Мехлис* Лев Захарович (1889–1953) — генерал — полковник. Во время Великой Отечественной войны начальник Главного политического управления РККА и зам. наркома обороны (до июля 1942 г.), затем член Военного совета ряда фронтов. Неудачи советских войск под Керчью связывают, в том числе, с вмешательством Мехлиса в руководство войсками.

КПЮ — Коммунистическая партия Югославии, создана в 1919 г., преобразована в Союз коммунистов Югославии в 1952 г.

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — известный писатель и общественный деятель. Первый сборник стихов издал в Париже (1910). С начала 1930-х годов постоянно жил в СССР. Автор многих романов, а также повести «Оттепель», название которой стало нарицательным для обозначения перемен, наступивших после XX съезда КПСС. Борис Слуцкий, упомянувший в «Записках» о значении статей Эренбурга о войне, еще не подозревал, что после войны сблизится с Эренбургом и найдет в нем поклонника своих стихов и доброжелательного собеседника. Слуцкий посвятил Эренбургу несколько стихотворений, в том числе известное стихотворение «Лошади в океане». В книге Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» есть воспоминания о встречах с Борисом Слуцким. См. также очерк Слуцкого «Эренбург».

С. 19....*как это было после вступления на немецкую территорию...* — Автор имеет в виду статью зав. отделом пропаганды ЦК КПСС Г. Ф. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает», опубликованную в «Правде» 14 апреля 1945 г.; там

была провозглашена новая линия по отношению к немцам, исходившая из высказывания Сталина о том, что «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается».

...*«моральной левой оппозицией»*... — Имеется в виду, что отставание линии на продолжение ненависти было более «левой» политикой, чем провозглашенный новый курс по отношению к немцам. Само понятие «левая оппозиция» — одно из самых опасных словосочетаний для того времени, т. к. «левой оппозицией» был троцкизм.

...*историческая нелюбовь к «колбасникам»*... — Отождествление немца с «колбасником» в общественном сознании сформировалось под воздействием русофильской пропаганды при Александре III и, конечно, под влиянием антинемецких настроений 1914–1917 гг.

С. 20....*ландскнехт из колхозных агрономов*... — Ландскнехт (нем.) — термин, обозначающий наемного солдата. В данном контексте использовано автором переносное значение — жестокий, беспощадный солдат.

Зимой 1941 года на Воронежском фронте... — Более вероятно, что автор имел в виду зиму 1942 г.; Воронежский фронт был образован в июле 1942 г.

С. 21....*лениво переругиваются рупористы*. — Речь идет об одновременном вещании по обе стороны фронта «разлагателей» войск противника.

С. 23....*по ту сторону добра и зла*. — Название знаменитой книги Ф. Ницше, оказавшего огромное влияние на формирование фашистской идеологии. *На западном фронте была деревня Петушки*... — Об этой деревне пишет и Эренбург: «Война была в то время позиционной. Шли бесконечные бои за безымянную высоту, за деревню Петушки. От деревни давно ничего не осталось... Треклятые Петушки!» (Люди. Годы. Жизнь. М., 1990. Т. II. С. 268).

...*цифра почти бородинская по своему значению*. — В Бородинском сражении стороны потеряли около 100 тыс. убитыми (русские потери составили 44 тыс. человек).

Федюнинский Иван Иванович (1900–1977) — генерал армии, Герой Советского Союза, в годы войны командовал рядом армий и непродолжительное время Ленинградским фронтом.

С. 24....*сдался в плен лейтенант — назовем его Рахимов*... — Автор не называет настоящей фамилии, чтобы не подвести офицера.

...*римские проконсулы*. — Проконсул — должностное лицо в Древнем Риме, наместник в провинции.

С. 27. *Приказ № 270*... — Приказ Ставки Верховного

Главкомандования Вооруженных Сил СССР от 16 сентября 1941 г. «О борьбе с трусами, дезертирами и паникерами».

В штурмовых батальонах... — В данном контексте более точно — «штрафные батальоны», в которые направлялись военнослужащие, в том числе и офицеры, уличенные в трусости и паникерстве.

С. 28. *Атлантизм* — выжидание момента, который может принести наибольшие преимущества.

С. 29. *МПВО* — местная противовоздушная оборона.

С. 31. *АХО* — административно — хозяйственный отдел.

Цибарка — ведро.

...над Суворовой Могилой... — Такое название географические справочники не отмечают. Наиболее вероятно, что такое название сохранила народная память применительно к местам вблизи полей сражений, где Суворов одержал свои победы (например, небольшое селение вблизи Измаила носит имя великого полководца).

С. 32. *Воеводина* — автономный край в составе Народной Республики Сербии. Главный город — Нови — Сад.

...«Пеньги не деньги». — Пеньге — денежная единица Венгрии до 1946 г. Война и оккупация вызвали сильное обесценение пеньге; в 1946 г. пеньге обменены на форинты.

...миллионы лей, сотни тысяч марок. — Лея — денежная единица Румынии. Марка — денежная единица Германии, имевшая хождение на оккупированных немцами территориях.

Антонеску Ион (1882–1946) — военно — фашистский диктатор Румынии с 1940 по 1944 г. В 1946 г. казнен как военный преступник по приговору бухарестского трибунала.

С. 33. *Фюрнберг* (1902–1978) — секретарь Коммунистической партии Австрии, один из организаторов и руководителей борьбы против фашизма, за национальную независимость Австрии.

Румыния

С. 35....с *декабризмом навыворот...* — Автор имеет в виду, что влияние Европы на будущих декабристов подталкивало их к революции, советских солдат — к контрреволюции.

С. 36....*недичевских динаров...* — Динар — денежная единица Югославии. Недич Милан (1877–1946) — генерал; с 1941 г. возглавлял созданное немецкими оккупантами марионеточное правительство Сербии. Военные формирования Недича участвовали в борьбе против народно — освободительного антифашистского движения. В 1944 г. бежал из страны, позднее

был арестован; находясь под следствием, покончил жизнь самоубийством.

С. 37....*ее Пошехонье...* — Пошехонье — город, районный центр Ярославской обл., нарицательное название российского захолустья.

...*24-летний королек всей Румынии.* — Имеется в виду король Михай, находившийся на троне до 1947 г., когда (в декабре) была свергнута монархия и провозглашена Румынская Народная Республика.

Гогенцоллерны — Зигмарингены — швабская линия Гогенцоллернов; занимали румынский престол с 1886 по 1947 г.

С. 38. *Гроза Петру* (1884–1958) — первый премьер — министр освобожденной Румынии.

Сусайков Иван Захарович (1903–1962) — генерал — полковник танковых войск, член Военного совета 2-го Украинского фронта; в 1944 г. возглавлял советскую военную администрацию в Румынии.

С. 41....*о перевороте 23 августа* [1944 года]. — В результате переворота была свергнута военно — фашистская диктатура и Румыния повернула оружие против своего бывшего союзника — фашистской Германии.

...*Придворные ассоциируют его с Петром Великим.* — Советский историк М. Н. Покровский в книге «Русская история в самом сжатом очерке» писал, что Петр I был болен сифилисом; по слухам, Михай заразился от матери венерической болезнью. На этом основании злые языки ассоциировали Михая с Петром. Другие качества этих монархов не выдерживают никакого сравнения.

КПР — Коммунистическая партия Румынии. Создана в 1921 г., с 1924 г. и до освобождения страны действовала в подполье.

...*избивался в сигуранце.* — Сигуранца — румынская тайная полиция, отличавшаяся особой жестокостью по отношению к противникам режима.

С. 42. *Михаил Антонеску* — брат диктатора Антонеску.

...*в отличие от своего савойского коллеги...* — Итальянский король Умберто II, представитель савойской династии, лично объявил Муссолини о его низложении в 1943 г. Король Михай избежал встречи с низложенным диктатором Антонеску.

Трансильвания — историческая область, бывшая многие века спорной территорией. После Первой мировой войны была передана Румынии. В 1940 г. Северная Трансильвания была отторгнута в пользу Венгрии, в 1947 г. возвращена Румынии.

С. 43....*раскормленные ППЖ...* — ППЖ — так на фронте

называли полевых жен, офицерских и генеральских любовниц.

Это прорывалась в Европу Дунька. — Измененная цитата из пьесы К. Тренева «Любовь Яровая» («Пустите, пустите Дуньку в Европу»), С. 46. *Добруджа* — область между нижним течением Дуная и Черным морем. Северная часть принадлежит Румынии, южная — Болгарии.

Болгария

С. 48. *Седьмому отделению было приказано...* — 7-е отделение политотдела армии — подразделение, занимавшееся разложением войск противника, изучением политической обстановки и связями с политическими партиями, общественными и религиозными организациями, подготовкой рекомендаций командованию.

С. 49. *...во времена походов Паскевича или Дибича...* — Паскевич Иван Федорович (1782–1856) — русский военный деятель, генерал-фельдмаршал, в 1853–1856 гг. — главнокомандующий русской армией на Дунае. Дибич — Забалканский Иван Иванович (1785–1831) — генерал — фельдмаршал, в русско — турецкой войне 1828–1829 гг. главнокомандующий русской армией.

...воспитанные на формулах Покровского... — Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) — историк, политический деятель, академик АН СССР (1929), автор официально принятого (до 1934 г.) учебника «Русская история с древнейших времен». Пытался осветить историю России с позиций вульгарного марксизма, оценивал русско — турецкую войну 1877 г. как империалистическую акцию, прикрываемую пропагандистской фразой об освобождении славянства.

...скобелевских времен... — Имеется в виду освобождение болгар от турок (1876–1878 гг.). Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) — русский военный деятель, генерал от инфантерии. Отличился в русско — турецкой войне, особенно в боях под Плевной и в сражении при Шипке. Успешные действия войск под командованием Скобелева принесли ему большую популярность в России и Болгарии.

...в верещагинских тонах... — Верещагин Василий Васильевич (1842–1904) — русский живописец. Особенных успехов достиг в батальной живописи. Говоря о «верещагинских тонах», автор имеет в виду известное полотно «Апофеоз войны» и картину «Шипка- Шейново».

...архитектор Займов. — Займов Стоян (1853–1932) —

болгарский патриот, архитектор военно — исторических памятников, создатель музеев в Плевне в память героев Освободительной войны 1877–1878 гг. («Иерусалимы болгарской признательности» России).

...генерал Займов... — Займов Владимир (1888–1942) — генерал, сын архитектора Стояна Заимова. После нападения Германии на СССР вел активную борьбу против монархии и фашизма в Болгарии. В 1942 г. был приговорен к смерти фашистским военным судом и расстрелян в Софии.

С. 50....8 сентября. — В этот день советские войска вступили на территорию Болгарии; 9 сентября был свергнут фашистский режим.

У болгарских коммунистов бш вождь... — Автор имеет в виду Георгия Димитрова (1882–1949), деятеля международного и болгарского рабочего движения. Димитров приобрел международную известность после того, как в 1933 г. был арестован по провокационному обвинению в поджоге германского рейхстага и на Лейпцигском процессе разоблачил гитлеровскую провокацию. В 1945 г. возвратился в Болгарию и до конца жизни находился на постах Генерального секретаря компартии и Председателя Совета министров Болгарии.

Ракоши Матьяш (1892–1971) — деятель международного и венгерского рабочего движения. В бытность Ракоши Первым секретарем компартии в Венгрии были проведены массовые репрессии, послужившие одной из причин восстания 1956 г. в Будапеште.

Тито — Броз Тито Носил (1892–1980) — с 1940 г. Генеральный секретарь ЦК Компартии Югославии, маршал Югославии, в 1941–1945 гг. Верховный главнокомандующий Народно — освободительной армией Югославии.

Катаяма Сэн (1859–1933) — деятель международного и японского рабочего движения.

Как он ответил Герингу, когда тот на суде обозвал его темным болгаринном. — Речь идет об ответе Димитрова на оскорбление, брошенное Герингом на Лейпцигском процессе: «Задолго до того времени, когда германский император Карл V говорил, что по — немецки он беседует только со своими лошадьми, а германские дворяне и образованные люди писали только по — латыни и стеснялись немецкой речи, в «варварской» Болгарии Кирилл и Мефодий создали и распространяли древнеболгарскую письменность». Геринг Герман (1893–1946) — рейхсмаршал, министр авиации в фашистской Германии, один из главных военных преступников. На Нюрнбергском процессе приговорен к смертной казни, в тюрьме покончил жизнь

самоубийством.

Разград — город на одном из притоков Дуная северо — восточнее Русе.

С. 51.... *«бранники»* суть сопливые гимназисты... — Бранники — молодежная профашистская организация Болгарии.

...в *«державной сигурности»*... — Речь идет о болгарской тайной политической полиции.

С. 52....*когда ждановские танки... подходили к Софии.* — Автор имеет в виду танки 4-го гвардейского механизированного корпуса, которым командовал генерал В. И. Жданов (1902–1964), Герой Советского Союза, Народный герой Югославии.

С. 53. *Омладненцы* — молодежная организация Болгарии коммунистической ориентации.

...*комбат* — *сволочь* — *звенарь.* — Звенари — члены политической группировки «Звено», возникшей в 1928 г. и объединившей оппозиционно настроенных к царской династии офицеров и буржуазных интеллигентов. В 1936 г. пришли к власти в результате военного переворота и установили военно — фашистскую диктатуру. Летом 1942 г. достигли согласия с Болгарской рабочей партией и Болгарским земледельческим народным союзом (БЗНС). 9 сентября 1944 г. приняли участие в свержении монархии.

С. 54....*четырехпартийную армию.* — Автор имеет в виду четыре партии болгарского Отечественного фронта, оформившегося в 1942 г., — Болгарскую рабочую партию (коммунистов), Социал-демократическую партию, БЗНС и Народный союз «Звено».

Дамаскинос Димитриос Папандреу (1891–1949) — греческий епископ, с 1944 г. епископ Афин. Участвовал в греческом сопротивлении.

Царенок. — Речь идет о малолетнем последнем царе Болгарии Симеоне II. Находился на троне с 1943 по 1946 г., когда в результате референдума Болгария была объявлена Народной Республикой.

...*казни дяди...* — Имеется в виду казнь младшего брата царя Бориса, великого князя Кирилла Преславского (1895–1945), входившего с 9 августа 1943-го по 9 сентября 1944 г. в состав регентского совета. После восстания 9 сентября 1944 г. был арестован и впоследствии расстрелян.

К царю приставили соответствующих опекунов: Павлова... Бобошевского и Ганева... — Павлов Тодор Димитров (псевд. П. Досев; 1890–1977) — академик, общественный деятель, известный философ — марксист. В 1941–1944 гг. был приговорен фашистским правительством Болгарии к тюремному заключению.

Бобошевский Цвятко Петров (1884–1952) — юрист, политический и общественный деятель. Некоторое время был министром в довоенных правительствах Болгарии. Ганев Ванелин Иорданов (1880—?) — профессор Софийского университета в области торгового права и философии права.

С. 55....у него отобрали... много левов. — Лев — болгарская денежная единица.

С. 56. *«Шуми Марица»* — болгарский гимн.

С. 57....здравичу водачу советских артиллеристов... — Водач (болг.) — вождь, руководитель, предводитель.

...мудрое устранение Бетлена... — Бетлен Иштван (1874–1946) — трансильванский помещик, член Венгерской Академии наук, один из руководителей венгерского антибольшевистского комитета. Премьер — министр Венгрии (1921–1931). Играл большую роль в укреплении фашистского режима в Венгрии. Во время Второй мировой войны добивался сепаратного мира с Англией и США и пересмотра Трианонских соглашений, по которым Трансильвания отошла к Румынии. С освобождением Венгрии Бетлен был без большой огласки изолирован и не допущен к власти в новой Венгрии. В 1945 г. был депортирован в СССР, о чем автору не было известно. Умер Бетлен в октябре 1946 г. в Бутырской тюрьме.

...провал «армии Вереша»... — См. примеч. к с. 84.

Маниу Юлиу (1873–1955) — румынский политик. Премьер — министр в 1928–1930 гг. и 1932–1933 гг. Во время Второй мировой войны один из руководителей оппозиции режиму Антонеску. В 1947 г. был осужден за измену родине к пожизненному заключению. Националист Маниу добивался присоединения Трансильвании к Румынии. Слуцкий, сравнивая Маниу с венгерским националистом Бетленом, тем самым подчеркивает, что для него, интернационалиста, одинаковы что венгерский националист Бетлен, что румынский Маниу.

Боротьбисты — украинская партия эсеров, вошедшая в 1920 г. в состав Компартии Украины. В начале 1930–х годов в ходе борьбы с украинскими националистами (с т.н. украинизацией) большинство боротьбистов было репрессировано.

С. 59....местных широковцев... — Широковцы — так называли членов Болгарской социал — демократической партии («партии широких социалистов»).

Цанков Александр (1879–1959) — лидер болгарских фашистов. В сентябре 1944 г. бежал в США, а затем в Аргентину. С 1948 г. возглавлял болгарскую фашистскую эмиграцию.

...этот хинтерланд в Болгарии... — Хинтерланд (нем.) — окраина, глубокий тыл (воен.).

Блюм Леон (1872–1950) — французский политический деятель, лидер социалистов. В 1943–1945 гг. находился в немецком концлагере. Выступал против союза с коммунистами.

Югославия

С. 61....*стойкости популярной национальной церкви...* — Автор имеет в виду сербскую православную автокефальную церковь.

С. 62. *Митрович Митра* (р. 1912) — член компартии Югославии с 1934 г. Министр просвещения Югославии в 1944–1945 гг.

ОЗНА (армейская контрразведка) — отделение защиты народа. Создано в Народно — освободительной армии Югославии в мае 1944 г.

Четники — организация фашистского типа, боровшаяся в годы Второй мировой войны против Народно — освободительной армии Югославии.

С. 63....*лесной столицы Дражи*. — Дража (Драга) Михайлович (1893–1946) — сербский генерал, возглавивший формирования четников в 1941–1945 гг. С 1944 г. скрывался, был схвачен и казнен по приговору суда ФНРЮ как военный преступник.

...*семнадцать лет юноши Петра...* — Петр II (Карагеоргиевич) — король Югославии с 1934 г. В апреле 1941 г., после оккупации Югославии немцами, бежал за границу; в оккупации поддерживал четников Д. Михайловича. В ноябре 1942 г. Вече запретило Петру II возвращение в страну. В ноябре 1945 г. монархия была упразднена.

С. 65. *Лучший из полководцев, Коча Попович...* — В 1941 г. Верховный штаб партизанских отрядов Югославии учел негативные уроки 9- 1579 борьбы с оккупантами (главным образом, местничество) и приступил к созданию регулярных воинских частей. Первой бригаде, сформированной из шахтеров и металлургов, присвоили наименование Пролетарской. Ее первым и бессменным командиром стал Коча Попович.

С. 66....*казачий полковник Махин, порвавший с Дутовым...* — Махин Ф. Е. (1882–1945), окончил Николаевскую академию Генерального штаба, по списку Генерального штаба Русской армии (1916 г.) — подполковник, офицер штаба 8-й армии, действовавшей в период Первой мировой войны на Юго — Западном фронте (в Галиции). Дутов Александр Ильич (1879–1921) — атаман Оренбургского казачьего войска, один из руководителей казачьей контрреволюции; командовал казачьей армией у Колчака.

...у Тито было двадцать шесть Ковпаков... — Ковпак Сидор Артемьевич (1887–1967), генерал — майор, один из организаторов партизанской борьбы на Украине в годы Великой Отечественной войны. Командир партизанского отряда, а затем партизанского соединения. Дважды Герой Советского Союза. Возглавил пять крупных и успешных рейдов по фашистским тылам. Автор имеет в виду, что у Тито было 26 (по числу командиров партизанских соединений) таких же геройских и умелых командиров, как Ковпак.

Петефи Шандор (1823–1849) — венгерский поэт, деятель революции 1848–1849 гг. в Венгрии. Во время восстания возглавлял рабочих и учащихся Пешта. Пал смертью героя в битве под Шегешваром. Творчество Петефи сыграло огромную роль в развитии венгерской литературы и занимает видное место в мировой культуре.

Русины — украинцы западноукраинских земель — Галиции, Буковины, Закарпатской Украины.

Бачка — до Первой мировой войны венгерский комитат (графство), местность, лежащая между Дунаем и Тиссой. С ноября 1918 г. передана в состав Сербии и стала называться Воеводина.

...был избран в одбор... — Одбор (серб.) — комитет.

С. 67. *Малиновский* Родион Яковлевич (1898–1967) — Маршал Советского Союза. В 1943–1945 гг. командовал 2-м и 3-м Украинскими фронтами. В 1957–1967 гг. министр обороны СССР.

С особой гордостью он рассказывает о своем знакомстве с Симоновым... — Осенью 1944 г. Константин Симонов находился в Югославии в качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда».

С. 68....*преторианский запах*. — Преторианцы в Древнем Риме — солдаты личной охраны полководцев, затем солдаты императорской гвардии. С конца II в. начали играть большую роль в политической жизни Рима, участвуя в дворцовых переворотах. В переносном смысле, который имеет в виду автор, — войска, служащие опорой власти, основанной на грубой силе.

С. 69. *Гаген* Николай Александрович (1895–1969), — генерал-лейтенант, командующий 57-й армией, соединения которой освободили Белград. Б. Слуцкий был офицером политотдела 57-й армии.

С. 70. *Антонов* Александр Иннокентьевич (1896–1962) — генерал армии, в годы войны — первый зам. начальника Генерального штаба СССР.

Толбухин Федор Иванович (1894–1949) — Маршал Советского Союза, командующий Южным, 3-м и 4-м Украинскими

фронтами.

Баранья — исторически сложившаяся область между Дунаем и Нижней Дравой; часть Бараньи входит в состав Сербии, большая часть — в состав Венгрии.

С. 71....*партизанский дитер*... — Дитер (*сербскохорв.*) — командир.

С. 72....*усташского подполковника*. — Усташи — регулярная армия хорватских националистов, создавших под эгидой германских и итальянских оккупантов марионеточное, так называемое «Независимое хорватское государство». В союзе с немцами воевали против четников и коммунистических партизан.

...*гвардии Павелича*. — Павелич Анте (1889–1959) — руководитель националистического движения усташей. В 1941–1945 гг. возглавлял «Независимое хорватское государство». Заочно был приговорен Народным судом Югославии к смертной казни. С 1945 г. скрывался в Австрии, Италии, Аргентине, Испании.

С. 73....*миссии Корнеева*. — Имеется в виду советская военная миссия при штабе Броз Тито.

С. 74. *Черчилль послал в Югославию сына — полковника*. — Полковник Рандольф Черчилль возглавлял британскую миссию при штабе Тито. Автор многостраничной (1400 страниц) биографии отца.

«Британский союзник» — иллюстрированный журнал на русском языке, издававшийся в Москве посольством Великобритании в годы войны.

«Интеллидженс сервис» — главная и строго засекреченная разведывательная служба Великобритании. Основана в конце XV в. как служба зарубежной политической разведки.

Триест и Корушка... — Речь идет о спорных территориях, на которые претендовала Югославия. Триест — город и крупный порт в Северной Италии на Адриатическом море, долгое время был объектом дипломатической борьбы Югославии и Италии. В 1954 г. благодаря позиции, занятой Англией, окончательно перешел к Италии. Корушка — славянское название Каринтии, австрийской земли, граничащей со Словенией.

С. 75. *Аношин, Галиев* — политработники, руководители политорганов 3-го Украинского фронта и 57-й армии.

Печ — венгерский город, расположенный в сорока километрах от границы с Югославией.

Радкерсбург — австрийский город, расположенный на стыке границ Австрии, Венгрии и Югославии.

С. 76. *Фюрстенфельд* — город в Южной Германии.

...*тренировали дивизию в духе легенд о «самсоновских*

зверствах» в Восточной Пруссии. — Речь идет о якобы имевших место зверствах русских войск по отношению к немцам, жителям Восточной Пруссии, в начале Первой мировой войны. Слухи об этом распространяла немецкая пропаганда с целью дискредитации русских войск. Войсками действовавшей в Восточной Пруссии 2-й армии командовал генерал от кавалерии В. А. Самсонов (1859–1914). Погиб при невыясненных обстоятельствах.

С. 77....*ростопчинских афишек*... — Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826) — генерал от инфантерии, военный губернатор Москвы в 1812 г., выпускавший антифранцузские листовки (афишки), написанные в псевдонародном стиле. Вряд ли главной причиной пожара Москвы могли быть «афишки».

С. 78. *За сто пятьдесят лет не более двух царей умерло в своей постели*. — История сербских королевских домов полна и кровавых страниц. Основатель династии Карагеоргиевичей — Георгий Петрович, прозванный Черным (Кара) за убийство отца, сам был обезглавлен в 1813 г. Из династии Обреновичей, пришедшей на смену Карагеоргиевичам и правившей с перерывами весь XIX век, были убиты Михаил II и Александр I. Но в целом суждение «республиканца», будто «не более двух царей умерло в своей постели», отражает народное представление, а не исторический факт.

...*в выстреле Принципа*... — Принцип Гаврило (1894–1918) — сербский студент, убивший в июне 1914 г. в Сараево австро — венгерского наследника эрцгерцога Фердинанда. Покушение явилось поводом для начала Первой мировой войны.

«Не — о-чем — кра — ля. О — чем — Ти — та!..» — «Не хотим короля, хотим Тито!»

Недаром так популярен до сих пор Петр /... — Петр I Карагеоргиевич (1844–1921) — король Сербии с 1903 г. и Королевства сербов, хорватов и словенцев с 1918 г.

«Живе ли героиску комендант првой четы Иован Иованович и негова другарица Катька»... — «Жив ли героический командир первой роты (отряда) Иван Иванович и его подруга Катька» (серб.)

Венгрия

С. 79. *Франчишка*. — Франческа Гааль (1904–1956) — знаменитая венгерская киноактриса. В России она была широко известна по фильмам «Петер» и «Маленькая мама». Умерла в США.

С. 80....*римским именем — Софиане*. — Имя, оставшееся от

римской колонии; София — мудрость.

С. 81....*родственники Хорти*. — Хорти Миклош (1868–1957) — адмирал (был главнокомандующим австро — венгерским флотом в 1918 г.), фашистский диктатор Венгрии в 1920–1944 гг. В 1919 г. организовал выступление против Венгерской Советской Республики. В 1941 г. сверг страну в войну против СССР на стороне гитлеровской Германии. С октября 1944 г. в эмиграции — в Португалии.

С. 82. *ВОКС* — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей.

«Рама» — немецкий двухфюзеляжный самолет «Фокке — Вульф», использовался, главным образом, как самолет — разведчик.

...*вражеская МГУ*. — Громкоговорящая агитационная установка.

С. 84. *Заградотряды* — располагались в ближнем тылу своих войск, пресекали несанкционированное отступление и отлавливали дезертиров, мародеров и т. п. Формировались из войск НКВД и пограничных войск.

Версальский мир мудро отбирал у побежденных не только оружие, но и право вооружаться. — Версальский мирный договор 1919 г., завершивший Первую мировую войну. «Мудрость» договора, о которой говорит автор, была относительной. Версальский мир скорее способствовал перевооружению Германии и возрождению вермахта.

...«*Черным рейхсвером*». — Кроме разрешенной Версальским договором ограниченной численности войск («Рейхсвер»), в Германии содержались, в нарушение договора, воинские формирования «Черного рейхсвера».

...*мюнхенской капитуляцией*. — Имеется в виду договор между Англией и Францией, с одной стороны, и Гитлером — с другой, факти

чески открывший путь гитлеровской агрессии. Иносказательно: капитуляция цивилизованных стран перед вооруженным варварством.

В октябре он по радио призывал к сопротивлению немцам... — В марте 1944 г. немцы, опасаясь освобождения Венгрии советскими войсками, оккупировали страну. Хорти призывал венгров оказать сопротивление. В Венгрии установился террористический режим гитлеровского агента Салаши. Хорти пришлось бежать из страны.

Одной из ошибок нашей пропаганды была «армия Вереша». — В конце 1944 г. генерал Вереш (1891–1968) предпринял попытку (с согласия командования Красной Армии) создать армию для

противодействия немцам, чтобы продемонстрировать лояльность Венгрии к антигитлеровской коалиции. Попытка не удалась; дело ограничилось созданием небольших формирований, не оказавших никакого влияния на ход борьбы с немцами в Венгрии. Говоря об ошибках нашей пропаганды, автор имеет в виду не оправдавшиеся надежды на успехи «армии Вереша».

С. 85. *Аттила* (ум. в 453 г.) — предводитель гуннов, столица которых во времена Аттилы находилась на территории Венгрии. Венгры считают себя потомками гуннов.

С. 86....*массовость фольксбунда*... — Фольксбунд (нем.) — народный союз.

Гауляйтер — руководитель фашистской организации области и самой области.

С. 89....*портрет Тельмана, «забытый»*... во времена пакта. — Тельман Эрнст (1886–1944) — вождь немецких коммунистов. Пакт — советско — германский договор о ненападении 1939 г., именуемый в последнее время «Пакт Молотова — Риббентропа». Во время действия пакта антифашистская пропаганда свертывалась, и «забытый» портрет вождя немецких коммунистов выглядел как опасный анахронизм.

...*чугунная фигура графа Тисы*... — Тиса Иштван (1861–1918), граф — венгерский политический деятель. В 1913–1917 гг. глава венгерского правительства. Убит восставшим народом как один из главных виновников Первой мировой войны.

...*мраморный памятник жертвам красного террора*. — Красный террор — репрессии во времена Венгерской Советской Республики. Памятник взорван при Ракоши.

«Салон» — периодические выставки современного изобразительного искусства; в «Салоне» преобладало академическое искусство; термин «салонное искусство» стал синонимом внешней красоты.

Ван Дейк Антонис (1599–1641) — выдающийся фламандский живописец.

«Ню» — обнаженная натура.

С. 90....*мертвецы пьяны* — сложным четырехчленным *ершом*. — Имеется в виду смешение пива, водки и вина двух марок.

Ужгород, Мукачево — закарпатские города с преимущественно украинским населением; отошли к СССР после Второй мировой войны.

...с *двойным перегибом рюмки*... — *Перехил* (укр.) — перелив.

С. 91....*угощал*... на манер *Петра Великого*. — Автор имеет в виду рассказ о том, как Петр I угощал пленных шведов.

С. 92. «*Приписник*» — военнообязанный запаса, призванный в

Вооруженные Силы; военнообязанные, приписанные к воинским частям и направляемые на их укомплектование при мобилизации.

С. 93. *Атаман Григорьев* — буржуазный националист, служивший в отрядах украинских националистов до февраля 1919 г. Затем командовал 6-й дивизией Красной Армии. В мае 1919 г., отказавшись выполнить приказ советского командования, поднял вооруженный мятеж на юге Украины. После разгрома его отряда атаман бежал к махновцам. В июле 1919 г. Григорьев был убит Махно, видевшим в нем соперника.

С. 94. *Бетлен* — см. примеч. к с. 58.

С. 96....с оглавлением «Готского альманаха». — Имеется в виду дипломатический и статистический ежегодник, издаваемый в Готе (Германия) с 1763 г. С 1832 г. включает генеалогическую часть (состав царствовавших домов, княжеских родов и т. п.).

С. 97....*модус вивенди*. — Образ жизни (лат.).

С. 98....*памятник Кошуту*... — Кошут Лайош (1802–1894) — венгерский политический деятель, организатор борьбы венгерского народа во время революции 1848–1849 гг. в Венгрии.

...*улицы Андраши*... — Андраши Дьюла Старший (1823–1890) — государственный деятель Австро — Венгрии. Участник венгерской революции 1848–1849 гг. Министр иностранных дел Австро — Венгрии в 1871–1879 гг.

Австрия

С. 99....*поташили в амбары первых фольксштурмистов*... — Фольксштурм (нем.) — народное ополчение. В конце войны, когда людские резервы гитлеровской Германии иссякли, в фольксштурм призывались юнцы и старики.

...*различать, где прусский говор, а где штирийский*. — Пруссия — оплот германского империализма, Штирия — мирная крестьянская Австрия.

С. 100....*более миллиона иных ауслендеров*. — Ауслендер (нем.) — иностранец.

С. 101. *Барбье* — см. с. 159–162 наст. изд.

С. 104....*из народной партии*. — Имеется в виду партия австрийских католиков, аналог христианско — демократических партий Европы.

С. 105. «*Зимняя помощь*» — имеется в виду кампания по сбору теплых вещей, организованная ведомством Геббельса в связи с неподготовленностью фашистской армии к ведению войны в условиях суровой русской зимы.

С. 106. *Этот малярный подмастерье, как и его герой*... —

Автор сопоставил девятнадцатилетнего австрийского подмастерья с Хорстом Весселем — немецким штурмовиком, убитым в стычке с коммунистами. Ему принадлежат слова гимна фашистской молодежной организации — «Хорст Вессель». О нем был снят фильм и поставлены спектакли на многих сценах фашистской Германии.

Евреи

С. 109....*из петлюровцев...* — Петлюровщина — буржуазно — националистическое движение на Украине в 1918–1919 гг., названное по имени его предводителя — С. В. Петлюры (1879–1926). Отличалось крайним антисемитизмом и жестокими еврейскими погромами.

С. 110....*назвал себя караимом...* — Караимы — немногочисленная этническая группа, живущая в Крыму и Литве; потомки древних тюркских племен. Имели письменность на древнееврейском алфавите и исповедовали иудаизм.

С. 111....*комитеты по розподилу жидивского майна.* — Комитеты по разделу (распределению) еврейского имущества (укр.).

С. 116....*власовские книжки...* — Литература на русском языке, распространяемая пропагандистским ведомством штаба генерала Власова.

...*считали сексотом.* — Сексот — секретный сотрудник, доноситель.

С. 117....*между жизнерадостными одесситами и рахитичными литваками...* — Автор имеет в виду бытовавшее в среде самих евреев разделение на южных и северных жителей черты оседлости.

С. 118....*у Суворова есть оборотная сторона... Костюшко.* — В 1774 г. Суворов принимал участие в войне против польских конфедератов, во главе которых стоял Т. Костюшко (1746–1817). Восстание было жестоко подавлено царскими войсками.

...*воспоминаниями о Донском и Мамае.* — Донской Дмитрий (1350–1389) — великий князь Московский и Владимирский, сын Ивана II. Руководил русскими полками в Куликовской битве 1380 г., завершившейся разгромом войск Золотой Орды, выступивших под водительством татарского военачальника Мамае.

С. 119. *Чингиз* (Чингисхан; Тэмуджин, Темучин; ок. 1155–1227) — основатель монгольской империи, организатор завоевательных походов в Азию и Восточную Европу. Его походы

сопровождались опустошением городов, гибелью целых народов и привели к установлению монголо — татарского ига в завоеванных странах.

Тимур (Тамерлан; 1336–1405) — среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир. Совершал грабительские походы, отличался необычайной жестокостью.

С. 121....о *желанной земле Ханаанской*... — Под этим названием во многих местах Библии обозначены земли по эту сторону Иордана — Финикия и др. В новейшее время к земле Ханаанской относят всю Палестину.

С. 123....*купянской грязи*... — Купянск — районный центр Харьковской области в ста километрах восточнее Харькова.

С. 124. *Тирасполь* — до войны столица советской Бессарабии.

С. 126. *Тодор Павлов* — см. примеч. к с. 54.

...*чуть было не обруженного танками Роммеля*. — Роммель Эрвин (1891–1944) — генерал — фельдмаршал немецко — фашистской армии, в 1941–1943 гг. командовал экспедиционным корпусом в Северной Африке. Был связан с антигитлеровским заговором 1944 г. Покончил жизнь самоубийством.

С. 127. *Сомбор* — город в Югославии в семидесяти пяти километрах северо — восточнее Белграда.

С. 128. *Бор* — город в Югославии в двухстах километрах восточнее Белграда.

Белогвардейцы

С. 130. *Струве Петр Бернгардович* (1870–1944) — русский политический деятель, экономист, философ, теоретик «легального марксизма», один из переводчиков «Коммунистического манифеста». Был противником революционного марксизма, в особенности учения о диктатуре пролетариата и социалистической революции.

С. 131. *Умер, завершив... римским концом*. — Автор имеет в виду непоколебимую веру Струве в победу России над фашизмом, веру, которая была сродни римскому патриотизму и уверенности римлян в их превосходстве над врагами Рима.

...*так называемые нансеновские паспорта*... — Так назывались паспорта, выдаваемые военнопленным и беженцам после Первой мировой войны; названы по имени известного норвежского исследователя Арктики Фритьофа Нансена (1861–1930), назначенного после войны верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных.

Такие же паспорта давали турецким армянам. — Речь идет об

армянах, бежавших из Турции в 1915 г., спасавшихся от резни, устроенной турками.

...сокольские клубы... — Они были созданы в Чехии в начале XX в. полувоенизированным гимнастическим обществом «Сокол».

Карагеоргиевци — в XX в. королевская династия в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, а с 1929 г. (фактически до 1941 г.) — в Югославии. Последний король — Петр II.

С. 132. *Пуанкаре* (1860–1934) — президент Французской республики, один из организаторов интервенции против Советской России.

Вильсон (Уилсон) Томас Вудро (1856–1924) — президент США (1913–1921). Один из вдохновителей и организаторов интервенции и блокады Советской России.

Франше д'Эспере (1856–1942) — маршал Франции, один из наиболее известных полководцев Первой мировой войны. В мае 1918 г. командовал союзными войсками в Македонии. Здесь им была одержана победа, вынудившая Болгарию выйти из войны и открывшая путь на Вену.

...генерал *Черняев*... — Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898) — генерал — лейтенант русской армии, сформировавший в 1876 г. отряд русских добровольцев и до официального объявления войны Турции поддерживавший сербских повстанцев.

...о *сменовеховцах*... — «Смена вех» — сборник, изданный в Праге в 1921 г. (в последующем издавался в Париже как журнал под тем же названием). Призывал белую эмиграцию к сотрудничеству с большевиками, учитывая Новую экономическую политику (нэп). Один из главных идеологов «сменовеховцев» Н. В. Устрялов призывал интеллигенцию к сотрудничеству с «новой буржуазией» и советской властью, надеясь на постепенную эволюцию последней в сторону буржуазной демократии. Устрялов, проживавший с 1920 г. в эмиграции, в 1935 г. возвратился в СССР, где вскоре был репрессирован и погиб в 1937 г.

Краснов Петр Николаевич (1869–1947) — генерал — лейтенант, один из руководителей контрреволюции в период Гражданской войны. В 1920 г. эмигрировал в Германию. Во время Второй мировой войны сотрудничал с немцами. Был схвачен советскими войсками и казнен по приговору суда.

С. 133. *Мятеж ССП* напоминая *внутрисловный бунт декабристов против Простаковых*. — Речь идет о дворянской просвещенной революционности, выступившей против мракобесия провинциальных помещиков; мятеж своих против своих.

...муравиевская Болгария... — Автор имеет в виду образованное 2 сентября 1944 г. правительство Болгарии во главе с К. Муравиевым, лидером правого крыла Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС). Образование этого правительства явилось компромиссом между БЗНС и неофашистской буржуазией с целью изоляции коммунистов в Отечественном фронте. Политика Муравиева отличалась крайней нерешительностью в разрыве отношений с Германией и дальше объявления нейтралитета не пошла.

С. 134. *Махин* — см. примеч. к с. 66.

...знаменитый Саблин... — Саблин Юрий Владимирович (1897–1937), член коммунистической партии с 1919 г. До вступления в РКП(б) активный член партии эсеров; с 1917 г. — левый эсер, участвовал в лево — эсеровском мятеже в Москве летом 1918 г., амнистирован. Участник Гражданской войны и подавления Кронштадтского восстания. Репрессирован и расстрелян в 1937 г. Указание на то, что «знаменитый Саблин» был начальником военных сообщений у Тито, — легенда или речь идет о другом Саблине — однофамильце.

...профессор Алексеев Н. Н.... — Алексеев Николай Николаевич (1879–1964) — правовед. Эмигрант. В 1940–1948 гг. преподавал в Белградском университете.

...племянник фельдмаршала граф Илья Николаевич Кутузов. — Голенищев — Кутузов Илья Николаевич (1904–1969), правнучатый племянник М. И. Кутузова, с семьей эмигрировал в Сербию; крупный специалист по итальянскому Возрождению и сербской литературе. В 1941 г. находился в немецком концлагере как заложник, после освобождения активно участвовал в движении югославского Сопротивления. В 1944–1945 гг. был офицером Югославской народной армии. В 1947 г. принял советское подданство. В 1949 г. был арестован и приговорен к четырем годам тюрьмы. После освобождения два года жил и преподавал в Будапеште. С 1955 г. жил в Москве, работал в Институте мировой литературы и преподавал в Московском государственном университете. Ему принадлежит ряд книг о Данте. Редактировал книги «Поэты Югославии» и «Эпос сербского народа». В переводах стихов для этих книг участвовал Б. Слуцкий.

Ладинский Антонин Петрович (1896–1961) — русский писатель. С 1921 г. жил в эмиграции в Париже. В 1946 г. принял советское гражданство, в 1955 г. возвратился в СССР.

Довид Кнут (наст. имя и фам. — Давид Миронович Фиксман; 1900–1955) — русский поэт. Жил в эмиграции в Париже. Активный участник Французского сопротивления. Его жена, Ариадна Скрябина (дочь композитора), погибла в перестрелке с

гестаповцами. В конце 1940-х годов Д. Кнут уехал на постоянное место жительства в Израиль.

С. 135. *Кульчицкий* Михаил Валентинович (1919–1943) — поэт, один из участников московской группы поэтов, к которой принадлежали Борис Слуцкий, а также Павел Коган, Давид Самойлов, Сергей Наровчатов, Михаил Львовский и др. Кульчицкий — близкий друг Слуцкого еще по Харькову. Участник Великой Отечественной войны, М. Кульчицкий погиб под Сталинградом в январе 1943 г. Б. Слуцкий тяжело переживал гибель друга и считал ее одной из самых больших потерь русской поэзии на войне. Слуцкий посвятил своему другу несколько стихотворений, в том числе знаменитое стихотворение «Давайте после драки...» («Голос друга»), о котором Слуцкий писал впоследствии: «Прыгнуть выше самого удастся редко. В этом случае я, наверное, прыгнул» («К истории моих стихотворений»).

Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899–1968) — известный русский советский поэт. Участник Великой Отечественной войны. В литературном семинаре, руководимом Сельвинским, до войны учились Б. Слуцкий и М. Кульчицкий.

Коста Надь (р. 1911) — генерал — полковник, член КПЮ с 1937 г. Участник гражданской войны в Испании (командир Балканского батальона). В 1941–1945 гг. руководил партизанским движением в Воеводине, был членом Главного штаба Народно — освободительной армии Югославии.

Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) — русский генерал от инфантерии. Участник войны 1812 г. С 1816 г. главнокомандующий в Грузии. За покровительство декабристам был уволен в отставку в 1827 г.

...напоминавшие 1937год. — Имеется в виду снятие портретов репрессированных партийных и военных деятелей. Впервые такое «вычеркивание» из истории было при Николае I, когда удалялись портреты декабристов из Военной галереи Зимнего дворца, входящей в настоящее время в экспозицию Государственного Эрмитажа.

С. 136....*Маша Дуракова, вдова врангелевского офицера, поэта, партизана — пулеметчика...* — Дураков Алексей Петрович (1898–1944) — поэт, переводчик, участник Гражданской войны на стороне белых. В 1920 г. эмигрировал из Владивостока в Югославию. В 1941 г. несколько раз был арестован, в 1943 г. вывезен немцами на работы в Германию. В 1944 г. возвратился в Югославию и примкнул к партизанам. Погиб в бою под Белградом.

С. 140. *Кубинка* — подмосковный поселок; в 1941 г. в Кубинке располагалось одно из управлений штаба Московской зоны обороны.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) — русская писательница, характерная представительница символизма в русской литературе начала XX в. В эмиграции (с 1920 г.) выступала в стихах и статьях с резкими нападками на советский строй. Вместе со своим мужем, известным русским писателем Д. С. Мережковским (1865–1941), сотрудничала с немцами.

...пропагандной значимости перевода всех советских железнодорожных путей на европейскую колею. — Скорее всего, в этом не было никакого пропагандистского расчета: когда немцы восстанавливали взорванные нами пути, естественно, их подгоняли под европейский стандарт, чтобы мог быть использован немецкий подвижной состав.

Капошвар — город в Румынии в ста пятидесяти километрах юго- западнее Бухареста.

С. 143....*прием, изобретенный еще римскими матронами во времена Алариха и вандалов.* — Аларих (ок. 370–410) — король германских вестготов. Опустошил Грецию, в 410 г. захватил Рим и подверг его разграблению и насилию.

Русский язык

С. 144. *Митра Митрович* — см. примеч. с. 62.

Горбатов Борис Леонтьевич (1908–1954) — русский советский писатель, автор ряда повестей и рассказов. Его повесть *«Непокоренные»* (1943) — о жизни и борьбе советских людей в условиях фашистской оккупации Донбасса

.В подполье изучали более «Антидюринг» в подлиннике. — Коммунистическое подполье было интернациональным; немецкий язык был официальным языком Коминтерна.

С. 145....*из придунайских некрасовцев...* — Имеются в виду казаки- старообрядцы, бежавшие в Турцию от петровских реформ.

...из военнопленных, не возвратившихся в Россию. — Здесь речь идет о военнопленных Первой мировой войны.

С. 146....*группа «Звено»...* — См. примеч. к с. 53.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — генерал — фельдмаршал, военный министр России в 1861–1881 гг. С деятельностью Милютина связано осуществление глубокой военной реформы в России (введение всеобщей воинской повинности, сокращение срока службы солдат и др.). По своим взглядам Милютин был последователем Суворова и Кутузова.

Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) — генерал от инфантерии, русский военный теоретик и педагог. В области тактики и военной педагогики придерживался взглядов Суворова и Кутузова.

С. 147....*папский нунций*... — Постоянный дипломатический представитель Папы римского в государствах, с которыми Ватикан поддерживал дипломатические отношения.

С. 148. «*Краткий курс*» — официально принятая в СССР история компартии. Книга была написана по указанию Сталина и подчеркивала роль Сталина вопреки историческим фактам. Издана в 1936 г.

Клычков (наст. фам. Лешенков) Сергей Антонович (1889–1937) — поэт, прозаик. Принадлежал к «новокрестьянской» школе (Клюев, Есенин). В 1930–х годах был заклеен как «идеолог кулачества». В 1937 г. был репрессирован и расстрелян.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) — поэт. Его перу принадлежит острое антисталинское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...». В 1930–е годы был репрессирован и погиб в 1938 г. в лагере под Владивостоком.

Пильняк (наст. фам. Вогау) Борис Андреевич (1894–1938) — писатель, очень популярный в 1920–1930–е годы. Б. Пильняка официально причисляли к «попутчикам», «внутренним эмигрантам», а затем и к «врагам» советской власти. В октябре 1937 г. Б. Пильняк был арестован, 21 апреля 1938 г. приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян.

Попы

С. 150. *По мудрому приказанию Вселукавейшего римского престола...* — Автор пародирует название Святейшего римского престола.

Викарий — в католической церкви — помощник епископа по управлению епархией.

С. 151....*во Францисканском монастыре*. — Францисканцы — члены монашеского «нищенствующего» ордена, названного по имени основателя первой общины — итальянского религиозного деятеля Франциска Ассизского (1182–1226). В отличие от других орденов францисканцы не уединялись в монастырях, а обосновывались в городах; проникая в гущу беднейшего населения, они стали одной из важных опор папства.

С. 154. *Рамазан* (рамадан) — девятый (священный) месяц мусульманского лунного календаря, один из главных религиозных праздников у мусульман, в течение которого

мусульманам не полагается принимать пищу и пить воду с восхода до захода солнца.

Разложение войск противника

С. 155. *Денниц* — Дёниц Карл (1891–1980) — один из главных военных преступников, немецко — фашистский гросс — адмирал. В 1943–1945 гг. командовал Военно — морским флотом Германии. В начале 1945 г. рейхс — канцлер и главнокомандующий Вооруженными силами Германии. Нюрнбергским трибуналом приговорен к десяти годам тюремного заключения.

Радкербург — см. примеч. к с. 75.

С. 156. *НП* — наблюдательный пункт.

С. 159....*афоризмы морали господ...* — Определения «мораль господ», «мораль рабов» введены в литературный оборот Фр. Ницше. К «морали рабов» Ницше относил христианскую мораль всепрощения и смирения.

...*происходил из Баната...* — Банат — историческая область в Юго — Восточной Европе. С XII в. принадлежала Венгрии, в XVI–XVIII вв. — в составе Османской империи, с 1718 г. перешла к Австрии, а с 1920 г. разделена между Румынией и Югославией.

Клопшток Фридрих Готлиб (1724–1803) — немецкий поэт.

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) — немецкий писатель, философ, просветитель.

С. 160....*желание бодливости, которое вытолкнуло рога из черепов робких оленей...* — Имеется в виду насмешливая отсылка к натурфилософии Ламарка.

С. 161. *Флавий Иосиф* (37 — после 100) — древнееврейский историк и писатель; иудей, перешедший на сторону римлян.

Подобно гаммельнским крысам... — Автор имеет в виду легенду о гаммельнском крысолове, сманившем в реку игрой на флейте крыс, наводнивших город Гаммельн. В отместку за неблагодарность горожан крысолов сманил и потопил детей города.

ОП — огневые позиции.

О ДРУГИХ И О СЕБЕ

Знакомство с Осипом Максимовичем Бриком

С. 165. *Брик Осип Максимович* (1888–1945) — писатель, драматург, киносценарист. Один из организаторов ОПОЯЗа.

Лефовец. Его жена Лиля Юрьевна Брик (1891–1978) — хозяйка модного в 1920–1940–х годах литературно — художественного салона; многолетняя привязанность Вл. Маяковского, героиня многих его стихов и поэм. Принимала у себя многих молодых поэтов — М. Кульчицкого, Б. Слуцкого, Н. Глазкова и др. — и покровительствовала им.

Кульчицкий — см. примеч. к «Запискам о войне» (с. 135) и к очерку «Мой друг Миша Кульчицкий».

...его остроты — по Кассилю... — Имеется в виду книга воспоминаний Л. Кассиля «Маяковский — сам» (1940).

...рассказы о нем — по Катаняну... — Имеется в виду Василий Абгарович Катанян (1902–1980), литературовед, муж Л. Ю. Брик с 1938 г. Автор книги «Маяковский. Хроника жизни и деятельности» (5-е доп. изд. 1985). После его смерти были опубликованы также его мемуары «Не только воспоминания. Рассказ очевидца» (Катанян Василий А. Распечатанная бутылка. Н. Новгород, 1999).

...мемуарные книги Шкловского... — Речь о следующих книгах

В. Шкловского: «Сентиментальное путешествие» (1923), «Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза» (1923), «Третья фабрика» (1926), «О Маяковском» (1940).

Петровский Дмитрий Васильевич (1892–1955) — поэт.

Сосюра Владимир Николаевич (1898–1965) — советский украинский поэт.

С. 166. *Важно было жить в Москве, не слишком далеко от этой самой Н.* — Имеется в виду Надя Мирза, школьная соученица Бориса Слуцкого, в которую он был тайно влюблен. Известна фронтовая переписка между ними. Отношения с Надей продолжения не имели. «Н. разонравилась, как только я присмотрелся к московским девушкам» (с. 169).

Московский юридический институт только что потерял имя СтуНки... — Петр Иванович (наст. имя Петерис Янович) Стучка (1865–1932) — юрист, один из руководителей революционно — демократического движения латышской интеллигенции. Член РСДРП с 1895 г. С 1918 г. — нарком юстиции, а с 1923 г. — председатель Верховного суда РСФСР. Главный редактор первой советской Энциклопедии государства и права (1925–1927). Его именем был назван Московский юридический институт, в котором учился Слуцкий.

Исчезли и целые науки... например хозяйственное право, разработанное... Пашуканисом. — Евгений Брониславович Пашуканис (1891–1937) — юрист. С 1936 г. — зам. наркома юстиции СССР. Автор трудов по общей теории права, государственному и международному праву. Был необоснованно

репрессирован. Реабилитирован посмертно.

...имени Вышинского... — Андрей Януарьевич Вышинский (1883–1954) в 1933–1939 гг. был зам. прокурора и прокурор СССР.

...мы исключали детей врагов народа — сына Эйсмонта, племянницу Карахана, племянника Мартова. — Эйсмонт Николай Борисович (1891–1935) — советский государственный деятель. В 1925–1932 гг. — нарком торговли СССР, зам. наркома внутренней и внешней торговли СССР, нарком снабжения. В ноябре 1932 г. арестован, в январе 1933 г. исключен из партии. Погиб в Ново — Тамбовском лагере НКВД, уже отбыв срок заключения. Карахан (наст. фам. Караханян) Лев Михайлович (1889–1937) — советский государственный деятель. В 1927–1934 гг. — зам. наркома иностранных дел. С 1934 г. — полномочный представитель в Турции. Необоснованно репрессирован. Реабилитирован посмертно. Мартов (наст. имя и фам. Юлий Осипович Цедербаум; 1873–1923) — с 1903 г. один из лидеров меньшевизма, с 1917 г. — руководитель его «Левого крыла». С 1920 г. в эмиграции.

С. 167. *Дудинцев* Владимир Дмитриевич (1918–1998) — прозаик. Автор романа «Не хлебом единым» (1956), который был воспринят читателями как беспрецедентная критика сталинизма и его пережитков. Литературным событием стал и выход в свет его романа «Белые одежды» (1987) — о самоотверженной борьбе ученых за спасение генетики в конце 1940–х годов. Учился в МЮИ в одно время со Слуцким.

Симес Константин Михайлович (р. 1919) — сокурсник Слуцкого по МЮИ. Правозащитник 1960–1970–х годов. Живет в США.

С. 170. *Алтаузен* Джек Моисеевич (1906–1942) — поэт, чье творчество связано с комсомолом 1920–х годов. Участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою под Харьковом.

С. 172....*Балтрушайтис* выслан из Москвы... — Поэт, критик, переводчик, театральный деятель Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873–1944) в 1921–1939 гг. являлся полномочным представителем Литвы в СССР. С 1939 г. жил в Париже.

Как я описывал имущество у Бабеля

С. 173. *Бабель* Исаак Эммануилович (1894–1941) — известный советский писатель («Конармия», «Одесские рассказы», «Закат» и др.) — погиб в застенках НКВД, ложно обвиненный в измене родине. Посмертно реабилитирован.

С. 177. *Дезик* — Давид Самойлов.

С. 178. *Разрыв с Тито*. — В 1949 г. советское руководство разорвало Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с ФНРЮ, выдвинув против руководства КПЮ необоснованные обвинения. См. также примеч. к с. 50.

С. 179....*книгу Надежды Яковлевны*... — Имеется в виду книга Н. Я. Мандельштам «Воспоминания».

...предпочитаю порядок «*Столбцов*» порядку «*Горийской симфонии*». — «*Столбцы*» (1928) — первая книга стихов Н. Заболоцкого, вызвавшая большой интерес читателей и бурную реакцию критики. «*Горийская симфония*» (1936) — стихотворение Заболоцкого, посвященное Сталину.

С. 180. *Гудзенко... сказал: — Раньше я тебе никогда не верил, что у тебя все время болит голова. А теперь верю.* — Семен Петрович Гудзенко (1922–1953) — поэт — фронтовик, ифлиец. Наиболее известные стихи: «Перед атакой», «Я был пехотой в поле чистом...», «...Нас не надо жалеть...». Скончался после тяжелой нейрохирургической операции, необходимость которой была вызвана последствиями фронтовой контузии.

С. 182. *Жора Рублев* — см. очерк «*Георгий Рублев*».

С. 183. *Зичи Михай* (1827–1906) — венгерский рисовальщик и живописец. В 1847–1874 и с 1880 г. работал в России. Широко известен как иллюстратор Ш. Петефи, М. Ю. Лермонтова, В. Шекспира.

Вика Мальт — Мальт Виктория Сергеевна (1919–1992), ифлийка, редактор отдела детского вещания Радиокomiteта, подруга поэтов знаменитой московской группы — Павла Когана, Давида Самойлова, Бориса Слуцкого и др.

К истории моих стихотворений

С. 187. *Фрейдины* — семья сокурсника Бориса Слуцкого по МЮИ Зейды Фрейдина (1919–1990), прописавшая Слуцкого после его возвращения с фронта, что позволило Слуцкому обрести право жительства в Москве, пока он не имел собственной жилой площади.

С. 188. *Волошина Мария Степановна* (1887–1976) — вдова поэта Максимилиана Волошина. После его смерти дом Волошина в Коктебеле был местом отдыха и работы многих известных поэтов и художников.

Соколов Вадим Павлович (р. 1927) — литературный критик. В

журнале «Москва» заведовал отделом поэзии.

Атаров Николай Сергеевич (1907–1978) — прозаик, первый редактор журнала «Москва».

Васильев Аркадий Николаевич (1907–1972) — прозаик, автор исторической трилогии «Есть такая партия» (1959).

С. 189. *Беляев Альберт Андреевич* (р. 1928) — с 1962 г. работник аппарата ЦК КПСС, в 1973–1986 гг. зам. заведующего отделом пропаганды.

...мы с Таней мучились от жары и мух. — Речь о жене Слуцкого Татьяне Борисовне Дашковской (1929–1977).

Волконский Андрей Михайлович (р. 1933) — композитор, органист и художественный руководитель ансамбля старинной музыки «Мадригал».

С. 190. *Ашу кины включили название стихотворения в свой сборник «крылатых слов»...* — Ашукины Николай Сергеевич (1890–1972) и Мария Григорьевна (1894–1960) — авторы известной книги афоризмов «Крылатые слова».

... *Крученных как-то сказал мне... — Мое — «заумь»... лучше.* — Алексей Елисеевич Крученных (1886–1968) — поэт, критик, издатель. Кубофутурист, дерзкий поэтический новатор, один из зачинателей русского поэтического авангарда. «Футуристический иезуит слова» (В. Маяковский). Изобрел слово «заумь».

С. 191.... *«Конницу» Эйснера.* — Алексей Владимирович Эйсер (1905–1984) — поэт, прозаик. В 1920 г. вместе с отчимом оказался за границей. В Париже был связан с левыми кругами эмиграции. Воевал в Испании на стороне республиканцев, адъютант генерала Лукача (Мате Залка). В 1940 г. вернулся в Россию. Узник ГУЛАГа. Реабилитирован в 1957 г. Б. Слуцкий в 1945 г. в числе многих стихов эмигрантских поэтов привез в Москву и знаменитое стихотворение Эйснера «Конница», широко распространившееся по Москве.

Н. Н. Асеев и вожди

С. 197....*Иосиф Виссарионович жестоко обрушился на Авдеенко...* — Прозаик и киносценарист Александр Остапович Авдеенко (1908–1996) за сценарий «Закон жизни» был исключен из партии (восстановлен в 1944 г.).

...объяснив Сталину, что Ванда Василевская пишет плохо и поднимать ее не следует. — Польская писательница Ванда Василевская (1905–1964) с 1939 г. жила в СССР. Была обласкана советской властью — удостоена трех Сталинских премий (в 1943, 1946 и 1952 гг.).

Щербakov Александр Сергеевич (1901–1945) — кандидат в члены Политбюро (1941–1945). Начальник Совинформбюро, с 1941 г. — начальник ГлавПУРа РККА и зам. наркома обороны. Будучи одновременно секретарем ЦК, инициировал применение репрессий ко многим работникам партии, армии и к деятелям искусства. Оргсекретарь Союза писателей СССР. Отличался крайне реакционными взглядами в области национальной политики.

С. 198. *Ермилов Владимир Владимирович* (1904–1965) — критик, литературовед. В 1946–1950-х годах редактор «Литературной газеты». Его перу принадлежат разносные статьи против А. Твардовского, Вас. Гроссмана, Л. Мартынова и др. прогрессивных поэтов и писателей.

Грибачев Николай Матвеевич (1910–1992) — один из наиболее одиозных советских писателей, лауреат Ленинской (1960) и Сталинских (1948, 1949) премий. Главный редактор журнала «Советский Союз» (с 1950 г.). Член Комитета по присуждению Государственных и Ленинских премий.

Эренбург

С. 202. *ЦГАЛИ* — Центральный государственный архив литературы и искусства (ныне РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства).

С. 203. *Корнилов Владимир Николаевич* (1928–2002) — поэт, прозаик, переводчик. Обвиненный в аполитичности и лишенный возможности печататься, был вынужден распространять свои произведения в «самиздате». Издавался за границей. В 1957 г. был исключен из Союза писателей (восстановлен в 1988 г.). Близкий друг Б. Слуцкого.

Поэмы Мартынова... очень нравились. — Обвиненный в аполитичности, Леонид Мартынов был на десятилетия (после 1945 г.) лишен возможности печататься. В 1960–1970-е годы его поэзия приобрела широкую известность. Был очень дружен со Слуцким.

Ценил мужество Алигер... — В 1941–1942 гг. Маргарита Алигер жила в блокадном Ленинграде. Наиболее известное ее произведение военных лет — поэма «Зоя» (1942), посвященная З. Космодемьянской. Причисляла себя к «лишенному иллюзий поколению». В 1957 г. стала мишенью ожесточенной критики со стороны Н. С. Хрущева как один из инициаторов сборников «Литературная Москва» (1956), где были опубликованы некоторые острокритические произведения (напр., рассказ А.

Яшина «Рычаги») и стихи пребывавших до того в забвении М. Цветаевой и Н. Заболоцкого. Алигер достойно перенесла эту критику; с годами в ее творчестве крепили мотивы мужественного подведения жизненных итогов.

С. 204....*похож на Реверди*... — Пьер Реверди (1889–1960) — французский поэт, сыгравший особую роль в сохранении поэтической традиции Г. Аполлинера.

С. 207....*даже Незвал в поэме*... — Имеется в виду поэма «Песнь мира» (1950) чешского поэта Витезслава Незвала (1900–1958).

Почти ничего

С. 209. *Дикий* Алексей Денисович (1889–1955) — актер, режиссер. Народный артист СССР (1949).

С. 210. *Семынин* Петр Андреевич (1909–1979) — поэт, прозаик.

А ведь я все строительные профессии знаю. И землекопом был, и каменщиком, и плотником, и прорабом большого участка. — В 1938 г. Н. А. Заболоцкий был арестован по сфабрикованному делу и до конца 1944 г. находился в лагере, где использовался на общих работах. Весь 1945 год он прожил на поселении в поселке Большая Михайловка Алтайского края, работая в управлении Саранского строительства — старшим техником — чертежником, исполняющим обязанности инженера отделения гражданских сооружений, начальником канцелярии управления.

Недавно я осмотрел у Екатерины Васильевны библиотеку Заболоцкого. — Имеется в виду Екатерина Васильевна Заболоцкая (1906–1997), жена поэта.

С. 213. *Инбер* Вера Михайловна (1890–1972) — поэт. В годы войны жила в блокадном Ленинграде (см. ее поэму «Пулковский меридиан»), См. также очерк Б. Слуцкого «Вера Инбер».

Твардовский

С. 215. *Лебедева Сарра* Дмитриевна (1892–1967) — скульптор, художник театра. Оказала большое влияние на развитие скульптуры в советское время.

С. 220. *В. С. Гроссман*... *рассказывал*... — Соседи по дому, Гроссман и Слуцкий часто встречались и откровенно беседовали.

Бубеннов Михаил Семенович (1909–1983) — прозаик. Литературный деятель реакционного толка, гонитель

Корней Чуковский

С. 222....зашел разговор о П. Н. Милюкове... — Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — историк, политический деятель. Председатель партии кадетов. Министр иностранных дел во Временном правительстве. Октябрьскую революцию не принял и эмигрировал. Начиная с 1941 г. пересмотрел свои взгляды на некоторые направления политики советской власти, оправдывал бессудные расправы 1930–х годов и заключение пакта Молотова-Риббентропа. После начала Великой Отечественной войны поддерживал СССР.

С. 223.... «Из великих русских писателей я считаю своей любимой писательницей Л. А. Чарскую». — Чарская (наст. фам. Чурилова) Лидия Алексеевна (1875–1937) — прозаик, поэт. Писала в основном для детей. С первой повести «Записки институтки» (1902) пользовалась небывалой популярностью у читателей. После революции слава ее померкла.

Его ставили рядом с Петром Пильским. — Петр Моисеевич Пильский (1879–1941), эмигрировавший из России в 1918 г. и с 1926 г. живший в Риге, высоко оценивался современниками как «классный» журналист и литературный критик.

С. 224. Он был прав... когда извлек из забвения Слепцова. — Слепцов Василий Алексеевич (1836–1878) — русский писатель, из дворян. Был близок к революционным демократам. Организовал общежитие для молодежи — «Слепцовскую коммуну». В своих произведениях («Владимирка и Клязьма», «Трудное время» и др.) изображал жизнь крестьянства и борьбу разночинной интеллигенции.

ИЗ ПИСЬМЕННОГО СТОЛА

Мой друг Миша Кульчицкий

Б. Слуцкий неоднократно обращался к памяти М. Кульчицкого — см. его публикации: Последняя встреча // Сквозь время: Сб. М., 1964; Прямая от стиха до пули // Самое такое: Сб. Харьков, 1966; Детские годы поэта М. Кульчицкого // Пионер. 1971. № 6; Друг: (О М. Кульчицком) // Комсомольская правда. 1972. 7 сентября.

С. 227. ВУЦИК — Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет.

С. 229. *В справочнике Тарасенкова...* — Имеется в виду справочник, составленный критиком А. Тарасенковым: «Русские поэты XX века. 1900–1955. Библиография» (М., 1966).

Семинар Сельвинского

С. 233. *Воронько Платон* Никитич (1913–1988) — украинский поэт. Один из секретарей московской писательской организации. Слуцкий имеет в виду активное участие П. Воронько в кампании по борьбе с «безродными космополитами».

С. 234. *ЛЦК* — Литературный центр конструктивистов. Оформился как литературное объединение в 1924 г. (И. Сельвинский, К. Зелинский, В. Луговской, Э. Багрицкий, В. Инбер и др.). Просуществовал до 1930 г. *Констромол* — литературное объединение молодых писателей при ЛЦК.

Берта Яковлевна Сельвинская (1898–1980) — жена поэта.

...из бывшего лефовского круга... — ЛЕФ — Левый фронт искусств — литературно — художественное объединение, возникшее в Москве в 1922 г. во главе с В. Маяковским. В объединение входили Н. Асеев, В. Каменский, С. Кирсанов, Б. Пастернак (до 1927 г.), художник А. Родченко, критики О. Брик и В. Шкловский. Просуществовало до 1929 г.

Георгий Рублев

С. 236. *Он был старше меня на четыре — пять лет...* — Г. Рублев, родившийся в Баку 4 марта 1916 г., был старше Слуцкого на три года.

...до самой смерти Жоры, т. е. до 1957-го, 8-го или 9-го года. — Рублев умер в Москве 30 июня 1955 г.

Рублев объяснял это тем, что сам никуда ни ходить, ни ездить не может... — Степень собственной немогущности, кажется, и в самом деле несколько преувеличивалась. В воспоминаниях Т. Окуневской рассказано, например, как после войны она видела Г. Рублев

авполне бодрым в Праге, куда он вместе с поэтом М. Вершининым прибыл, чтобы писать сценарий о советских войсках за границей. «Миша и Жорж... прибежали и умоляют взять их в самолет» (Окуневская Т. Татьяна день. М., 1998. С. 160).

Сюжеты Р. добывал из тонких журналов... — Сюжет знаменитого стихотворения Слуцкого «Лошади в океане» имел то же происхождение. См. «К истории моих стихотворений».

«Новое время», не устыдившееся заимствовать название у Суворина... — Слуцкий имеет в виду издававшуюся А. С.Сувориным с 1876 г. газету «Новое время», имевшую в связи с ее шовинистической тенденциозностью дурную общественную репутацию.

С. 237. *Звездный год рублевской поэтической карьеры — 1949-й, год сталинского семидесятилетия.* — В 1950 г. вышли две книжки официозных стихов Г. Рублева — «Снова в строю» и «Песня мира».

...стихах, которые были предложены известнейшим композиторам страны, начиная с Шостаковича. — Сведения о сотрудничестве Дм. Шостаковича с Г. Рублевым не обнаружены.

Тексты (около 80) — пошли. — Называемая Слуцким цифра вызывает сомнение. Во всяком случае, в достаточно репрезентативных сборниках «Песни о Сталине» (1949 и 1950) имя Рублева среди авторов стихов не встречается.

...дореформенных рублей. — Имеется в виду денежная реформа 1947 г.

С. 238. Он... не состоял в Союзе писателей... — Неточно: Рублев был членом Союза писателей (см.: Справочник ССП СССР на 1954–55 гг. М., 1954).

С. 239....в послевоенной литературе не было темы столь трудоемкой, как сторонничество. — Под «трудоемкостью» этой темы следует, очевидно, понимать то обстоятельство, что официальный спрос на нее не иссякал и занятия ею хорошо оплачивались.

Лесополосы тоже были темой... — Подразумевается развернутая в СССР в послевоенные годы и усиленно пропагандировавшаяся кампания по насаждению лесозащитных полос для борьбы с суховеями.

Бороться с космополитами решались люди зазорные... — Среди наиболее известных «борцов с космополитизмом» были А. Софронов, А. Суров, Н. Грибачев, С. Васильев.

Ашот Граши (наст, имя и фам. Ашот Багдасарович Григорян; 1910–1973) — армянский советский поэт.

Глазков Николай Иванович (1919–1979) — поэт. Ввел в литературу понятие «небывализма», изобретатель слова «самсебяиздат».

Долгий Юрий — поэт, заметный в послевоенное время в неофициальных литературных кругах Москвы.

С. 240. *Едва ли не последнее опубликованное им стихотворение содержит комплименты Маленкову.* — В 1953–1955 гг. Г. М. Маленков занимал пост председателя Совета министров СССР.

У меня — и до войны, и в первые послевоенные годы — таких мест было мало. — До войны Слуцкий был принят у Бриков, Сельвинских и в других писательских домах. В послевоенные годы — во многих домах поэтов и писателей своего круга, у Эренбургов, у многих художников.

С. 241....единственное, если не ошибаюсь, исчезновение — Миши Вершинина — произошло уже в новое время и имело свои гласные и объяснимые причины. — Формулировка Слуцкого загадочна. Поэт М. Вершинин был арестован после войны, освобожден и реабилитирован после смерти Сталина. Т. Окуневская в своих мемуарах считает виновником ареста Вершинина Г. Рублева, дважды называя его доносчиком. Окуневская вспоминает разговор с занимавшимся ее реабилитацией следователем КГБ, который сообщил ей, что среди доносов, по которым она была посажена, был и донос Рублева и что по его же доносу был посажен Вершинин (Татьянин день. С. 431–432). Тексты доносов следователь ей не показал. Не на эти ли обстоятельства намекает Б. Слуцкий, говоря, что «исчезновение» М. Вершинина имело свои «объяснимые причины»?

С. 242....ежели водится еще «человек воздуха»... — Намек на героя комедии С. Юшкевича «Человек воздуха» (1915) — неудачливого, но веселого авантюриста.

Вера Инбер

В архиве Б. Слуцкого в одной папке с очерком «Вера Инбер» хранится стихотворение:

«У меня всё в порядке», — сказала старуха,
У которой присутствие духа
Достигало зловеще большого размера,
В нашем маленьком царстве
господствует ясность и мера.
«У меня всё в порядке,
А у вас всё в порядке?
Наблюдая внимательно ваши глаза и повадки,
Я пришла к заключению,
что вы предаетесь волненью.
Почему?
Может быть, вы подверглись гоненью?
Может, что-то случилось? Со мной ничего не случилось,
Я хотела, пыталась, но как-то не получалось». —
И старуха, которую сам Заболоцкий назвал сухофруктом

И которую многие звали эпохи продуктом,
Но которая в Риме, Ассирии и Вавилоне
Пребывала бы как у природы родимой на лоне,
Улыбнулась и молвила тихо: «Я наша!»
И поэтому минет меня неприятная чаша.

Ну а если не минет, с дороги собьется,
То я не обопьюсь, а сама она разобьется.

С. 243. *Нора Галь* (наст, имя и фам. Элеонора Яковлевна Гальперина; 1912–1991) — переводчица.

...после смерти единственной дочери... — Речь о Ж. В. Гаузнер (1912–1962).

Дора Габе (1886–1963) — болгарская поэтесса.

История моих квартир и квартирохозяек

На фронт Слуцкий ушел из студенческого общежития. Вернувшись с войны в Москву, не имел постоянного жилья. Поиски крыши над головой были для него в ту пору повседневной заботой. До получения собственного жилья (в 1957 г.) он сменил более двадцати квартир и углов. Это стало темой нескольких его стихотворений («Новая квартира», «Углы» и др.). Тот же сюжет возникает не раз в его воспоминаниях.

Петр Горелик

Борис Абрамович Слуцкий О других и о себе

РЕДАКТОР

В. П. Кочетов ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

И. А. Кирсанова ТЕХНОЛОГ

С. С. Басипова ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

Л. Г. Иванова ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ,
ОБЛОЖКИ И БЛОКОВ ИЛЛЮСТРАЦИЙ П. В. Мурзин
КОРРЕКТОРЫ Г. В. Заславская, Л. М. Кочетова

Подписано в печать 22.03.2005 Формат 60х90/16 Тираж
5000 экз.

Заказ № 1579.

ЗАО «Вагриус»

107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном
ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного
Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая
типография» Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям.

115054, Москва, Валовая, 28

notes

Примечания

РГАЛИ. Ф. 31101. Он. 1. Д. 32. Л. 80.

Стихотворение «Кёльнская яма» печатается в том виде, как оно представлено в рукописи 1945 года. В дальнейшем поэт придал ему новую редакцию. — *Примеч. ред.*

Паспортами. — *Примеч. ред.*